

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

*Издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН*

1

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

"НАУКА"
МОСКВА – 2007

СОДЕРЖАНИЕ

К. - Х. Шмидт (Бонн) К концепции сравнительно-исторического анализа кельтского словаря	3
М. Гиро-Вебер (Экс-ан-Прованс) Существительное в функции именного сказуемого в современном русском языке: возможно ли еще говорить о семантическом противопоставлении «Им. vs. Тв.»?	18
Цзяхуа Чжан (Харбин) Аспектуальные семантические компоненты в значении имен существительных в русском языке	27
Е. В. Прозорова (Москва) Российский жестовый язык как предмет лингвистического исследования	44
Р. А. Тадинова (Москва) Отражение заднеязычных согласных при заимствовании тюркской лексики в нахско-дагестанские языки	62

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Г. Ф. Благова (Москва) Плеяда востоковедов-единомышленников в противостоянии новой и старой школ (первые десятилетия XX в.)	75
---	----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

В. Б. Крысько (Москва) Русская историческая лексикография (XI-XVII вв.): проблемы и перспективы	103
---	-----

Рецензии

Ю. Л. Кузнецова (Москва). <i>M. Tomasello. Constructing a language: a usage based theory of language acquisition</i>	119
С. А. Бурлак (Москва) <i>W. Wildgen. The evolution of human language: Scenarios, principles, and cultural dynamics</i>	126
С. А. Минор (Москва) <i>Linguistic diversity and language theories</i>	131
Анна А. Зализняк (Москва) <i>D. Dobrovolskij, E. Piirainen. Figurative language: Cross-cultural and cross-linguistic perspectives</i>	135
А. П. Выдрин (Санкт-Петербург), Ю. А. Ландер (Москва) <i>Secondary predication and adverbial modification. The typology of depictives</i>	140
Н. Н. Запольская (Москва) <i>Розмова-Бесѣда. Rozmova-Beseda. Das ruthenische und kirchenslavische Berlaimont-Gesprachsbuch des Ivan Uzevyc</i>	143
И. А. Грунтов (Москва) <i>А. Н. Самойлович. Тюркское языкознание. Филология. Руника</i>	145
В. Ю. Гусев (Москва) <i>А. И. Изотов. Функционально-семантическая категория императивности в современном чешском языке в сопоставлении с русским</i>	147
Г. И. Кустова (Москва) <i>Dostoevskij in focus. Лексикография и фразеология литературного текста</i>	151

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки

Е. В. Вельмезова (Москва/Лозанна) Восемнадцатая конференция Международного Общества по изучению истории лингвистики	155
---	-----

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

*Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко,
В.А. Виноградов (зам. главного редактора), Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков,
В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский,
Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик (зам. главного редактора), М.М. Маковский, А.М. Молдован,
Т.М. Николаева (главный редактор), В.А. Плузган (отв. секретарь), Е.В. Рахилина*

Зав. отделами: *М.М. Маковский, Г.В. Строкова, М.М. Коробова*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова
Редакция журнала «Вопросы языкознания»
Тел. (495) 637-25-16

© 2007 г. К.-Х. ШМИДТ

К КОНЦЕПЦИИ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КЕЛЬТСКОГО СЛОВАРЯ

При сравнительно-историческом анализе кельтского словаря автор исходит из двух принципов, примененных Г. Гюбшманом при рассмотрении генетического положения армянского языка: 1) дифференциация между интерференцией и внутренним развитием исследуемого языка; 2) сопоставление исконного материала исследуемого языка и его соответствие в генетически родственных индоевропейских языках с реконструируемой моделью протоиндоевропейского. В статье представлен большой фактический материал и сделан ряд важных выводов относительно языковых контактов кельтов, ранних и более поздних, который следует учитывать при сравнительно-историческом анализе кельтского словаря.

Для установления генетической идентичности армянского как самостоятельного индоевропейского (и.-е.) языка Г. Гюбшманом были применены два основополагающих принципа:

I. Дифференциация между интерференцией и внутренним развитием армянского.

II. Сопоставление материала исконно армянского и его соответствий в генетически родственных и.-е. языках с реконструированной моделью протоиндоевропейского.

Первая операция дала возможность вскрыть контакты армянского с другими языками, что способствовало трансформации языка на уровне фонологии, грамматики и лексики. Мысль Г. Гюбшмана о том, что в случае армянского языка мы имеем дело с самостоятельным и.-е. языком, а не с древнеиранским диалектом, основана на дифференциации между (а) иранскими заимствованиями и (б) словами, являющимися общеиндоевропейским наследием в армянском:

- 1) (а) арм. < иран. *dast-* 'рука' (новоперс., среднеперс. *dast*, авест. *zasta-*, вед. *hásta-*) в арм. *dastak* 'запястье', *dastakert* 'собственность', *dastapan* 'рукоятка, ручка' < и.-е. **ǵʰes-to-* vs. (б) арм. *jern* 'рука', мн. ч. *jerik* < **ǵʰes-r-* [Hübshmann 1875; Schmidt 1993b].

В рамках операции I по дифференциации между интерференцией и внутренним развитием в армянском были выделены далее и другие слои заимствований, что было последовательно осуществлено 22 года спустя в работе [Hübshmann 1897]: документирование различных слоев заимствований (иранских, арабских, сирийских и греческих) предшествовало разбору 438 армянских слов, являющихся общеиндоевропейским наследием. При таком методическом подходе выделяется сначала материал, заимствованный из других языков, и лишь затем предпринимается попытка этимологического определения элементов, которые не поддаются такому истолкованию. Этот метод принципиально доказателен сам по себе, даже если Гюбшманом в его время не могли быть еще учтены другие источники заимствования в армянский, особенно анатолийская ветвь индоевропейского языка, хурритский и урартский языки, занская ветвь картвельского языка или аккадский язык [Капанцян 1952; ср. статьи И.М. Дьяконова и А. Харриса в WWC 1990].

Операция II, сопоставление материала, не отнесенного к заимствованиям, при соответствии в генетически родственных и.-е. языках и с реконструированной моделью про-

тоиндоевропейского, преследовала двоякую цель: а) идентификацию армянского как самостоятельного и.-е. языка, б) реконструкцию лингвистических процессов, которые проходили в период от обособления протоармянского из общеиндоевропейского до начала его исторической письменной передачи. В качестве примера можно указать, что арм. *jern, jerk* < *ǵ^hes-r- и иран. *dast* < и.-е. *ǵ^hes-to- в вышеприведенном примере № 1 отражают совершенно различные процессы в звуковом развитии и словообразовании (к образованию *n*-основы в арм. *jern* ср. недавнюю работу Р. Штемпеля в [IF 1990, 95: 53 ff.]).

Если мы применим развитый Гюбшманом метод к нашей теме, к концепции сравнительно-исторического анализа кельтского словаря, то выявится следующее членение:

- 2) I. Дифференциация между заимствованным и исконным словом.
II. Определение слоев заимствований по языку-источнику и языку-реципиенту.
III. Идентификация лексики, унаследованной от и.-е. протоязыка.
IV. Концепция "étymologie-histoire-des-mots" протокельтского языка.

I. Что касается раздела I, дифференциации между заимствованным и исконным словом, то предпосылки для этой операции представлены принципиально иначе, чем в армянском: письменная передача кельтского начинается не с единого языка, а по меньшей мере с пяти отличающихся друг от друга дочерних языков, которые можно сгруппировать по двум критериям:

а) географически и в соответствии с временем начала их письменной передачи противостоят три засвидетельствованные надписями и представленные фрагментарно континентальные кельтские языки (КЯ) [Trümmersprachen] – кельтиберский (кельтибер.), лепонтийский (леп.) и галльский (галл.) – двум островным идиомам – гойдельскому (гойд.) и бриттскому (бритт.). Непосредственная письменная передача засвидетельствованных со времен античности КЯ начинается в VII в. до н.э. и кончается самое позднее в IV в. н.э. П. Ламберт [Lambert 1995: 14] сообщает следующие данные:

- 3) *Celtibère*: Espagne, plateau de Castille, 300–100 av. J.-C.,
Léponitique: Italie, régions des Lacs, 700–400 av. J.-C.,
Gaulois: Plaine du Pô ('Gaule Cisalpine') et France – Belgique – Suisse ('Gaule Transalpine') 300 av. J.-C. – ? 200 ap. J.-C.

В отличие от континентальных кельтских языков письменная передача островных кельтских языков начинается в общем лишь в эпоху раннего средневековья, если отвлечься от немногих со времен античности засвидетельствованных языковых фрагментов [Stempel 1991; Schmidt 1990c].

- 4) *Древнебриттские монеты*: I в. до рожд. Хр. – I в. после рожд. Хр., кимрский, корнийский, бретонский с 800 после рожд. Хр.; *ирландский*: раннегойдельский: II в. после рожд. Хр. (Ptolemaios), огамические надписи с 350, классический древнеирландский 700–900.

б) В качестве второго различительного критерия следует назвать последовательность вычленения исторически засвидетельствованных дочерних кельтских языков из реконструированной модели протокельтского языка. Как аргументы раннего вычленения, сформулированные А. Мейе, могут рассматриваться маргинальное положение и архаические черты языка:

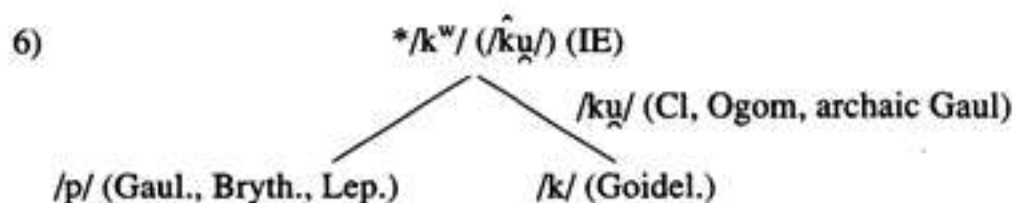
- 5) «Языки, которые занимают крайние оконечности области распространения индоевропейских языков, были принесены туда колонистами, которые первыми отделились от основной части индоевропейского народа и как следствие этого сохрани-

ли архаические черты, незнакомые колонистам, язык которых продолжает традицию центральных областей» [Meillet 1996: 16].

По поводу членения протокельтского были развиты две теории: первая теория подчеркивает единство островного кельтского, в то время как вторая проводит различие между кельтиберским, лепонтийским и гойдельским как рано отколовшимися маргинальными языками, и галлобриттским как поздно отдифференцировавшимся центрально-кельтским языковым единством. Аргументами в пользу островной кельтской теории являются многочисленные совпадения между гойдельским и бриттским, но все же трудно адекватно судить об островном кельтском материале из-за фрагментарного характера письменных свидетельств по континентальному кельтскому, а также из-за различной абсолютной хронологии континентального кельтского и островного кельтского¹.

В пользу второй теории можно, напротив, привести три доказательных аргумента:

1. Архаические признаки, которыми характеризуются маргинальные кельтиберский, лепонтийский и гойдельский языки. Среди них сохранение и.-е. $*k^w/*k_u$ в гойдельском и кельтиберском занимает ключевые позиции:



Cl *nekue* (Botorrita) < $*nek^we$, Ogom *maq(q)i* 'of the son', archaic Gaul. *Equos* (Coligny) < $*ekuos$ = OIr. *ech* 'horse' : Gaul. *epo-*, W., Com. *ebol* 'colt' < $*epōlo-$; Lep. *pe* < $*k^we$: *Latumarui* : *Sapsutai* : *pe* (Osnavasso) = Cl *kue* [Schmidt 1990b: 262].

2. Галло-бриттские соответствия, которые были обнаружены уже следующими авторами: Tacitus, *Agr.* 11 и [Zeuss, Ebel 1871: VIII]:

7) «Можно предположить, что галлы оккупировали соседний остров... язык там не очень отличается» (Тас., *Agr.* 11). «Имеется поэтому два особых варианта кельтского языка. Один – это ирландский язык... Другой – это бриттский язык. Обнаружилось, что этому древний галльский язык ближе всего» [Zeuss, Ebel 1871: VIII].

Общие инновации в этом материале, которых нет в гойдельском, были недавно обсуждены [Koch 1992].

3. Аргумент № 3 имплицитно, что исторически засвидетельствованные соответствия между ирландским и бриттским основываются на протокельтском наследии во времена ухода гойдельцев или отражают общие инновации жителей Irish Sea Zone [IE 1989].

На основе разобщенных кельтских письменных свидетельств можно поэтому предпринять следующую модификацию развитых Гюбшманом для исторического анализа армянского словаря методических принципов:

Операция I (дифференциация между заимствованием и исконным словом) может применяться раздельно по отношению к отдельным кельтским языкам, которые находятся на начальном этапе своей письменной передачи.

¹ К критике островной кельтской гипотезы ср. [Schmidt 1993a]. С другой стороны, эта теория недавно защищалась К.Р. МакКоун в работе [McCone 1992]. Аргументы МакКоуна в пользу галльского характера лепонтийского были опровергнуты Х. де Хозом в [LC 1993], где автор утверждает: «Los argumentos... no tienen en cuenta todavía la nueva cronología y dependen en buena parte de la coloración gala que reciben las inscripciones lepónticas tardías».

Операция II (споставление материала, идентифицированного в качестве кельтского, с его соответствиями в генетически родственных языках и в реконструированной модели общиндоевропейского языка) производится в кельтском, в отличие от армянского, не непосредственно, а через промежуточные ступени внутрикельтских – кельтиберского, лепонтийского, галло-бриттского, гойдельского – языков-основ, которые характеризуются различными трансформациями и в своей совокупности составляют основу для реконструкции протокельтского.

II. На этом мы можем перейти ко второй части нашего анализа, к определению слоев заимствований по языку-источнику и языку-реципиенту. Что касается континентально-кельтского материала, то его использование затруднено, в частности, по следующим трем причинам: а) возраст, б) фрагментарный статус, в) распространение. а) Если не брать во внимание дошедшие до нас через среду романских субстратов примеры, то письменные свидетельства хронологически ограничены античными временами; б) континентальные кельтские языки относятся к так называемым «Trümmersprachen» с фрагментарными свидетельствами; в) третья причина касается распространения кельтов от Испании и Португалии на Западе до расположенного в Малой Азии Фригийского плоскогорья между Средним Sangarius'ом и Halys'ом на востоке [Schmidt 1994; Puydt 1993]. Экспансия кельтов сведена К. Биттелем в следующую легко запечатлевающуюся формулу:

- 8) «Со своих мест проживания в Средней Европе – насколько глубоко их история вообще может быть прослежена – они (кельты – К.Х. III.) распространились как на Запад, так и на Восток, так что они в конце концов северным поясом неравной ширины и интенсивности стали граничить с классическими народами и государствами средиземноморья и отделяли последних от еще дальше на Севере живших народов, в том числе германцев» [KBW 1981: 15].

На факторы а) и б) я уже указал выше. Фактор в) – широкая рассеянность кельтского фрагментарного языкового материала – был предпосылкой для разносторонних контактов с другими языками индоевропейского и неиндоевропейского происхождения. Этот факт обуславливает определенные последствия как для лингвистического изучения современности, так и для предысторического развития в прошлом. Что касается изучения современности, то малоизвестные контактные языки, которые сами представлены фрагментарными сведениями или могли быть по сей день лишь отрывочно проанализированы, затрудняют отграничение и идентификацию собственно кельтского материала. С другой стороны, такие распространенные и однозначно установленные контактные языки, как греческий, латинский или германский, в решающей степени ускорили исчезновение менее жизнестойких бесписьменных континентальных кельтских идиом [Schmidt 1980; 1992a].

К группе контактных языков с фрагментарными или в недостаточной мере истолкованными свидетельствами принадлежат преимущественно следующие идиомы: различные субстратные языки из области северноитальянских озер, названные *лигурийскими*, которые в раннеисторическое и античное время оказали сильное влияние на лепонтийский язык (ср. недавнюю работу автора в [ZCP 45, 1992: 356f.]); и.-е. венетский и неиндоевропейский этрусский языки, оба из Северной Италии; и.-е. лузитанский и неиндоевропейские иберийский и аквитанско-баскский языки с Пиренейского полуострова [Gogochategui 1993]; и.-е. фракийский [Ködderitzsch 1993] и и.-е. фригийский как субстратные языки во Фракии и Малой Азии и, наконец, иллирийский – спорное понятие, под которым имеют в виду различные трудно отличимые друг от друга языковые фрагменты [Katičić 1976; 1980], а также так называемый Nordwestblock (северо-западный блок), характеризующийся и.-е. именами и глоссами [Meid 1986]. Из-за ограниченного материала трудно выявить заимствования из этих языков в континентальном кельтском. Для иллюстрации приведу пять конкретных случаев.

1-й пример: кельтибер. *šilaPuř*. Это, засвидетельствованное по надписи из Votoritta I, слово, которое по контексту истолковывается примерно как 'серебро', с одной стороны, неотделимо от соответствующей германо-славяно-балтийской параллели с таким же значением, а с другой, напоминает по звуковому оформлению соответствующие слова в иберийском и баскском:

- 9) *šilaPuř* 'серебро': гот. *silubr*, др.-болг. *šrebro*, лит. *sidābras* : иберийск. *šalir* (монеты), баск. *zilhar-* : ассир. *šarpu* vs. протокельт. **argantom*.

Хотя по лежащему в основе этого слова этимону, рефлекс которого встречается в ассир. *šarpu* и в других семитских языках, речь идет о древнем, предположительно странствующем слове, можно думать, что кельтибер. *šilaPuř* было перенято из иберийского языка [Meid 1993a]. В кельтских языках за пределами Пиренейского полуострова слово *šilaPuř* не имеет значения, так как здесь смогло утвердиться исконное слово **argantom*. В отличие от германского, славянского и балтийского, странствующее слово неиндоевропейского происхождения не смогло закрепиться в кельтском.

2-й пример: баск. *andera*. Х. Педерсен [Pedersen 1976] объяснил баск. *andera* 'женщина' и аквитанское имя собственное *Andere* как кельтские заимствования, указав на ср.-ирл. *ainder* 'молодая женщина', кимр. *anner* 'тёлка'. Это объяснение в известной мере утратило свою доказательную силу после того, как Горрочатэги показал, что целый ряд аквитанских собственных имен, дошедших до нас из античности, напоминают в звуковом отношении баскские апеллятивы, факт, который пригоден и в отношении семантического поля обозначений лиц и имен родства:

- 10) аквит.: баск. *Cison* : *gizon* 'мужской', *Sembe* : *seme* 'сын', *Seni* : *sehi*, *sein* 'парень, слуга', *Hanna* : *anaia* 'брат', *Ombe-* : *ume* 'молодое дитя'; *Andere* : *andera* 'дама, женщина', *Nescato* : *nescato* 'девушка' [Gorrochategui 1995; ср. Agud, Tovar 1989].

3-й пример: лепонтийские патронимы на *-al-*. Лепонтийская надпись

- 11) *Metelui Maešil-al-ui* (патронимы на *-al-*) *Uenia Metel-ikn-a* (галльский патроним на *-ikn-*) *Ašmina Krasan-ikn-a* 'Метелосу, сыну Маешилосо, Вения, дочь Метелоса, [и] Ашмина, дочь Красано-са' [SI 1993: 243–249, особенно 245].

обнаруживает два различных способа образования патронима, которые Кречмер [Kretschmer 1896] прокомментировал следующим образом: «Отец Метел(л)ус называет себя по старой традиции патронимом на *-alos* (*Maešilalos*), но дочь Вения и ее родственница или подруга Ашмина называют себя уже по ставшей обычной галльской привычке *Metelikna* и *Krasanikna*» (о морфеме *-al* ср. [Motta 1993; 1995–1996: 468]: «*-al-* – либо архаичное образование, либо вообще не кельтское»).

4-й пример: *pala* 'камень, надгробный камень'. Лепонтийская надпись из Vergiate.

- 12) *Pelkui Pruiam Teu karite išos kalite palam* 'Пелкосу (или Белкосу) Дейво надгробие оградой обнес; этот самый поставил надгробный камень'; *in rivo Vendupale, ex rivo Vindupale* (Sent. Minuc.)

содержит слово *pala* некельтского происхождения, которое присутствует и в *Sententia Minuciorum*².

² *Sententia Minuciorum* = CIL V 7749 (117 В. С.) содержит также лигурийские слова с и.-е. (но не кельтской) этимологией: ср.: *Berigiema* 'снег несущий' (название горы), *Comberanea* 'confluvium' (название ручья), *Porcobera* 'лосося с собой ведущий' (название ручья) [Krahe 1936: 241–255, 253 f.].

5-й пример: *Камма* личное женское имя. О печальной судьбе *Каммы*, Артемиды-жрицы и жены галатийского тетрарха (правителя) *Синатуса* поведал нам Плутарх (*mul. virt.*) (см. примеры в [Holder 1896–1910]). Теория, что имя *Камма* фригийского происхождения, становится более вероятной, если в имени *Артемиды* представлено *interpretatio Graeca* малоазиатско-фригийского имени *Κυβέλη* [Rankin 1987: 200, 248].

Если вернемся к контактам кельтского с соседними языками, то можно у экспансивно распространяющихся языков – греческого, латинского и германского – различать два периода. В ранний период, когда кельты в техническом и военном отношении доминировали, кельтские термины заимствовались также в греческий, латинский и германский. Известными примерами являются слова для *царство* и *ведомство* в германском или обозначения для *меча* или различных типов *повозок* в латинском:

- 13) и.-е. **rēgio* > кельт. **rīgio-* > герм. **rikja-* (гот. *reiki*, днв. *rihhi*); галлолат. *amb-actus* (кимр. *amaeth* ‘servus arans’) > гот. *andbahts*, днв. *ambaht*; галльск. **kladios* > лат. *gladius*; галльск. > лат. *benna, carpentum, carrus, covinnus, essedum, potorritum, reda* и др. [Schmidt 1967; 1987; Porzio Gemia 1981; PSI 1986: 208]³.

В более поздний период нарастающей эллинизации и романизации, наоборот, давление, особенно латинского, приводило к оттеснению кельтского. Этот период включал и Британию, где в течение 400-летней римской оккупации с 43 по 410 гг. н.э. около 800 слов были заимствованы в бриттский язык. Большая часть этих заимствований следует принципу «*borrowed names for borrowed things*», сформулированный Вильдом [Wild 1970a; 1970b; 1976].

- 14) лат. : кимр. = *civitas* : *ciwed*, *molina* : *melin*, *fenestra* : *ffenestr*, *vitrum* : *gwydr*, *pluma* : *pluf*, *papyrus* : *pabwyr*, *grammatica* : *grammadeg*, *scribere* : *ysgrifennu* [Schmidt 1990a].

Что касается латинских заимствований в ирландском, то они проникали через бриттский. Подбор соответствующего материала был осуществлен в 1902 г. Вандриесом [Vendryès 1902] в его парижской диссертации *De hibernicis vocabulis quae a latina lingua originem dixerunt*. Хр. Сарау [Sarauw 1900] был первым, кто провел различие между двумя слоями латинизмов, введенных в связи с христианизацией: слова более древнего *Cothrige*-слоя обнаруживают гойдельское звуковое развитие, в то время как примеры более позднего *Pátric*-слоя подпали под влияние бриттских звуковых законов:

- 15) *Cothrige* vs. *Pátric* (< **Patricius*) = 1. **k^w* > *c* vs. **k^w* > *p* (ср. N 6); 2. Ослабление смычных: глухой смычный > спонант vs. глухой смычный > звонкий; 3. *-ius, -iā* > *-e* vs. *-ius, -iā* > ноль и т.д.

Из этого распределения Д.А. Бинчи [Celtica 4, 1958: 289] сделал заключение о различном возрасте заимствований обоих слоев: *Cothrige*-слой был заимствован кельтским из латинского в V веке “прежде, чем важнейшие звуковые изменения (ослабление слабых смычных и исчезновение конечных слогов) имели место в ирландском или бриттском”, а *Pátric*-слой, напротив, лишь в VI веке. Позже Д. Мак Манус пытался провести модификацию этой теории [McManus 1984].

Заканчивая II-ю часть, определение заимствований по языку-источнику и языку-реципиенту, следует еще кратко перечислить другие источники заимствования кельтами чужого словарного состава:

³ О других галло-бриттских производных образованиях от **klād-* ‘бить, рубить’ для обозначения меча ср. [Pokorny 1959: 546]: кимр. *cluddyf*: с диссимиляцией из **kledyd* < **kladijos*; ирл. *claideb* ‘меч’ заимствовано из бриттского.

1-й источник: галло-латинское языковое смешение, которое обнаруживается в позднегалльских текстах в обозначениях предметов обихода, особенно катушек веретен и гончарных изделий, а также в медицинских выражениях Marcellus'a Burdigalensis'a [Meid 1992; 1996; Marichal 1988].

2-й источник: шаблонные выражения в континентальных кельтских надписях, в которых имеет место прямое заимствование из греческого или латинского [Meid 1993a].

3-й источник: ирландские огамические надписи и их перенос в британский латинский. Часто обсуждавшийся камень *Votek^worix обнаруживает дополнительно зафиксированный латинский титул *protector*:

16) огамическ.-ирл. *Votecorigas* '(камень) *Votek^worix'a': лат. *Memoria Voteporigis protectoris* (!) 'памятный обелиск протектора Voteporix'a' [Motta 1988].

4-й источник: древнесеверные заимствования, которые значительно моложе и которые были заимствованы островными кельтскими языками в результате вторжений викингов (800–1100 гг.). Это привело к образованию определенных словарных полей в ирландском, как, например, мореходство и торговля:

17) *scód* 'шкот, парусный канат' < *skaut*; *stiúir* 'весло' < *stýri*; *margadh* 'рынок', *scilling* 'шиллинг', *fuinneog* 'окно' [Greene 1978; ISI 1983; Marstrander 1915].

5-й, далеко еще не исследованный в достаточной мере источник, – это кальки. Примеры этих заимствований находим, в частности, в континентальном кельтском:

18) галльск. δεκάντεμ (Akk.) 'десятый' = лат. *decuma facta*, греч. δεκάτη; галльск. **toutios* (τοούτιος): *teutā*, *toutā* = греч. πολίτης : πολίς.

Систематический подбор обширного материала из новокельтских языков еще предстоит осуществить. Как на особенно примечательный пример укажу на слова *свекровь* и *свёкор*, которые в кимрском образованы по английской модели, а в бретонском – по французскому образцу:

19) кимр. *chwegr* (др.-корн. *hweger*) 'свекровь' > *mam-yng-nghyfraith* = *mother-in-law*, *chwegrwn* (др.-корн. *hwigeren*) 'свёкор' > *tad-yng-nghyfraith* = *father-in-law*; бретон. *mam-gaer* 'belle-mère', *tad-kaer* 'beau-père'.

Следует, наконец, подчеркнуть, что слои заимствований оказывали воздействие уже на отдельные кельтские языки. Четкие следы интерференции в реконструированной протокельтской модели принципиально ограничены исконной лексикой, к идентификации которой мы теперь переходим в III части.

III. В соответствии с приведенным в начале статьи образцом Г. Гюбшмана перейдем далее к идентификации кельтского материала на основе сопоставлений слов, которые не относятся к заимствованиям, с их соответствиями в генетически родственных и.-е. языках и к реконструированной модели и.-е. языка-основы. В отличие от армянского, сопоставление в кельтском не может быть проведено непосредственно, а должно проводиться через промежуточные ступени кельтских языков-основ – кельтиберского, лепонтийского, галло-бриттского, гойдельского, – которые представляют собой независимые трансформации реконструированной протокельтской модели.

Наиболее важным подспорьем при идентификации кельтского словаря являются словарные сопоставления с другими и.-е. языками. Этот материал дает одновременно возможность определить место кельтского в и.-е. семье языков. Если не брать во внимание конвергентное развитие, то словарные сопоставления в генетически родственных языках могут иметь различные причины. Основопологающим является различие между

исконным словом и инновацией. Кроме того, словарные сопоставления могут быть хронологически дифференцированы:

- 20) а) словарные корреспонденции, обусловленные и.-е. наследием,
- б) словарные корреспонденции, обусловленные поздними контактами,
- в) словарные корреспонденции, обусловленные ранними контактами.

Наиболее важными критериями для определения возраста лексических изоглосс являются географическое положение привлекаемых к сравнению языков и лингвистический уровень изоглосс:

- 21) 1. Географическое положение.
2. Лингвистический уровень.

Лингвистический уровень означает, что совпадения в случае большого возраста языковых контактов не ограничиваются одним лишь словарем, а включают и грамматику/морфологию. Что касается географического положения, то в качестве индоевропейских слов рассматривались изоглоссы между маргинальными языками, индо-иранскими, с одной стороны, и кельтскими и италийскими, с другой (ср. № 22). Аргументация следовала при этом по принципу итальянской *Neolinguistica*, которая в 1925 г. была канонизирована М. Бартоли в одноименной работе. Независимо от этого для кельтского имеют значение три разновидности историографических данных.

1. П. Кречмер объяснил в 1896 г. лексические сопоставления типа

22) **rēg-s* 'король', **rēg-nih₂* 'королева', **kred-d^heh₁* 'верить', *pi-ph₃-e-ti* 'он шьет'

«древними миграциями..., которые сделали возможным обмен известными языковыми явлениями между западными и восточными членами и.-е. семьи языков» [Kretschmer 1896: 125 f.].

2. Ж. Вандрис установил в 1918 году, что архаические изоглоссы между индо-иранским, италийским и кельтским преимущественно соотносятся с «*mots techniques de caractère religieux*» (техническими словами религиозного характера) [Vendryès 1918].

3. Наконец, М. Диллон пришел к выводу, что факты языка, литературы, учреждений и религии Индии и Ирландии должны быть объяснены как пережитки древнего и.-е. наследия в периферийных областях [Dillon 1973].

Если взять за основу только что обсужденный критерий географического положения (№ 21), тогда следует кельтско-италийские и кельтско-германские изоглоссы, наоборот рассматривать скорее как более поздние. Это подходит преимущественно к кельтско-германскому материалу, который ограничен лексическими изоглоссами и может быть представлен моделью из пяти слоев [Schmidt 1984; 1986; 1991].

- 23) Stratum 1: заимствования в германском из кельтского: **rikja-*, **ambaht* [№ 13]; Stratum 2: германские и кельтские слова обнаруживают одинаковое изменение в значении, вследствие которого они были переведены в семантическое поле *закон и право*: и.-е. **oitos* 'хождение, ход' > 'клятва'; и.-е. **orbhos* 'ограблен', 'сирота' > **orbhio-* 'наследник, наследство'; и.-е. **prijos* 'собственный, дорогой, желанный' (др.-англ. *freo-broðor* 'родной брат') > 'свободный'; Stratum 3: изоглоссы из семантических полей *государство, закон, война*; Stratum 4: изоглоссы из других семантических полей, в том числе из поля *ремесло*; Stratum 5: именные дублиеты (названия рек и другие географические названия): и.-е. **reinos* > кельт. **Rēnos* vs. герм. **Rīnaz*.

Кельтско-италийские языковые контакты превосходят кельтско-германские по возрасту. Доказательством тому являются общие инновации на морфологическом уровне (критерий 21, 2), из которых следует особо упомянуть суперлатив и *a*-конъюнктив:

- 24) 1. Суперлатив на **-ism̄ mo-*: галльск. название населенного пункта Οὐξ-ισάμ-η (Strabo) 'самая высокая' = кимр. *uchaf*; лат. *ācerrimus* < **ācr-ism̄ mo-*; 2. *a*-конъюнктив: др.-лат. *advenat*, *attulat*; др.-ирл. *-bera* < **b^her-ā-t*; ср. также: 3. **p...k^w* > **k^w...k^w*: и.-е. **penk^we* 'пять' > др.-ирл. *cóic*, кимр. *pump* > *pymp*; лат. *quínque*, осскск. *pímperias* **'quincugiae'* (название одного праздника).

Общих инноваций, указанных под № 24, естественно, недостаточно, чтобы доказать предложенную Э. Лоттнером итало-кельтскую гипотезу [Lottner 1858; 1861; Schmidt 1991b, ср. Schmidt 1990a, b; 1991a].

Три другие теории о месте кельтского внутри и.-е. семьи языков могут быть здесь лишь кратко упомянуты:

- 25) а) теория Педерсена подчеркивает особую связь кельтского с итальянским, фригийским, анатолийским, тохарским; б) теория Древней Европы Г. Краэ подчеркивает особую связь кельтского с итальянским, германским, балтийским, иллирийским; в) западноевропейская теория А. Мейе подчеркивает особую связь кельтского с итальянским и германским [Pedersen 1925; Krahe 1954; Meillet 1908: 131].

Эти три теории построены следующим образом: а) Педерсен опирается главным образом на морфологические аргументы (*a*-конъюнктив, *r*-медиопассив). Эта теория может сегодня считаться опровергнутой, так как отсутствующий в анатолийском *a*-конъюнктив оказался спорным и для тохарского [Schmidt 1982]. Теории Г. Краэ и А. Мейе опираются преимущественно на лексические сравнения. Модель древнеевропейской гидронимии Г. Краэ развита тем временем его учеником В.П. Шмидтом в балтоцентрическую теорию распространения и членения исходной языковой общности [LSC 1994].

Если мы вернемся к хронологической дифференциации словарных сопоставлений, то остается прокомментировать тип 20в, то есть словарные соответствия, которые были обусловлены ранними языковыми контактами. Обоснование:

1. Ранние контакты с кельтским могли иметь место на Балканах, как предполагал Г. Вагнер уже 38 лет тому назад [Wagner 1969: 227].

2. Аргумент морфологического лингвистического уровня (21, 2): а) индо-иранский, греческий, балтийский и славянский разделяют с кельтским **s̄jē-/s̄jō-* футур (см. № 26а); б) образование дезидератива с помощью редупликации ограничено индо-иранским и кельтским (см. № 26б); в) относительное местоимение **ios* установлено для индо-иранского, греческого, фригийского и славянского (см. № 26в) [Schmidt 1992b].

- 26) а) галльск. (Chamalières) *bissiet* 'он будет колоть'; *pissiu mí* 'я буду видеть', *toncnaman toncsiiontío* 'которые будут давать клятву', галльск. (Spinnwirtel) *marcosior* 'я буду ездить верхом': вед. *kar-i-ṣyá-ti* 'он будет делать', *vak-ṣyáti* 'он будет говорить', авест. *vax-ṣyā* 'я буду говорить', др.-болг. *byšešteje*, *byšosteje* 'τό μέλλον'; б) др.-ирл. *-céla* (футур) < **kikl^h-se-/so-*: през. *celid* 'прячет'; санскр. *cikīrṣati* (дезидератив): *kar-* 'делать', *śuśrūṣate*: *śru-* 'слышать'; в) кельтибер. *iomui... šomui* (Dativ), *iaš* (Akk. Pl.) ...*šaum* (Gen. Pl.); *ios* (Nom. Sg.).

3. Третий аргумент. Признаки, указанные под № 26, отсутствуют в итальянском. Особенно важно в связи с этим, что итальянское относительное предложение, сравнимое с соответствующим хеттским и тохарским типом, основывается на вопросительном местоимении **k^wi-/k^wo-*. Это распределение дополнительно свидетельствует против итало-кельтской теории, морфологические основания которой относятся к более позднему времени (ср. № 24).

4. Некоторые фонологические признаки протокельтского указывают на восточноиндоевропейское влияние. Сюда относится совпадение звонких придыхательных и звонких непридыхательных в звонких непридыхательных, которое, однако, не свойственно кельтским лабиовелярным.

5. Ситуация требует проверки индо-иранско-кельтских словарных сопоставлений, которые расценивались как архаизмы во всех тех случаях, когда не представлен италийский материал.

6. С учетом возраста требуют далее переосмысления изоглоссы между кельтским, славянским и / или балтийским, на которые уже указывали Ю. Покорный в 1936 г. и О'Брайен в 1956 г. [Pokorny / ZCP. 20. 1936; O'Brien / Celtica 3. 1956; ср. Schmidt 1985 2000].

IV. Наконец, мне хотелось бы перейти к концепции *étymologie-histoire-des-mots* [этимологической истории слов] протокельтского, как она была отделена М. Майерхофером от концепции *étymologie-origine* [этимологии происхождения] [Mayrhofer 1986]. Включающая все кельтские языки концепция *étymologie-histoire-des-mots* протокельтского соответствует типу написанной А. Эрну и А. Мейе истории слова для латинского [Ernout, Meillet 1967]. В объяснении, данном обоими французскими учеными в *avertissement* [предисловии], эта концепция имплицитно подразумевает историю слов, разделенную на две части (VII):

27) «Эрну рассмотрел то, что стало известно в результате изучения текстов. Он несет ответственность за все, что говорится о развитии латинского словарного состава от древнейших памятников до начала романской эпохи. А. Мейе была доверена предысторическая часть. Он один несет ответственность за то, что говорится о развитии латинского словарного состава между временем и.-е. языка-основы и временем первых свидетельств исторического характера».

Попытка систематического представления второй части истории слов, которая исторически соответствует более древнему периоду, то есть периоду развития протокельтского словаря «между временем и.-е. языка-основы и временем первых свидетельств исторического характера», ставит себе тем самым цель реконструировать на основе кельтских дочерних языков словарь самого протокельтского языка-основы. Процесс реконструкции имплицитно подразумевает ряд детальных исследований, в том числе следующие:

28) 1. Исторический анализ синонимов. 2. Реконструкция предысторического словообразования и использования аблаута. 3. Определение отношения предлогов/послогов к превербам/префиксам, напр., и.-е. **pro*, **pro-*: кельт. **ro-*; и.-е. **peri*, **peri-*: кельт. **eri-*. 4. Анализ слитных синтагм, напр., др.-ирл. *cretim* < **kred-d^heh₁* (№ 22), *bard* 'бард' < **g^wrh-V-* + *d^hh₁-os*. 5. Супплетивные явления, напр., и.-е. **b^her-* 'нести' **ed-* 'есть', **ei-* 'идти'. 6. Семантика. 7. Реконструкция незасвидетельствованных лексем: а) в протокельтском, б) в островном кельтском. 8. Оценка кельто-восточноиндоевропейских изоглосс [Schmidt 1995; 1997].

Для иллюстрации методов реконструкции я дам в заключение пять случаев анализа, относящихся к перечисленным в № 28 типам 1, 2, 7а, 7б.

Пример 1 (исторический анализ синонимов: № 28, 1):

Из обоих кельтских обозначений для 'брод' – др.-ирл. *áth*, протокельт. **ritu-*:

29) протокельт. **ritu-* < **pr tu-*, корень **per(h)-*: авест. *pərətu-*, лат. *portus*, днв. *furt*; др.-ирл. *áth* < **iātu-*: вед. *yāti* 'идет'; ср. вед. *tīrthá-* 'брод, водопой', корень **terh₂-* 'перейти на другую сторону, пересечь'; слово **ritu-* является более древним. Обоснование:

а) *ritu-* имеет рефлексы во всех кельтских языках [Stempel 1987] и в других и.-е. языках (авест., лат., герм.); **iātu-* встречается только в гойдельском;

б) *ritu-* < **pr₁tu-* объясняется этимологически как абстрактное отглагольное имя от корня **per(h)-* 'перевезти на другую сторону' [Pokorny 1959: 816f.]; это образование имеет свою точную семантическую параллель в вед. *tīrthá-* п. 'брод, водопой', в абстрактном отглагольном имени от корня **terh₂-*;

в) новообразование **iātu-* вытеснило в гойдельском исконное слово **ritu-*.

Пример 2 (реконструкция предысторического основообразования и использования аблаута: № 28, 2):

Др.-ирл. *bāg f.* 'борьба' < и.-е. **b^hōg-ā*, которое этимологически восходит к и.-е. корню **b^heg-*, **b^hog-*, **b^hong-*. Это слово представляет собой результат тематизации более древнего корневого имени **b^hōg-s*:

30) др.-ирл. *bag* 'борьба' < и.-е. **b^hōg-ā*, и.-е. корень **b^heg-*, **b^hog-*, **b^hong-*, др.-ирл. *bongid* 'ломает'; **bōg-ā* < **b^hōg-s f.* 'борьба': **b^heg-*: **b^hōg-s* = и.-е. **uek^w-* 'говорить': **uek^w-s* (вед. *vāc*, авест. *vāxš*, лат. *vōx*).

Пример 3 (реконструкция предысторического основообразования и использования аблаута: № 28, 2):

Протокельт. **mr₁ uós* 'мертвый' < более древнего **mr₁ tós* объясняется контаминацией с кельт. **g^wiúós* 'живой'⁴:

31) протокельт. **mr₁ uós* 'мертвый' (др.-ирл. *marb*, *marw*) < **mr₁ tós* в результате пересечения с **g^wiúós* 'живой' (др.-ирл. *béu*, *béo*, кимр. *byw*, брет. *beo*); и.-е. **g^wiúós* (кельт., герм., греч.) < **g^wiúós* (индо-иран., балт., слав., лат.) в результате исчезновения ларингального: **g^wi^h₃-uós* > **g^wiúós*.

Данное объяснение может дополнительно опираться на тот факт, что в и.-е. языках представлено по меньшей мере еще два типа контаминации внутри контрастного семантического поля:

32) а) **mr₁ tós* 'мертвый': **g^wi^h₃uós* 'живой' с контаминацией по отношению к **mr₁ tuós*: др.-болг. *mrъtvъ*, лат. *mortuus*, венет. *mirtuvoi* (Dat.); б) **mr₁ tí-* 'смерть': **g^w[i]ieh₃-tu-* 'жизнь' > индо-иран. **mr₁ tíi-* 'смерть', вед. *á-mr₁ tu-* 'непреходящий'⁵.

Пример 4. Реконструкция незасвидетельствованных лексем: а) в протокельтском (№ 28, 7а):

Как производные от **aġ-* 'гнать' широко распространено **aġ-ro-s* 'пастбище, выгон, поле'. Отношение **aġ-*: **aġ-ro-s* подтверждается фактами ведийского, греческого, армянского, латинского и германского, в то время как в тохарском и кельтском представлен только соответствующий глагол:

33) **aġ-*: **aġ-ro-s* (вед., греч., арм., герм.) vs. **aġ-*: ∅ (тох. А и Б *āk-*, др.-ирл. *agid*).

⁴ Краткое *i* в **g^wiúós* засвидетельствовано в кельтском (др.-ирл. *béu*, *béo*, кимр. *byw*, ср.-брет. *beu*, брет. *beo*), германском и греческом, в то время как другие и.-е. языки обнаруживают долгое *i* (др.-инд. *jīvā-*, лат. *vīvus*, лит. *gyvas*, др.-болг. *živъ*). Э. Хэмп [Studies Palmer, Innsbruck 1976: 88 f.], исходя из **g^wi^h₃-uós*, объясняет сокращение длительности гласного *i* исчезновением ларингального.

⁵ Ср.: **g^w[i]ieh₃-tu-* 'жизнь' = авест. *jiiātu-*; вед. *jīvātu-* было преобразовано по образцу *jīvā-* [Mayrhofer 1986 1: 595 s.v. *jīvā-tu-*].

Из этого распределения следует заключить, что именованное производное *aġ-ro-s в тохарском и кельтском было в более позднее время утеряно. В кельтском может в качестве субститута особенно *mag^hos рассматриваться⁶.

Пример 5. Реконструкция незасвидетельствованных лексем/суффиксов: б) в островном кельтском (№ 28, 7б):

В кельтиберской надписи Botorrta I обнаруживается фраза *maśnai Tisaunei*:

34) *maśnai Tisaunei* 'разделить с помощью ломанья', 'разбить, разделить на куски' [Schmidt 1976: 380, 385, 391], 'broken apart by violence' [Eska 1989: 17; 74f.; 112]; 'повредить, ломая (то есть применяя силу)', соответственно 'разрушать' [Meid 1993b: 99, 121].

Этимология отглагольного имени *Tisaunei* спорна [Lambert 1990; IC 1994]. Предложенная же мною этимология слова *maśnai* < **mad-snā*, напротив, нашла одобрение со стороны Эска и Майда⁷:

35) *maśnai* (Dat. Sg., ā-основа) < **mad-snā* : др.-ирл. *maidim* 'ломаю, разделяюсь на куски' [Pokorny 1959: 695]; суффикс **sno-*, *snā-*.

Суффикс **sno-*, **snā-* надежно засвидетельствован как индоевропейский. Бругман [Brugmann 1906: 264] приводит примеры из индо-иранского, греческого, итальянского, балтийского и славянского, но не из кельтского, на который нет указаний также у Педерсена [Pedersen 1976]. Предположение, что **sno-*, **snā-* был вытеснен в кельтских языках другими именными образованиями, подтверждается отношением кельтибер. **mad-snā-* к др.-ирл. **mad-men-*:

36) кельтибер. **mad-snā-* : др.-ирл. **mad-men-*: «*maidid* 'breaks' (intrans.) : *maidm* (to-*maidm*)».

Я заканчиваю и обобщаю все сказанное следующим образом. Опираясь на развитую Хюбшманом для армянского модель, мы расчленили нашу тему – к концепции сравни-

⁶ Прочно закрепившийся в кельтском равно как и в индо-иранском, армянском, греческом, итальянском, германском и тохарском корень **aġ-* 'гнать' служил также для обозначения кражи коров, ср. ср.-ирл. *táin bó* 'cattle-raid', собственно 'угон коров'; *táin* < **to-aġ-ni* f. является отглагольным именем от сложного глагола *do-aig-*. Древность такого употребления доказывается двояко: а) с помощью синтагматической связи **g^o u-* 'корова' с **aġ-* 'гнать', засвидетельствованной за пределами кельтского также в других древних и.-е. языках; б) практикой кражи коров, которая была как у индоевропейских, так и у неиндоевропейских народов широко распространенным обычаем.

Аргумент а) может за пределами кельтского опираться преимущественно на ведийские и греческие данные, ср., напр., вед. *goájana-* 'подгоняя коров' и композиты от *aj-* 'гнать'. Для греческого Э. Бенвенист [Benveniste 1969 I: 41] установил, что представленное *αἴλη* 'стадо', производное от **aġ-*, раньше обозначало 'le troupeau de boeufs' [коровье стадо] с управляемым сложным вербальным образованием *βοῦκόλος* < **g^o ou-k^o ólos* со значением 'пастух коров', составленном из **g^o ou-* 'корова' и корня **k^o el-*. Ср. рефлексy этого обозначения профессии в островном кельтском (с различным способом образования основы; ср. работу Ульриха в [AES 1993]: др.-ирл. *bóchail* gl. *bobulcus* Sg. 58 b 6, ср.-ирл. *buachail(l)*, ср.-кипр. *bugeil*, кимр. *bugail*, ср.-брет. *buguel*, брет. *bugel*. Греко-кельтская изоглосса подтверждает значительный возраст выражения *пастух коров* внутри и.-е. общности, хотя, с другой стороны, могла бы рассматриваться и как ранняя восточноиндоевропейская инновация.

Что касается аргумента б), то для его поддержки достаточно будет указать на греческое *βοηλασία* Δ 672, в котором можно видеть субститут для сохранившейся в ср.-ирл. *táin bó* древней синтагмы из **aġ-* + **g^o ou-*.

⁷ К окончанию *-unei* < **-mnei* ср. [Schmidt 1976: 391]; иную точку зрения см. [Meid 1993a].

тельно-исторического анализа кельтского словаря – на четыре части (см. № 2): I. Дифференциация между исконным словом и заимствованием. II. Определение слоев заимствований. III. Идентификация исконной лексики. IV. Концепция «*étymologie-histoire-des-mots*» протокельтского. Кельтская ситуация передачи письменных свидетельств потребовала, кроме того, привлечения ряда дополнений. Необходимо было учесть: в I-й части – кельтские дочерние языки и их вычленение из протокельтского; во II-й части – языки, контактировавшие с кельтским; в III-й части – положение протокельтского внутри и.-е. семьи языков. Менее всего затронутая исследованием IV-я часть включает лишь кратко сформулированные вопросы (см. № 28). Систематическая обработка этого материала при особом учете континентальных кельтских языков и изоглосс между восточноиндоевропейским и кельтским остается задачей на будущее*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Капанцян 1952 – Г. Капанцян. О взаимоотношении армянского и лазо-мегрельского языков. Ереван, 1952.
- AES 1993 – Akten des Ersten Symposiums deutschsprachiger Keltologen / M. Rockel, St. Zimmer (Hrsg.). Tübingen, 1993.
- Agud, Tovar 1989 – A. Agud, A. Tovar. Diccionario etymologico vasco. I. San Sebastian, 1989.
- Benveniste 1969 – E. Benveniste. Le vocabulaire des institutions indo-européennes. I. Paris, 1969.
- Brugmann 1906 – K. Brugmann. Grundriss des vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Strassburg, 1906.
- Dillon 1973 – M. Dillon. Celt and Hindu. The Osborn Bergin memorial lecture III. Dublin, 1973.
- Ernout, Meillet 1967 – A. Ernout, A. Meillet. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots. Paris, 1967.
- Eska 1989 – J.F. Eska. Towards an interpretation of the Hispano-Celtic inscription of Botorrita. Innsbruck, 1989.
- Gorrochategui 1993 – J. Gorrochategui. Las lenguas de los pueblos palcohispanicas // Almagro-Corlea, ... 1993.
- Gorrochategui 1995 – J. Gorrochategui. Basque names // Namenforschung / Name studies / Les noms propres. Ein internationales Handbuch zur Onomastik. Berlin; New York, 1995.
- Greene 1978 – D. Greene. The evidence of language and place-names in Ireland // The Vikings / Th. Andersson, K.I. Sandred (eds.). Stockholm, 1978.
- Holder 1896–1910 – A. Holder. Alt-celtischer Sprachschatz. Leipzig, I – 1896; II – 1904; III – 1910.
- Hübschmann 1875 – H. Hübschmann. Ueber die Stellung des armenischen im Kreise der indogermanischen Sprachen // KZ. 23. 1875.
- Hübschmann 1897 – H. Hübschmann. Armenische Grammatik. I Tl.: Armenische Etymologie. Leipzig, 1897.
- IC 1994 – Indogermanica et Caucasic. Festschrift K.-H. Schmidt / R. Bielmeier, R. Stempel (Hrsg.) unter Mitarbeit von R. Lanszweert. Berlin; New York, 1994.
- IE 1989 – Indogermanica Europea. Festschrift für W. Meid / K. Heller, O. Panagl, J. Tischler (Hrsg.). Graz, 1989.
- ISI 1983 – The impact of Scandinavian invasions on the Celtic-speaking peoples c. 800–1100 A.D. / B.Ó. Cuiv (ed.). Dublin, 1983 (first edition – 1975).
- Katičić 1976 – R. Katičić. Ancient languages of the Balkans. 1–2. The Hague; Paris, 1976.
- Katičić 1980 – R. Katičić. Die Balkanprovinzen // Die Sprachen im römischen Reich des Kaiserzeit / G. Neumann, J. Untermann (Hrsg.). Köln; Bonn, 1980.
- KBW 1981 – Die Kelten in Baden-Württemberg / K. Bittel, W. Kimmig, S. Schiek (Hrsg.). Stuttgart, 1981.
- Koch 1992 – J.T. Koch. «Gallo-Brittonic» vs. «Insular Celtic»: The interrelationship of the Celtic languages reconsidered // Bretagne et pays celtiques. Langues, histoire, civilisation. Mélanges offerts à la mémoire de Léon Fleuriot / G. Le Menn, J.-Y. Le Moing (eds.). Saint-Brieuc (Rennes), 1992.
- Ködderitzsch 1993 – R. Ködderitzsch. Keltisch und Thrakisch // Akten des Ersten Symposiums deutschsprachiger Keltologen / M. Rockel, St. Zimmer (Hrsg.). Tübingen, 1993.

* За перевод текста статьи с немецкого языка благодарю Х. Вернера (Бонн).

- Krahe 1936 – *H. Krahe*. Ligurisch und Indogermanisch // Germanen und Indogermanen. Festschrift für Hermann Hirt. Bd. II. Heidelberg, 1936.
- Krahe 1954 – *H. Krahe*. Sprache und Vorzeit. Heidelberg, 1954.
- Kretschmer 1896 – *P. Kretschmer*. Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache. Göttingen, 1896.
- Lambert 1995 – *P.-Y. Lambert*. La langue gauloise. Paris, 1995.
- Lottner 1858 – *E. Lottner*. Über die Stellung der Italier innerhalb des indoeuropäischen Stammes // KZ. 7. 1858.
- Lottner 1861 – *E. Lottner*. Celtisch-italisch // Kuhn-und-Schleicher Beiträge. 2. 1861.
- LC 1993 – Los Celtas. Hispania y Europa / Dirigido por M. Almagro-Gorbea. Madrid, 1993.
- LSC 1994 – Linguisticae scientiae collectanae. Ausgewählte Schriften von W. P. Schmid anlässlich seines 65. Geburtstages / J. Becker et al. (Hrsg.). Berlin; New York, 1994.
- McCone 1992 – *K.R. McCone*. Keltisch // Rekonstruktion und relative Chronologie. Akten der 8. Fachtagung der indogermanischen Gesellschaft / R. Beekes, A. Lubotzky, J. Weitenberg (Hrsg.). Innsbruck, 1992.
- McManus 1984 – *D. McManus*. The so-called Cothrige and Pátric strata of Latin loanwords in early Irish // Ireland and Europe / P.N. Chathain, M. Richter (eds.). Stuttgart, 1984.
- Marichal 1988 – *R. Marichal*. Les graffites de la Graufesenque. Paris, 1988.
- Marstrander 1915 – *C.J.S. Marstrander*. Bidrag til det norske sprogs historie i Irland. Kristiania, 1915.
- Mayrhofer 1986 – *M. Mayrhofer*. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. 1. Heidelberg, 1986.
- Meid 1986 – *W. Meid*. Hans Kuhns «Nordwestblock»-Hypothese. Zur Problematik der «Völker zwischen Germanen und Kelten» / Germanenprobleme in heutiger Sicht / H. Beck (Hrsg.). Berlin; New York, 1986.
- Meid 1992 – *W. Meid*. Gaulish inscriptions. Budapest, 1992.
- Meid 1993a – *W. Meid*. Die erste Botorrita-Inschrift. Interpretation eines keltiberischen Sprachdenkmals. Innsbruck, 1993.
- Meid 1993b – *W. Meid*. Die erste Botorrita-Inschrift. Innsbruck, 1993.
- Meid 1996 – *W. Meid*. Heilpflanzen und Heilsprüche: Zeugnisse gallischer Sprache bei Marcellus von Bordeaux. Innsbruck, 1996.
- Meillet 1908 – *A. Meillet*. Les dialectes indo-européens. Paris, 1908.
- Meillet 1966 – *A. Meillet*. Esquisse d'une histoire de la langue latine. Paris, 1966.
- Motta 1988 – *F. Motta*. Brevi note sulle bilingui ogamico-latine di Britannia // Bilinguismo e biculturalismo nel mondo antico / E. Campanile, G.R. Cardona, R. Lazzeroni (eds.). Pisa, 1988.
- Motta 1993 – *F. Motta*. Die Namenformeln im Altkeltischen // Lengua y cultura en la Hispania preromana. Actas del V Coloquio sobre lenguas y culturas de la Península Ibérica / J. Untermann, F. Villar (eds.). Salamanca, 1993.
- Motta 1995–1996 – *F. Motta*. Problèmes d'onomastique celto-latine // Studia ex hilaritate. Mélanges H.J. Wolf. Strasbourg; Nancy, 1995–1996.
- Pedersen 1925 – *H. Pedersen*. Le groupement des dialectes indoeuropéens. København, 1925.
- Pedersen 1976 – *H. Pedersen*. Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen. Göttingen, 1976.
- Pokorny 1959 – *J. Pokorny*. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.
- Porzio Gernia 1981 – *M.L. Porzio Gernia*. Gli elementi celtici del latino // Celti d'Italia / E. Campanile (ed.). Pisa, 1981.
- PSI 1986 – Proceedings of the Seventh International Congress of Celtic Studies / D.E. Evans, J.G. Griffith, E.M. Jope (eds.). Oxford, 1986.
- Puydt 1993 – *Chr. De Puydt*. Essai de synthèse bibliographique sur les Celtes de Galatie // Ollodagos. 5. Bruxelles, 1993.
- Rankin 1994 – *H.D. Rankin*. Celts and the classical world. London, 1994.
- Sarauw 1900 – *Chr. Sarauw*. Irske Studier. København, 1900.
- Schmidt 1967 – *K.-H. Schmidt*. Keltisches Wortgut im Lateinischen // Glotta. 44. 1967.
- Schmidt 1976 – *K.-H. Schmidt*. Zur keltiberischen Inschrift von Botorrita // BBCS. 26. 1976.
- Schmidt 1980 – *K.-H. Schmidt*. Gallien und Britannien // Die Sprachen im römischen Reich der Kaiserzeit / G. Neumann, J. Untermann (Hrsg.). Köln; Bonn, 1980.
- Schmidt 1982 – *K.-H. Schmidt*. Spuren tiefstufiger set-Wurzeln in tocharischen Verbalsystem // Serta indogermanica. Festschrift für G. Neumann / J. Tischler (Hrsg.). Innsbruck, 1982.
- Schmidt 1984 – *K.-H. Schmidt*. Keltisch und Germanisch // Das Germanische und die Rekonstruktion der indogermanischen Grundsprache / J. Untermann, B. Brogyanyi (Hrsg.). Amsterdam; Philadelphia, 1984.

- Schmidt 1985 – *K.-H. Schmidt*. Keltisch, Baltisch und Slavisch // *Symbolae Ludovico Michelena septuagenario oblata. Pars prior* / J. Michelena (ed.). Vitoria, 1985.
- Schmidt 1986 – *K.-H. Schmidt*. Keltisch-germanische Isoglossen und ihre sprachgeschichtlichen Implikationen // *Germanenprobleme in heutiger Sicht* / H. Beck (Hrsg.). Berlin; New York, 1986.
- Schmidt 1987 – *K.-H. Schmidt*. Handwerk und Handwerker im Keltischen und Germanischen. Beiträge zu einem historischen Vergleich // *Studien zum indogermanischen Wortschatz* / W. Meid (Hrsg.). Innsbruck, 1987.
- Schmidt 1990a – *K.-H. Schmidt*. Late Irish / Britain 400–600: Language and history / A. Bammesberger, A. Wollmann (Hrsg.). Heidelberg, 1990.
- Schmidt 1990b – *K.-H. Schmidt*. Gallo-Brittonic or insular Celtic // *Indogermanica et Palaeohibernica. In honorem A. Tovar et L. Michelena* / F. Villar (ed.). Salamanca, 1990.
- Schmidt 1990c – *K.-H. Schmidt*. Zur Rekonstruktion der irischen Sprachgeschichte // *Deutsche, Kelten und Iren. 150 Jahre deutscher Keltologie* / H.L.C. Tristram (Hrsg.). Hamburg, 1990.
- Schmidt 1991a – *K.-H. Schmidt*. The Celts and the ethnogenesis of the Germanic people // *HS. 104*. 1991.
- Schmidt 1991b – *K.-H. Schmidt*. Latin and Celtic: Genetic relationship and areal contacts // *BBCS. 38*. 1991.
- Schmidt 1992a – *K.-H. Schmidt*. Celtic movements in the First Millenium B. C. // *JIES. 20*. 1992.
- Schmidt 1992b – *K.-H. Schmidt*. The Celtic problem. Ethnogenesis // *ZCP. 45*. 1992.
- Schmidt 1993a – *K.-H. Schmidt*. Insular Celtic: Celtic *p* and *q* // *The Celtic languages* / M.J. Ball, J. Fife (eds.). London; New York, 1993.
- Schmidt 1993b – *K.-H. Schmidt*. Die indogermanische Basis des Protoarmenischen. Prinzipien ihrer Rekonstruktion // *The Second International symposium on Armenian linguistics. Proceedings. 2*. Yerevan, 1993.
- Schmidt 1994 – *K.-H. Schmidt*. Galatische Sprache / *Forschungen in Galatien* / E. Schwertheim (Hrsg.). Bonn, 1994.
- Schmidt 1995 – *K.-H. Schmidt*. Zur historisch-vergleichenden Analyse des keltiberischen / Hispanokeltischen Lexikons // *Velesia. 12*. 1995.
- Schmidt 1997 – *K.-H. Schmidt*. Beiträge zur Konzeption einer historisch-vergleichenden Analyse des keltischen Lexikons // *Scribthair a ainm n-ogaim. Scritti in memoria di Enrico Campanile. II*. Pisa, 1997.
- Schmidt 2000 – *K.-H. Schmidt*. Zu den Isoglossen zwischen dem Keltischen, Slavischen und / oder Baltischen // *Festschrift Ignacy Ryszard Danko*. Łódź, 2000.
- SI 1993 – Sprachen und Inschriften des antiken Mittelmeerraumes. Festschrift für J. Untermann / F. Heidermanns, H. Rix, E. Seebold (Hrsg.). Innsbruck, 1993.
- Stempel 1987 – *P. de Bernardo Stempel*. Die Vertretung der indogermanischen liquiden und nasalen Sonanten im Keltischen. Innsbruck, 1987.
- Stempel 1991 – *P. de Bernardo Stempel*. Die Sprache altbritannischer Münzlegenden // *ZCP. 44*. 1991.
- Vendryès 1902 – *J. Vendryès*. De hibernicis vocabulis quae a latina lingua originem dixerunt. Paris, 1902.
- Vendryès 1918 – *J. Vendryès*. Les correspondences de vocabulaire entre l'indo-iranien et l'italo-celtique // *MSL. P. 20*. 1918.
- Wagner 1969 – *H. Wagner*. The origin of the Celts in the light of linguistic geography // *TPhS*. London, 1969.
- Wild 1970a – *J.P. Wild*. Borrowed names for borrowing things? // *Antiquity. 54*. 1970.
- Wild 1970b – *J.P. Wild*. Textile manufacture in the northern Roman provinces. Cambridge, 1970.
- Wild 1976 – *J.P. Wild*. Loan words and Roman expansion in North-West Europe // *World archaeology. 8*. 1976.
- WWC 1990 – When worlds collide. The Indo-Europeans and the Pre-Indo-Europeans / T.L. Markey, J.A.C. Greppin (eds.). Ann Arbor, 1990.
- ZCP – Zeitschrift für celtische Philologie.
- Zeuss, Ebel 1871 – *J.K. Zeuss, J. Ebel*. Grammatica Celtica. Berolini, 1871.

© 2007 г. М. ГИРО-ВЕБЕР

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ В ФУНКЦИИ ИМЕННОГО СКАЗУЕМОГО В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ВОЗМОЖНО ЛИ ЕЩЕ ГОВОРИТЬ О СЕМАНТИЧЕСКОМ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИИ «Им. vs. Тв.»?

Распределение падежных форм существительного в предикативной функции в русском языке постепенно менялось в течение веков. В настоящее время творительный падеж является преобладающей формой во всех контекстах, кроме конструкций без связки или со связкой *быть* в настоящем времени, где обязателен именительный. В остальных случаях конкуренция между этими падежами возможна, но она семантически и прагматически мотивирована. Менее частотный именительный сигнализирует о том, что говорящий рассматривает признак, приписываемый субъекту-подлежащему, как доминирующий и выделяет его среди других, потенциально возможных признаков.

Интересно, что подобное явление наблюдается в той же области в польском языке, где употребление именительного падежа в определенных контекстах вносит в высказывание целую гамму семантических оттенков, чуждых нейтральному творительному.

I. Исторические исследования именных форм в функции сказуемого в современном русском языке позволяют наблюдать непрерывное развитие языка в данной области на протяжении веков. Нам кажется очевидным, что для прилагательного эта эволюция еще не закончилась, о чем свидетельствуют колебания в употреблении форм, отмечаемые многими исследователями. В связи с этим, чисто синхронное описание функционирования форм прилагательного в функции именного сказуемого представляется неэффективным. В работе [Guiraud-Weber 1993] мы предлагаем альтернативное «бисинхронное» описание, которое кажется нам более адекватным.

Проблема существительного в функции именного сказуемого более проста, хотя бы потому, что, в отличие от прилагательного, располагающего тремя формами (краткая форма, именительный и творительный падежи), выбор форм существительного ограничен двумя (именительный и творительный падежи). При этом все исследования показывают, что творительный является в этой функции значительно более частотным. Именительный падеж остается единственно возможной формой только в конструкции с глаголом *быть* в настоящем времени. Следует ли тем самым считать употребление именительного в других контекстах лишь следом предыдущего состояния языка, не имеющим собственной семантической нагрузки? Или же можно по-прежнему говорить о семантическом противопоставлении падежей и приписывать каждому из них определенное значение?

Известно, что исторически распределение падежей сильно отличалось от того, которое мы наблюдаем в современном языке. В текстах, датируемых до XV века, именительный падеж был наиболее регулярной формой, тогда как творительный падеж мог употребляться только в некоторых определенных случаях, в частности, при указании профессии или титула. Но в них уже обозначается тенденция, которая будет усиливаться в дальнейшем: именительный заменяется творительным во всех случаях, когда связкой не является глагол *быть*. В наиболее древнюю эпоху творительный падеж встречается с глаголами *учинитися* или *творитися*. В дальнейшем другие глаголы-связки начинают все чаще употребляться с этим падежом. Историки языка отмечают зависимость выбора формы имени от типа связочного глагола: «чем конкретнее значе-

ние выпольняющего функцию глагола, тем легче именительный падеж, как падеж номинации, уступает место творительному падежу, как падежу объекта» [Виноградов, Шведова 1964: 63].

В XVIII в. этот процесс ускоряется, и творительный падеж проникает во все стили, затрагивает существительные с абстрактным значением и все чаще употребляется в предложениях в будущем времени или в императиве. Семантическое противопоставление, в соответствии с которым имя в именительном падеже обозначало постоянное состояние субъекта, а имя в творительном падеже его временное состояние, ослабло, что еще более расширило возможности творительного падежа. В последующую эпоху он все более вытесняет именительный падеж. Детальное описание этой эволюции предложено в работе [Виноградов, Шведова 1964].

В современном языке творительный падеж оказывается преобладающей формой имени в функции сказуемого во всех случаях, кроме конструкций со связкой *быть* в настоящем времени, независимо от того, выражена ли она материально (форма *есть*) или ей соответствует нулевая форма, ср.:

Бог есть любовь (Л.Н. Толстой);
Жена есть жена;
Наш сосед – чужак.

Кроме того, именительный падеж употребляется также в предложениях, в которых отсутствие всякой глагольной формы не связано, по-видимому, с дефектностью парадигмы глагола *быть*. Речь идет о предложениях с обобщенным значением, не относящихся ни к какому конкретному временному плану:

Повторение – мать учения;
Время – деньги.

Это предложения без временной парадигмы, часто рассматриваемые как разновидность высказываний типа *Брат студент, Она красавица*, в которых, однако, отсутствие связки явно указывает на настоящее время (ср. *Брат был студентом* и т.п.). В работе [Гиро-Вебер 1976] мы показали, что предложения без временной парадигмы в русском языке восходят к древней индоевропейской модели, засвидетельствованной в древнегреческом и в латыни (ср. лат. *Omnis homo mortalis*) и описанных Э. Бенвенистом [Benveniste 1950]. Во всяком случае эти предложения не возникли вследствие эволюции парадигмы глагола *быть* на русской почве.

Единственным исключением остаются некоторые слова, такие как *вина, порука, причина*, традиционно употребляемые в творительном падеже [Johannet 1961]. Отметим также фразеологические, вполне периферийные употребления творительного в предложениях без связки (их подробное описание предложено в [Mrázek 1964: 234–237]).

Однако именительный падеж продолжает употребляться в современном языке и в других контекстах, главным образом, с глаголом *быть* в прошедшем времени.

Такое положение дел ставит исследователя перед необходимостью принять одно из трех следующих решений:

- 1) Пренебречь употреблением именительного падежа в случаях, когда речь не идет об имени, вводимом связкой *быть* в настоящем времени. Такой подход, к сожалению, слишком упрощает картину, но является максимально экономичным и может использоваться в схематических описаниях педагогического характера, предназначенных, например, для изучающих русский язык как иностранный на начальном курсе.
- 2) Продолжать объяснять распределение двух форм старым семантическим противопоставлением. Такое решение было принято в грамматиках XIX – начала XX в. Однако оно кажется неприемлемым в современных описаниях, поскольку оказывается неприменимым в слишком большом числе случаев. Тем не менее, именно

такое решение было выбрано авторами академической Грамматики русского языка 1960-го года [Грамматика 1960, II, 1: 425].

- 3) Выявить все параметры, определяющие область эксклюзивного употребления каждой из форм, с тем, чтобы определить ту область, в которой эти формы конкурируют. Только такой подход может позволить найти действительно синхронное семантическое объяснение распределения двух форм, если такое объяснение вообще окажется возможным.

В данной работе мы хотим предложить решение поставленной проблемы в рамках этого последнего подхода, опираясь на собранные нами примеры и учитывая результаты, полученные другими исследователями в работах последних лет¹.

2. В настоящее время можно уверенно говорить о том, что творительный падеж является единственной нормальной (стилистически немаркированной) формой, при любом связочном глаголе, кроме глагола *быть*. А именно он употребляется с такими типичными связками, как *являться, стать, оказаться, казаться, делаться, выглядеть* и т.д., а также с полными глаголами, которые лишь в отдельных случаях функционируют как связки, такими как *жить, расти, умереть, гибнуть, остаться, пойти, выйти, вернуться, расстаться, разойтись* и другие. Эти связки могут выступать в любой временной или модальной форме:

...если бы я стал писателем, то во всю копался бы в человеческой душе...(Берберова);
Наши дети оказались «чужаками» (Огонек. 20–21. 1992);
...я чувствовал себя посланцем богов (Сахаров);
Сверху они казались детьми (Косвин);
Я и остался в душе демократом, только мне не за кого голосовать (МН. 10.10.1993);
Мы не хотим выглядеть мелкими жуликами (МН. 19.04.1992);
Пусть растет, как все, советским человеком (Грекова);
Оказывается, евреями не рождаются (Косвин);
Из церкви Мухин вышел новым человеком (ЛГ. 22.08.1990).

Еще в прошлом веке с подобного рода связочными глаголами возможно было употребление существительного в именительном падеже, о чем свидетельствуют следующие примеры, приводимые А.А. Шахматовым в Синтаксисе русского языка [Шахматов 1941: 217]:

Однако ж, право, как подумаешь, Анна Андреевна, какие мы с тобой теперь птицы сделались! (Гоголь. Ревизор);
Услышав себя кричащим, он сделался дикий зверь (Герцен. Былое и думы).

3. Когда связкой является глагол *быть*, творительный падеж употребляется практически автоматически со всеми формами этого глагола, кроме настоящего и прошедшего времени. В частности, именительный падеж кажется совершенно неприемлемым при связке *быть* в инфинитиве, императиве или в форме деепричастия:

Надо же быть реалистом! (Антонов);
Не будьте провинциалочкой (Берберова);
Пусть будет премьером (ЛГ. 13.05.1992);
Будучи новорожденной нацией, мы не разбирались в мировой политике (ЛГ. 04.03.92).

¹ Корпус обследованных текстов включает 30 номеров различных периодических изданий, вышедших между 1989 и 1993 гг. (Московские новости [МН]; Огонек; Литературная газета [ЛГ]; Аргументы и факты [АиФ]; Известия), а также следующие произведения: Д.А. Антонов. Агенты и перестройка; Нина Берберова. Облегчение участи (7 рассказов); Борис Косвин. Ассимилянты; Владимир Маканин. Голоса; Андрей Сахаров. Воспоминания. Использовались также отдельные примеры из других авторов (Грекова, Николаева).

3.1. В настоящее время вероятность употребления именительного падежа практически крайне низка в контексте подлежащих определенного типа. Это касается прежде всего тех случаев, когда подлежащим является инфинитив или целое предложение и, шире, любое неодушевленное существительное (разумеется, в именных предложениях с ненулевой связкой *быть*):

...было бы неосторожностью успокоиться на том лишь предположении... (ЛГ. 13.05.1992);
Значит, для Шолохова не было секретом, что его письмо приобщено к судебному делу (ЛГ. 24.04.1992);
Но это будет грубой ошибкой (АиФ.1, 1992);
Участок был одним из основных источников существования семьи (Сахаров).

Признак одушевленный/неодушевленный рассматривается как один из основных критериев выбора формы существительного в функции сказуемого Г. Хентшелем [Hentschel 1991: 228].

3.2. Творительный падеж оказывается квази-обязательным также в случаях, когда глагол *быть* находится под отрицанием. В нашем корпусе примеров, собранном исключительно из текстов XX-го века (три четверти которых носят журналистический характер), все примеры такого рода содержат существительное в творительном падеже:

Я не был комсомольцем (Сахаров);
Но Ленин не был утопистом (Антонов);
Я никогда не был поклонником Съезда народных депутатов (МН. 10.10.1993).

Существенно, что все информанты, которые признали в равной степени приемлемыми предложения *Он был русский* и *Он был русским*, предпочли отрицательное предложение с творительным падежом: *Он не был русским*.

В целом, можно констатировать, что творительный падеж существительного в функции именного сказуемого с глаголом *быть* в прошедшем времени возможен всегда (его, в частности, никогда не отвергают информанты), тогда как для именительного падежа это неверно.

4. Таким образом, мы определили область конкуренции двух падежей: это предложения с глаголом *быть* в прошедшем времени (и, значительно реже, в будущем времени и в сослагательном наклонении), в которых глагол *быть* не находится под отрицанием и в которых подлежащим является одушевленное существительное. Среди примеров, соответствующих этим критериям, только 20% содержат имя в именительном падеже.

В настоящее время распределение именительного и творительного падежей более не зависит от постоянного или временного характера признака, приписываемого субъекту данным существительным. Действительно, если бы это противопоставление еще имело силу, именительный падеж оказался бы под запретом в случаях, когда предложение содержит эксплицитное указание на временное ограничение, ср.:

...помните, какой я тогда был энергичный, полный мальчик? (Берберова).

С другой стороны, творительный падеж не мог бы употребляться для выражения отношений по определению постоянных, к которым относятся:

– отношения родства:

Он был сыном прогоревшего торговца... (Антонов);
...она была внучкой известного композитора (Берберова).

– постоянный физический недостаток:

Он был калекой почти с самого рождения (ЛГ. 13.05.1992).

...их дети были уже американцами... (ЛГ. 04.03.1992);

Был он коренным русским, угренским человеком (Николаева).

Г. Хентшель приходит к тем же выводам, опираясь на корпус более обширный, чем тот, которым мы располагаем, и включающий также примеры из разговорного языка. Анализируя применимость противопоставления временный/постоянный признак к описанию выбора формы существительного в функции сказуемого, он рассматривает, в частности, существительные, обозначающие:

- 1) профессии и различные временные должности;
- 2) черты характера;
- 3) религиозную или политическую принадлежность;
- 4) социальный статус;
- 5) отношения родства;
- 6) возрастные характеристики человека (*подросток, старик* и т.д.).

В заключение Хентшель констатирует, что данное противопоставление не может быть признано фактором, влияющим на выбор падежа существительного-сказуемого [Hentschel 1991: 225–226].

5. Соображения, высказанные нами выше, позволяют прийти к выводу, что творительный падеж является в настоящее время нейтральной, немаркированной формой существительного в именном предложении в прошедшем времени. В качестве таковой данная форма не требует никакого объяснения. Напротив, употребление гораздо более редкого именительного падежа нуждается в комментариях.

Заметим, что этот вывод, который сейчас кажется логичным и естественным, находится в полном противоречии с мнениями, высказывавшимися специалистами в 50-х и 60-х гг. Конечно, в те годы русисты строили свои рассуждения прежде всего на материалах литературного языка XIX в. Так, например, Р. Мразек, автор монографии, посвященной синтаксису творительного падежа в русском языке, полагает, что в корреляции именительный/творительный творительный падеж является маркированным членом бинарной привативной оппозиции, который подчеркивает результат, достигнутый субъектом, в том время как именительный падеж признается нейтральным, немаркированным членом семантической оппозиции [Mrázek 1964: 234]. Напомним также позицию Грамматики 1960, в которой противопоставление постоянный/временный признак оказывается центральным для объяснения семантического распределения падежных форм в рассматриваемом контексте [Грамматика 1960, II, 1: 414–433]. Эта академическая грамматика воспроизводит в сущности анализ языковедов XIX в., известный, в частности, по капитальному и многократно переиздававшемуся труду А.М. Пешковского «Русский синтаксис в научном освещении», первая публикация которого восходит к 1914 г. [Пешковский 1956: 234].

Отметим, наконец, что последняя академическая грамматика отказывается от рассмотрения данной проблемы, ограничиваясь замечанием о замене формы именительного творительным падежом [Грамматика 1980, II: 282–289].

5.1. Наш комментарий не обязательно окажется семантическим. Можно, с одной стороны, объяснять употребление именительного падежа существительного-сказуемого с глаголом *быть* в прошедшем и, в ряде случаев, в будущем времени и сослагательном наклонении принципом аналогии с соответствующими предложениями в настоящем времени. С другой стороны, можно рассматривать именительный падеж как след предыдущего состояния языка. Эти два фактора, действующие совокупно, противостоят силе, толкающей язык в направлении нормализации и унификации, т.е. к окончательному закреплению за одной и той же функцией одного и того же – творительного падежа. Такое объяснение кажется логичным и, по-видимому, соответствует эволюции русского языка. Оно согласуется также с выводами Г. Хентшеля, для которого противо-

поставление именительный/творительный не связано с семантической лексем, но затрагивает саму структуру синтаксических функций. Действительно, именительный падеж – это прежде всего падеж подлежащего, и его закрепление за другой синтаксической функцией создает морфологическую омонимию. Если же существительное-сказуемое стоит в творительном падеже, омонимия устраняется. Творительный, тем самым, оказывается «более ясным сигналом» сказуемостной функции существительного [Hentschel 1991: 230–234]. Отметим, что в данном случае Г. Хентшель по-новому формулирует анализ, предложенный ранее Р. Мразеком в других терминах².

Эта аргументация представляется совершенно правильной, и мы ставим себе целью не опровергнуть, а лишь дополнить этот анализ. А именно, мы полагаем возможным не отказываться полностью от семантической (или прагматической) интерпретации оппозиции именительный/творительный. Несмотря на то, что, в соответствии с утверждением Г. Хентшеля, творительный представляет собой на сегодняшний день «идеальную» форму для именного сказуемого-существительного, приходится признать, что творительный падеж до сих пор не вытеснил окончательно именительный. Тем самым, существуют какие-то внешние или внутренние причины, поддерживающие именительный падеж в данной функции. Помимо внешних причин, уже упомянутых выше (аналогия с предложениями в настоящем времени и влияние предыдущего языкового состояния), можно предположить наличие и внутрисистемных причин. Действительно, ничто не мешает тому, чтобы знак, имевший некоторое значение в исчезнувшей системе, был бы переосмыслен в рамках новой системы. В данном случае, мы имеем в виду возникновение нового значения именительного падежа, которое актуализируется только в узкой области его конкуренции с творительным, области, отграниченной нами выше.

Мы не будем пытаться выводить это значение из семантики лексем, выступающих в функции сказуемого. Подобного рода попытки уже предпринимались и не привели к надежному результату³. Это значение не выводится также ни из структуры, ни из стиля предложения. Оно скорее принадлежит к области намерений говорящего и характеризует отношение последнего к признаку, приписываемому субъекту, а именно: именительный падеж сигнализирует о том, что говорящий рассматривает данную характеристику как **доминирующую, обобщенно определяющую** субъекта. Именно поэтому именительный падеж очень частотен в предложениях, приближающихся по форме к дефинициям: *Петя был хороший мальчик; Он был настоящий художник; Она была прекрасный врач* и т.п. Все предложения с номинативом существительного в функции сказуемого могут быть проинтерпретированы подобным образом.

В наш корпус входит, в частности, сплошная выборка примеров из воспоминаний Андрея Сахарова, первая часть которых содержит портреты членов семьи автора, а также его друзей и товарищей по учебе и работе. Каждый раз, когда Сахаров ограничивается краткой характеристикой персонажа, он использует сказуемое в именительном падеже:

...он был, кажется, обрусевший немец (Сахаров);

Был он великолепный рисовальщик и рассказчик – с юмором, выдумкой, мистификациями (Сахаров);

Но и вообще он был талантливый человек, любая работа горела у него в руках, и при этом – широкий, обаятельный, душевный (Сахаров);

Перельман был большой энтузиаст научной популяризации (Сахаров);

Сын Цингера – Олег – был художник (Сахаров).

² Р. Мразек замечает, что развитие употребления творительного падежа в ущерб именительного обусловлено потребностями коммуникации: «Потребность такой формальной замены в ряде контекстов диктовалась и стремлением к повышению коммуникативной четкости» [Mrázek 1964: 211].

³ Мы имеем в виду в первую очередь работы Д. Николс [Nichols 1981; 1985]. Тенденция к бесконечному перечислению вариантов употреблений характеризует также другие работы и не способствует разрешению поставленной нами проблемы.

Напротив, близкие автору, о которых он рассказывает долго и обстоятельно, никогда не характеризуются существительным в именительном падеже:

Моя мама была верующей (Сахаров);

Мои родители просто были людьми русской культуры (Сахаров);

Отец Олега был профессором математики в Московском университете, преподавал на математических факультетах (Сахаров).

Любопытно также, что, по наблюдению одного из наших информантов, именительный падеж существительного-сказуемого является наиболее уместной формой в надгробных речах.

Как было уже отмечено, конкуренции именительный/творительный были посвящены работы [Nichols 1981; 1985]. Д. Николс отмечает, что номинатив употребляется:

– если сказуемое выражает качество субъекта; речь идет о существительных *дурак, добряк, умница, старик, красавица, весельчак* и т.п.;

– если сказуемое выражено существительным с обобщенным значением (сопровождаемым определением): *человек, мужчина, девушка* и т.п.;

– если сказуемому соответствует название национальности: *американец, американка, китаец, китаянка* и т.п. [Nichols 1985: 359–360].

Как легко заметить, существительные, перечисленные Д. Николс, хорошо приспособлены для формулирования общих дефиниций и для выражения характеристик, которые говорящий рассматривает как доминирующие.

6. Гипотеза, которую мы сформулировали выше, имеет то преимущество, что она не приписывает именительному падежу значение, вступающее в полное противоречие с его более древним значением: сдвиг значения от «постоянного признака» к «доминирующему признаку» тем более легко допустить, что оба значения совместимы друг с другом и относительно близки. Эта гипотеза, по нашему мнению, подтверждается следующими фактами:

1) Доминирующий признак должен мыслиться позитивно, т.е. им не может быть отсутствие признака. Существенно с этой точки зрения, что в отрицательном предложении существительное в роли именного сказуемого не может выступать в именительном падеже (см. выше пункт 3.2).

2) Различие между доминирующим и прочими признаками имеет смысл в суждениях, мнениях и спорах, касающихся лиц. Существительное в именительном падеже всегда характеризует лицо.

3) Доминирующий признак человека не может быть сформулирован в неизменных и объективных терминах: каждый индивидуум отличен от всех других и суждение о нем может содержать тот или иной признак в соответствии с представлениями говорящего. Именно поэтому невозможно утверждать, что существует связь между лексическим значением существительного и падежом, в котором оно выступает, выполняя функцию сказуемого. Невозможно также и составить список качеств и свойств, которые регулярно выражаются тем или другим падежом. Попытки составить список лексем, которые с большей вероятностью употребляются в именительном падеже (существительные с качественным значением, названия национальностей и т.п.) или, наоборот, в творительном падеже (названия профессий, социального статуса, должности, термины родства), не привели к удовлетворительным результатам: в каждом конкретном случае количество контрпримеров столь велико, что говорить о каком-либо правиле оказывается невозможно. Дело на самом деле в том, что любой признак может быть выделен как доминантный, но, по экстралингвистическим причинам, некоторые признаки выступают в качестве таковых чаще, чем другие.

4) На чисто грамматическом уровне только именительный падеж имплицитно выражает отношения тождества между именным сказуемым и подлежащим, также стоящим в

именительном падеже. Творительный падеж может выражать только отношения включения (см. [Veugens 1971: 137–138]). Именно поэтому именительный падеж оказывается более подходящей формой для выражения доминирующего признака, способного кратко, но исчерпывающе охарактеризовать человека.

- 5) Обобщенная характеристика как языковой прием не может использоваться слишком часто, иначе она утратит свою силу. Существенно с этой точки зрения, что использование именительного падежа в рассматриваемых контекстах значительно реже, чем творительного.
- 6) Выдвигаемая нами гипотеза согласуется с интуицией информантов, которые единогласно признают большую экспрессивность именительного падежа. Все они полагают, что предложение *Пушкин был великий русский поэт* в большей степени подчеркивает значимость Пушкина как поэта, чем предложение *Пушкин был великим русским поэтом*.

Мы полагаем, таким образом, что в настоящее время можно говорить о семантическом противопоставлении именительный/творительный падеж существительного в роли сказуемого только в тех случаях, когда эти падежи находятся в конкуренции, то есть, главным образом, в прошедшем времени.

Сейчас, когда проблематика значения языковых знаков снова выходит на передний план под самыми различными наименованиями (семантика, прагматика, герменевтика, производство значения, интерактивность, когнитивные науки...), нам показалось интересным обратить внимание на явление переосмысления старой формальной оппозиции в рамках новой системы, сложившейся в современном русском языке.

7. Заканчивая, хочется напомнить, что конкуренция именительный/творительный предикативного существительного наблюдается также в польском языке. Поскольку в польском (как и в других западнославянских языках) парадигма глагола *быть* в настоящем времени сохранилась, эта конкуренция возможна и в настоящем времени. В современном польском творительный падеж в этой функции явно преобладает: польские грамматикологи считают этот падеж немаркированной формой выражения именного сказуемого⁴. Именительный используется в нейтральной речи лишь для имен собственных:

Jestem Kowalski ('Я Ковальский');
Jestem Maria Nowak ('Я Мария Новак').

Тем не менее, специалисты отмечают употребление именительного в эмоциональной речи, особенно в контекстах ругательств и брани:

Jesteś idiota! ('Ты дурак!');
Pan jest złodziej! ('Вы вор!') (ср. [Buttler, Kurkowska, Satkiewicz 1986: 325–329]).

Семантическая разница в употреблении обеих падежей встречает несколько другой комментарий у польского стилиста Е. Бральчика, автора известных сборников, в которых с особой тонкостью анализируются типичные для польской культуры выражения⁵. Рассматривая фразы, в которых субъектом является сам говорящий, типа *Jestem kobieta pracująca* ('Я женщина работающая'), Бральчик отмечает, что употребление именительного падежа вместо ожидаемого нейтрального творительного звучит подчеркнуто и подчас хвастливо и – как добавляет автор с юмором – может быть понято как свидетельство чувства неполноценности говорящего, который желает, таким образом, придать себе важности, особенно если имя обозначает престижную профессию или должность [Bralczyk 2005: 101–103]. Таким образом и в польском языке именительный вно-

⁴ Если это существительное. Для прилагательного, наоборот, именительный является немаркированной формой.

⁵ Речь идет о книге [Bralczyk 2005].

сит в высказывание целую гамму семантических оттенков, чуждых нейтральному творительному, что подчеркивает вес предлагаемой характеристики. Конкретная интерпретация таких предложений зависит от типа подлежащего (им может быть или сам говорящий, или его собеседник, или третье лицо), от типа предикативного имени и, конечно, от эмоциональной окраски высказывания. Тем не менее и здесь заметна стратегия говорящего, отмеченная нами в русском языке: максимально подчеркнуть признак, приписываемый субъекту, выделить его среди других, потенциально возможных признаков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Виноградов, Шведова 1964 – В.В. Виноградов, Н.Ю. Шведова (ред.). Изменения в соотношении именительного и творительного предикативного // Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX в. Изменения в системе простого и сложного предложения. М., 1964.
- Грамматика 1960 – Грамматика русского литературного языка. Т. II. 1. М., 1960.
- Грамматика 1980 – Русская грамматика. Т. II. М., 1980.
- Пешковский 1956 – А.П. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956.
- Шахматов 1941 – А.А. Шахматов. Синтаксис русского языка. Л., 1941.
- Benveniste 1950 – E. Benveniste. La phrase nominale // BSZP. 1950. V. 46. № 1.
- Bralczyk 2005 – J. Bralczyk. Leksykon nowych zdań polskich. Warszawa, 2005.
- Buttler, Kurkowska, Satkiewicz 1986 – D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz. Kultura języka polskiego. Warszawa, 1986.
- Guiraud-Weber 1976 – M. Guiraud-Weber. La copule: forme et fonction en russe moderne // Cahiers de linguistique, d'orientalisme et de slavistique. 8 (III). 1976.
- Guiraud-Weber 1993 – M. Guiraud-Weber. La méthode bisynchrone dans la description de l'adjectif attribut en russe moderne // RÉSI. 1993. T. LXV. № 1.
- Hentschel 1991 – G. Hentschel. Der prädikative Instrumental beim russischen Substantiv als redundantes Signal in Kopulasätzen // M. Grochowski, D. Weiss (eds.). Words are physicians for an ailing mind. München, 1991.
- Johannet 1961 – J. Johannet. L'instrumental attribut après *est'* et *sut'*: histoire d'une construction // RÉSI. 1961. T. XXXVIII.
- Mrázek 1964 – R. Mrázek. Синтаксис русского творительного. Praha, 1964.
- Nichols 1981 – J. Nichols. Predicate nominals: a partial surface syntax of Russian? Berkeley; Los Angeles, 1981.
- Nichols 1985 – J. Nichols. Падежные варианты предикативных имен и их отражение в русской грамматике // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 15. М., 1985.
- Veyrenc 1971 – J. Veyrenc. Синтаксический анализ творительного падежа // Исследования по славянскому языкознанию. М., 1971.

© 2007 г. ЦЗЯХУА ЧЖАН

АСПЕКТУАЛЬНЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ В ЗНАЧЕНИИ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассматриваются проблемы аспектуальности конкретно-предметных и абстрактных имен существительных в связи и в сопоставлении с аспектуальными характеристиками соотносительных глагольных слов. Аспектуальные компоненты значения имен существительных исследуются в статье в чисто семантическом и формально-семантическом (словообразовательном) аспектах, а также с точки зрения широкого, лексического (аспектуальные лексико-семантические классы), и узкого, грамматического (противопоставление форм совершенного и несовершенного вида), понимания категории аспектуальности. В статье представлены различные классификации существительных с точки зрения выражаемых аспектуальных значений, продемонстрированы проблемы с описанием таких существительных в толковых словарях русского языка, высказаны предложения по усовершенствованию словарной семантизации аспектуальных компонентов значения имен существительных¹.

1. АСПЕКТУАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА В СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Вопрос о том, содержится ли в значении имен существительных аспектуальный компонент, имеет достаточно долгую историю. Согласно некоторым авторитетным мнениям, в существительных, в отличие от глаголов, аспектуальные компоненты отсутствуют (см. [Виноградов 1947: 118]). Согласно другой точке зрения (а именно ее мы будем защищать и развивать в данной статье), хотя вид как грамматическая категория является в русском языке исключительно принадлежностью глаголов, разнообразные аспектуальные значения так или иначе проявляются и в неглагольных словах. Как отмечал еще А.М. Пешковский, виды глагола, «в большей или меньшей степени оформления», можно найти в глагольных существительных, прилагательных и наречиях. Так, в одних отглагольных существительных «мы находим оттенок процесса, собранного в “точку” (например, прыжок, скачок), в других – процесса, разбитого на части и вследствие этого более или менее длительного (летание, выздоравливание, читатель), в третьих – начала процесса (запевала)» [Пешковский 1935: 100]. Аналогичным образом И.А. Мельчук [Мельчук 1974: 96–97] использовал совершенный вид (Perf) как одну из лексических функций не только для описания видовых отношений между глаголами [*умереть* = Perf (*умирать*), *разобрать* = Perf (*разбирать*)], но также для характеристики видовых противопоставлений в области существительных для описания производного отношения существительного к глаголу в области аспектуального значения, ср.: *умирание* = S_0 (*умирать*); *смерть* = S_0 Perf (*умирать*); *разбор*₁ = S_0 (*разбирать*); *разбор*₂ = S_0 Perf (*разбирать*); *усталость* = S_0 (*уставать*); *победитель* = S_1 Perf (*побеждать*). Из современных работ, учитывающих и анализирующих аспектуальные характеристики имен существительных, отметим очерк аспектуальности имен существительных в монографии М.Я. Гловинской [Гловинская 2001: 56–60].

Аспектуальные значения в семантике существительных могут быть рассмотрены с различных точек зрения и на различных уровнях языковой системы. С одной стороны,

¹ Автор выражает искреннюю благодарность И.Б. Шатуновскому за сделанные им замечания и обсуждение ряда вопросов, затрагиваемых в статье.

аспектуальные компоненты существительных могут рассматриваться на чисто семантическом уровне, независимо от их словообразовательной связи с глаголами, т. е. как в отглагольных существительных, так и в существительных, не производных от глаголов (непроизводных, производных от слов других частей речи и заимствованных). Далее, с точки зрения аспектуальности могут быть рассмотрены существительные, производные от глаголов. В этом случае является важным исследование сохранения или, напротив, исчезновения имевшихся в глаголах аспектуальных значений (а иногда и добавления аспектуальных противопоставлений, отсутствовавших в исходных словах). При этом к рассмотрению могут быть привлечены все отглагольные существительные в целом как абстрактные, так и конкретные существительные (т.е. как *убийство*, так и *убийца*). Наконец, при наиболее узком подходе рассматриваются только отглагольные существительные, обозначающие то же действие, процесс и т.д., что и исходные глаголы (абстрактные существительные, синтаксические дериваты глаголов), в наибольшей мере сохраняющие аспектуальные особенности исходных глаголов. В свою очередь, в последнем случае аспектуальные особенности абстрактных имен существительных могут быть исследованы как в соответствии с более широким, лексическим пониманием аспекта, так и в соответствии с узкой, собственно грамматической трактовкой аспекта (вида).

Разумеется, выполнить грандиозную задачу описания всех типов аспектуальности существительных невозможно в рамках небольшой статьи, наша задача – представить кратко предварительный общий очерк аспектуальности в сфере существительных, наметить возможности классификации существительных с точки зрения выражаемых аспектуальных значений, продемонстрировать существующие здесь проблемы с описанием таких существительных в толковых словарях русского языка и предложить пути их усовершенствования.

В своих выводах мы опираемся не только на материалы толковых словарей (отражающих в каком-то смысле прошлое языка), но также на обширную выборку примеров из современной «бумажной» и особенно электронной прессы, размещенной в Интернете. При этом нами рассматриваются не только безупречные с точки зрения существующей языковой нормы узуальные случаи, но также не совсем «гладкие», более или менее окказиональные употребления. Такой подход, на наш взгляд, позволяет в наибольшей мере отразить современное состояние языка и отразить в исследовании произошедшие (или происходящие) в этой области изменения.

2. АСПЕКТУАЛЬНОСТЬ КОНКРЕТНО-ПРЕДМЕТНЫХ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В СЕМАНТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Примером описания имен существительных с учетом аспектуальных семантических компонентов является семантическое представление имен существительных, выражающих конкретно-предметное значение (как отглагольных, так и не отглагольных), в рамках модели «Смысл ↔ Текст» [Жолковский, Мельчук 1969: 30–31]. Авторы разделили существительные, обозначающие актантов действия, в соответствии с однократностью (единичностью) / неоднократностью (повторяемостью, узуальностью) действия, участниками которого они являются, на: (а) существительные, обозначающие лицо по единичному актуальному действию (семантически соотносительные с НСВ в конкретно-процессном (актуально-длительном) значении), например, *всадник* ('тот, кто едет верхом'), *прохожий* ('тот, кто в данный момент проходит мимо'); (б) существительные, обозначающие лицо как постоянного, узуального участника действия (соотносительные с НСВ в значении повторяющегося, узуального действия), например, *наездник* ('человек, узуально занимающийся верховой ездой'), *повар*, *врач*, *шофер*; (в) существительные, способные употребляться как в актуальном, так и в узуальном значении (т.е. совмещающие в своей семантической структуре аспектуальные значения единичности, однократности и многократности действия), например, *лыжник* ('тот, кто ходит или идет на лыжах; спортсмен, занимающийся лыжным спортом'), *пловец* ('тот, кто плавает или плывет; спортсмен, занимающийся плаванием'). В свою очередь, существительные, выражающие значение однократности, можно разделить на две аспектуальные

группы – результативные и процессные существительные – в соответствии с тем, совершено ли действие, в котором участвует обозначаемое ими лицо, до результата (такие существительные соотносительны с СВ) или же оно представляет собой незаконченный, актуально развертывающийся процесс (соотносительны с НСВ). К первым относятся *автор* ('тот, кто написал статью, книгу'), *убийца* ('тот, кто убил'), *убитый* ('тот, кого убили') и т.д., ко вторым – *пассажир* ('тот, кто актуально пользуется услугами транспорта'), *больной* ('тот, кто болеет').

Семантические аспектуальные различия необходимо учитывать и в рамках более широких семантических и синтаксических классификаций имен. Специфика ряда типов лексических значений связана с наличием в их семантической структуре отсылки к процессуальному признаку, представленному в том или ином аспектуальном плане. Так, выделяемый в работе Н.Д. Арутюновой [Арутюнова 1980: 212–213] функциональный тип номинации лиц и предметов предполагает представление о выполняемом ими или посредством их (для предметов) повторяющемся, многократном (по крайней мере, потенциально) действии. В свою очередь, аспектуальная характеристика содержащегося в значении имени процессуального компонента имеет различные семантические, синтаксические и референциальные последствия, обуславливает его референциальные возможности и валентностные связи. Прежде всего, поскольку объектом (узусуального, потенциально бесконечного) повторяющегося действия, по понятным экстралингвистическим причинам, не может быть единичный объект (нет смысла изготавливать щипцы для того, чтобы расколоть с их помощью один-единственный орех, и человек обычно не может зарабатывать себе на жизнь тем, что он чистит одни и те же сапоги), объектами повторяющегося действия являются различные объекты одного и того же класса. Соответственно, имя, обозначающее такой объект, всегда относится к классу = имеет неопределенную (родовую) референцию: *чистильщик сапог* 'тот, кто узусуально чистит сапоги (неопр., разные, одни, другие, третьи и т.д., но все они относятся к классу сапог)' – **чистильщик этой пары туфель* (см. [Арутюнова 1980: 212]). Представление об объекте, имеющем родовую референцию, легко может быть включено в семантику имени: *колун* – 'то, чем колуют дрова', однако это не освобождает синтаксическую позицию объекта, которая могла бы быть занята другим именем [Там же]: позиция родового объекта уже заполнена семантически, обозначение определенного объекта при узусуально повторяющемся действии по прагматическим причинам невозможно (**колун этого полена*). Поэтому функциональные обозначения, хотя и обнаруживают некоторое сходство с реляционными обозначениями, включающими компонент 'отношение' [Там же: 211], не способны выполнять в предложении роль реляционного предиката, требующего определенности второго термина отношения (*Петр* – мой сын / друг Ивана), но выступают в роли классифицирующего предиката, ср.: **Маша* – продащица этого брикета мороженого; *Маша* – продащица мороженого. Ситуация, впрочем, меняется, если повторяющееся действие таково, что оно может повторяться с одним и тем же объектом или лицом, например, *полотер Его Величества* и т.п., ср. также несколько иное (постоянное занятие, но не функция, а, так сказать, хобби) *субутьильник твоего брата*, где объект и второй субъект совместного действия («партнер») определенный, или, по крайней мере, более определенный (не полы вообще, но полы в (определенном) королевском дворце; твой брат). В таких случаях имя выполняет реляционную функцию.

В то же время имена существительные, обозначающие лицо по единичному действию, по своему синтаксическому поведению сближаются с существительными, выражающими реляционное значение. Они не способны употребляться в роли классифицирующего предиката: *Иванов* – писатель и **Иванов* – автор², но регулярно используют-

² В настоящее время, видимо, под влиянием английского языка, где соответствующее слово (*author*) обозначает, прежде всего, постоянное занятие, русское слово *автор* развивает многозначность в отношении единичности / повторяемости действия, употребляясь и как функциональное обозначение лица, узусуально создающего некие письменные произведения. В таком значении это слово, естественно, приобретает возможность употребляться без указания на объект действия и в роли классифицирующего предиката: *Я не писатель, я автор* (Н. Устинова, телепередача).

ся «в идентифицирующих целях, и это сближает их с реляционными предикатами» [Арутюнова 1980: 213]: *Достоевский – автор «Бесов»; Убийца Кеннеди – Освальд; Автор этого романа – Иванов*. В предложении они имеют определенную референцию, которая достигается указанием на определенный объект действия, валентность на обозначение которого у таких имен должна быть обязательно заполнена, при том, что родовые объекты при именах, выражающих повторяющееся действие, часто вообще не выражаются, ср.: *спаситель девочки*, но **спасатель девочек* [Плунгян, Рахилина 1998: 115], *автор этого письма*, но **писатель этих произведений*.

Хотя существительные, обозначающие лицо по повторяющемуся действию, также могут быть определенными, при этом определенность может создаваться, как и в случае обозначений лица по единичному действию, путем отсылки к определенному объекту (в широком смысле), с которым связано данное лицо, интерпретации таких совпадающих по своей поверхностной форме сочетаний (их глубинные синтаксические структуры) принципиально различны. Ср. словосочетания *убийца мэра* и *киллер мэра*. *Убийца* (в данном контексте) является существительным, обозначающим лицо по однократному действию, существительное *мэр* при этом указывает на определенный объект действия *убийцы*, смысл словосочетания – ‘убийца, убивший мэра’; *киллер* (профессиональный убийца) является существительным, обозначающим лицо, совершающее (по крайней мере, потенциально) повторяющееся, узуальное действие и *мэр* в сочетании с ним указывает не на объект действия профессионального *убийцы* (поскольку невозможно постоянно, узуально убивать одного и того же человека), а его «посессора», смысл словосочетания – ‘профессиональный убийца, нанятый мэром для регулярного совершения заказных убийств’. Хотя оба словосочетания определенные, но средства создания значения определенности различны: в первом случае оно создается указанием на определенный объект действия, а во втором – на определенного нанимателя. Заметим, что *убийца* может пониматься и как выражающее значение общефактического типа (‘тот, кто совершил, по крайней мере, одно убийство’, = ‘совершил, по крайней мере, одно действие **этого типа**’), и употребляться поэтому без указания на объект, аналогично *грабитель, поджигатель*³. Именно это значение имеется в виду, когда, например, говорят о том, что в данной тюрьме сидят убийцы и грабители.

В случае если и актуальное, единичное действие, и повторяющееся действие может иметь один и тот же вид объектов, обозначение объекта отличается с точки зрения референции: так, конверсивные субъекты, выраженные существительными *покупатель/продавец*, могут сочетаться с формально одним и тем же объектом-существительным: *покупатель воздушных шаров / продавец воздушных шаров*. Однако *покупатель* (тот, кто купил или покупает воздушные шары) является существительным, обозначающим лицо по актуальному единичному действию, поэтому зависимое имя существительное, обозначающее объект этого действия, понимается как определенное; *продавец* (в данном сочетании) понимается как относящееся к узуальному, постоянному действию (просто потому, что нельзя, в норме, много раз продавать одни те же шары), поэтому объект действия понимается как нереферентный [Плунгян, Рахилина 1998: 115], точнее, имеющий неопределенную (родовую) референцию. Заметим, впрочем, что и здесь при определенных условиях возможно понимание слова *продавец* как соотносительного с актуальным единичным действием. Например, в ситуации покупки-продажи квартиры, когда стороны, участвующие в сделке, именуются соответственно *покупатель* и *продавец*.

³ Глаголы НСВ *убивать, грабить, поджигать* и другие подобные обозначения деструктивных действий очень плохо употребляются в общефактическом значении, поэтому в толковании использован глагол СВ с эксплицитным общефактическим кванторным пояснением: «по крайней мере, один раз». В данном случае в производном существительном происходит «приращение» аспектуального значения, появляется аспектуальный компонент, который в норме отсутствует непосредственно в производящем глаголе СВ, как, впрочем, и в соотносительном НСВ.

Семантика аспектуальной категории в конкретно-предметных существительных обычно отражается (хотя и не всегда четко) в словарных статьях толковых словарей в лексическом и видовом значении предиката дефиниции. Ср.:

всадник – «тот, кто едет верхом на лошади» [МАС] и *наездник* – «тот, кто владеет искусством верховой езды» [МАС];

спаситель – «тот, кто спас или спасает кого-л. от какой-л. опасности или гибели» [МАС] и *спасатель* – «тот, кто занимается спасением кого-л.» [МАС];

убийца – «тот, кто совершил убийство» [СОШ 1997] и *киллер* – «наемник, совершающий заказное убийство» [ТСРЯ 1998].

В приведенных выше словарных статьях в толкованиях существительных *всадник*, *спаситель*, *убийца* использованы глаголы несовершенного вида в конкретно-процессном значении (*едет*, *спасает*) и глаголы совершенного вида в конкретно-фактическом значении (*спас*, *совершил*). Это выявляет аспектуальные характеристики их лексических значений: *всадник* содержит в себе конкретно-процессное значение НСВ, *убийца* – конкретно-фактическое значение СВ, а *спаситель* включает в себя как конкретно-процессное значение НСВ, так и конкретно-фактическое значение СВ. Существительные *наездник*, *спасатель*, *киллер*, совпадая по основному понятийному содержанию со словами *всадник*, *спаситель*, *убийца*, в то же время отличаются от последних, как показывают словарные толкования, в отношении аспектуального компонента, обозначая постоянное свойство. Это отличие проявляется в толкованиях в использовании форм НСВ, выражающих постоянно-непрерывное или неограниченно-кратное значение (*владеет*, *занимается*, *совершающий*). Оговорки следует сделать в отношении толкования слова *киллер*, в котором использование причастия НСВ *совершающий*, предпочтительно понимаемого в значении узуального, повторяющегося действия, противоречит единственному числу абстрактного имени. Как представляется, это противоречие отражает аспектуально-темпоральное своеобразие еще не устоявшегося в своем употреблении слова *киллер*: это и (прежде и чаще всего) (а) тот, кто узуально, профессионально совершает заказные убийства, и (б) тот, кто совершил одно такое убийство, и даже (в) тот, кто вообще (еще) не убил, но только нанят для того, чтобы совершить убийство, так сказать, находится в процессе его осуществления (поэтому *совершающий* может пониматься и в соответствующем процессном, хотя и не конкретном значении).

В целом, в соответствии с характером аспектуального компонента, содержащегося в лексическом значении конкретно-предметных существительных, их можно разделить на:

– конкретно-фактические имена существительные (соотносительные с СВ в конкретно-фактическом значении): *убийца*₁ (*X-a*), *создатель* (*Y-a*), *нарушитель*, *поджигатель*, *победитель*, *предъявитель*, *податель* и т.д.;

– конкретно-процессные имена существительные (соотносительные с НСВ в конкретно-процессном значении): *всадник*, *прохожий*, *проситель* и т.д.;

– узуальные имена существительные (соотносительные с НСВ в значении узуального действия): *наездник*, *грузчик*, *прогульщик*, *лесоруб*, *портретист* и т.д.;

– перфектные имена существительные (соотносительные с СВ в перфектном значении): *обрыв* (место, где что-либо *оборвано*);

– существительные перфектного состояния, например, *забор* (стена, обычно деревянная, *отделяющая* или *ограждающая* что-л.);

– общефактические существительные, например, *свидетель* (тот, кто лично *присутствовал* при каком-л. событии, лично *видел* что-л.), *убийца*₂, *грабитель*₂ и т.д.;

– постоянно-непрерывные существительные, например *обитатель* (тот, кто *живет*, *обитает* где-либо) и др.

Выделенные в толкованиях глаголы употреблены в значении перфектном (*оборвано*), перфектного состояния (*отделяющая*, *ограждающая*), общефактическом (*присутствовал*, *видел*) и постоянно-непрерывном (*живет*, *обитает*). Некоторые конкретно-предметные существительные совмещают в себе два или более частных аспектуальных значения, например, *спаситель*, *освободитель*, *завоеватель*, *обследователь*, *изобрета-*

тель и др. совмещают в своей семантической структуре конкретно-фактическое и конкретно-процессное значения; *гребец, лыжник, пловец, игрок* и др. совмещают узуальное и конкретно-процессное значения: *гребец* – 'спортсмен, занимающийся гребным спортом' или 'тот, кто гребет'.

3. АСПЕКТУАЛЬНОСТЬ АБСТРАКТНЫХ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ, ПРОИЗВОДНЫХ ОТ ГЛАГОЛОВ

Производные от глаголов отвлеченные имена существительные связаны с производящими глаголами не только в плане собственно лексического (понятийного) значения но также, поскольку (парные по виду) глаголы в русском языке имеют две видовые формы, СВ и НСВ, с видовыми характеристиками глагола как в формальном, так и в семантическом плане. В толковых словарях русского языка эта связь отражается не всегда последовательно и эксплицитно, кроме того, во многих случаях словарные толкования не соответствуют реальному речевому употреблению. Так, например в МАС, имеются три типа толкований отглагольных существительных с точки зрения отсылки к тому или иному виду: (а) существительное соотносено в толковании с формой СВ: *написание* – «действие по знач. глаг. написать»; (б) существительное соотносено в толковании с формой НСВ: *раскалывание* – «действие по знач. глаг. раскалывать и раскалываться»; (в) существительное соотносено в толковании с обеими видовыми формами: *раскол* – «действие по знач. глаг. расколоть – раскалывать; действие и состояние по знач. глаг. расколоться – раскалываться». В последнем случае, очевидно, отражается связь отглагольного существительного и глаголов с точки зрения лексического значения, но не с точки зрения словообразования: производящим для слова *раскол* является глагол СВ *расколоть(ся)*, но не НСВ *раскалывать(ся)*.

Как говорилось выше, аспектуальность может рассматриваться на лексическом и грамматическом уровне. Категория грамматической аспектуальности формируется противопоставлением двух рядов форм – СВ и НСВ, выражающих видовые грамматические значения и образующих грамматическую категорию вида в русском и других славянских языках. Что касается лексической аспектуальности, то она представляет собой функционально-семантическую категорию. В этом случае аспектуальные значения сливаются с лексическими значениями (являются частью лексических значений) и не имеют формальных грамматических показателей. Такого рода аспектуальные значения выражаются во всех языках, хотя, разумеется, функционально-семантические аспектуальные группы (классы) слов не совпадают полностью в разных языках. Аспектуальные категории в широком смысле в языках, которые имеют категорию вида (в узком смысле), представляющую в этих языках ядро функционально-семантического поля аспектуальности [Бондарко 1971: 4], взаимодействуют с этой категорией. В русском языке большинство глаголов СВ и НСВ имеет синтетические формальные показатели, от глагольные существительные, производные от них, также включают эти показатели, поэтому при анализе аспектуальных категорий, к которым относятся эти существительные, нельзя не учитывать их производность (соотнесенность) с совершенным или несовершенным видом. Семантика глаголов способов действия в русском языке имеет тоже определенные формальные показатели, однако в современном русском языке существительные, производные от глаголов конкретных способов действия, представляют собой нерегулярные и малопродуктивные образования.

4. АСПЕКТУАЛЬНЫЕ ТИПЫ ОТГЛАГОЛЬНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО (ЛЕКСИЧЕСКОГО) ПОНИМАНИЯ КАТЕГОРИИ АСПЕКТУАЛЬНОСТИ

С точки зрения особенностей лексической семантики, а также коррелятивных с семантическими особенностями различий в области «скрытой грамматики» – возможности образования тех или иных грамматических форм, сочетаемость с разного рода обстоятельствами и т.д. – глаголы могут быть разбиты на различные аспектуальные клас-

сы. Наибольшую известность из таких классификаций получила классификация глаголов З. Вендлера, произведенная им на материале английского языка. Достоинством этой классификации является то, что в ней выделены наиболее общие и наиболее «рельефно» выделяющиеся (фактически) аспектуально-семантические классы глаголов (критерием является возможность образования продолженных форм и сочетаемость с различными временными ограничителями и показателями длительности типа *весь день*). Согласно З. Вендлеру, все глаголы можно разделить на следующие основные классы: глаголы состояния (*states*), глаголы деятельности (*activities*), глаголы исполнения (*accomplishments*), глаголы достижения (действия с акцентом на результате⁴) (*achievements*) [Vendler 1967: 97–121]. Названия этих классов, правда, может быть, не совсем удачны, поскольку не отражают полностью специфику этих классов. Но это объективная трудность. Как в русском, так и в английском языке чрезвычайно важным является противопоставление контролируемых и неконтролируемых ситуаций (процесов) и отсутствуют слова, обозначающие аспектуальные классы в отвлечении от этого признака, который является нерелевантным для их выделения. Все это приводит к серьезным номинативным (терминологическим) трудностям. В работе Е.В. Падучевой [Падучева 1996: 91–92] соответствующие классы обозначены как: (1) состояния, (2) деятельности и непредельные процессы, (3) действия и предельные процессы, (4) скачки. Скачки с аспектуальной точки зрения входят в русском языке в более широкий класс, который мы будем называть «моментальные (мгновенные) переходы и события» (*достичь, нарушить, приехать, ударить, взорваться*) и т.д.). Кроме того, в русском языке с точки зрения семантики и особенностей видового противопоставления, что особенно релевантно для данной статьи, необходимо учитывать, как минимум, наличие еще одного класса (отсутствующего у Вендлера), а именно градативов⁵: *белеть* = 'становиться более белым'; *увеличиваться* = 'становиться больше' и т.д. Таким образом, мы имеем следующие пять основных функционально-семантических аспектуальных классов: (1) состояния (*находиться*); (2) деятельности и непредельные процессы (*спать, дежурить, кипеть*); (3) предельные действия и предельные процессы, которые мы будем также называть длительно-результативными действиями и процессами, поскольку они состоят из этапа некоторого длящегося действия / процесса, который приводит к некоторому результату (в широком смысле, = к изменению состояния) (*варить суп, читать книгу, увядать*); (4) градативы; (5) моментальные переходы и моментальные события. Глаголы, относящиеся к классам (1), (2), (4) – непредельные, глаголы классов (3) и (5) – предельные.

На это деление в русском языке накладывается собственно видовое противопоставление. Одни из перечисленных аспектуальных классов включают глаголы какого-либо одного определенного вида, глаголы других классов могут быть как в форме СВ, так и НСВ, поэтому внутри этих классов имеет место противопоставление грамматических видов.

Производные отглагольные существительные также делятся на различные аспектуальные классы, соответствующие аспектуальным характеристикам производящих глаголов; точнее говоря, эти классы «возвышаются» над делением на части речи и свойственны процессуальному существительному так же, как и глаголам.

4.1. Отглагольные существительные – состояния. Значение этих существительных характеризуется статичностью, длительностью, гомогенностью и отсутствием внутреннего предела.

⁴ Термин Е.В. Падучевой [Падучева 1996: 107].

⁵ Данный тип (в связи с особенностями противопоставления СВ и НСВ в глаголах этого типа) был выделен М.Я. Гловинской [Гловинская 1982: 86–89; 2001: 100–103]; термин *градативы* принадлежит Е.В. Падучевой [Падучева 1996: 117].

С точки видовой характеристики производящих глаголов существительные состояния делятся на следующие группы:

а) существительные состояния, производные от глаголов НСВ, не имеющих соотносительных глаголов СВ: *состояние* <←*состоять*> (*состояние в запасе – состоять в запасе*); *нахождение* <←*находиться*> (*во время его нахождения на орбите = в то время, когда он находился на орбите*); *отношение* <←*относиться*> (*Он хорошо относится к нам – Его хорошее отношение к нам проверено годами = То, что он хорошо относится к нам...*); *знание* <←*знать*> *Он знает законы развития – Знание законов развития помогает ему... = То, что он знает законы развития, ...* и т.д.

б) существительные перфектного состояния, производные от глаголов НСВ в перфектных видовых парах⁶: *залегание* <←*залегать*> (*Новгородская область является перспективной в отношении залегания здесь алмазов (regions.ru) – В недрах Новгородской области залегают алмазы*); *отставание* <←*отставать*> (*Наше отставание от Европы и США в этой сфере очевидно (А. Колесов) = То, что мы отстаем от Европы и США в этой сфере, очевидно*).

в) существительные перфектного состояния, производные от глаголов СВ в перфектных видовых парах: *расположение* <←*расположиться*> (*К месту расположения 5-го моста поставили дополнительно 100 метров боновых заграждений (saint-petersburg.ru) = К месту, где расположился 5-ый мост...*); *вздутие* <←*вздуться*> (*Уже месяц наблюдается вздутие живота (celt.ru) – Уже месяц как вздулся живот*).

4.2. Отглагольные существительные, обозначающие деятельность и непределные процессы⁷. Значение этих существительных характеризуется признаками динамичности, длительности, гомогенности и отсутствия внутреннего предела.

Производные существительные деятельности обычно образуются от несоотносительных глаголов НСВ: *бред* <←*бредить*> (*Больной всю ночь был в бреду = Больной всю ночь бредил*); *рыдание* <←*рыдать*> (*От рыданий она вся трясется = Она рыдает и от этого вся трясется*); *дежурство* <←*дежурить*> (*быть на дежурстве = дежурить*).

Существительные данного аспектуального типа могут образовываться в русском языке и от несоотносительных по виду глаголов СВ, видовое значение которых противоречит данному аспектуальному значению: *полет* <←*полететь*> (по смыслу соотносится с *лететь*); *прогулка* < формально от <←*прогулять(ся)*> (по смыслу соотносится с *гулять, прогуливаться*; ср.: *быстрый полет – *быстро полететь; во время прогулки – *во время, когда кто-л. прогулялся*).

Заметим, что ряд существительных, выражающих в первичном значении деятельность (*полет, дежурство, путешествие, поездка, поход* и т.п.), могут также употребляться в значении, соответствующем значению СВ – значении целостного действия, ср. *после дежурства, в результате прогулки, перед полетом* и т.п. Такие существительные, помимо всего прочего, используются для образования своего рода аналитических глаголов СВ (часто отсутствующих в однословной форме): *совершить полет / прогулку, проделать путешествие* и т.п.

4.3. Длительно-результативные отглагольные существительные (предельные действия и предельные процессы). В структуре лексического значения отглагольных суще-

⁶ Перфектную видовую пару, по Е.В. Падучевой [1996: 155], составляют глагол СВ, обозначающий не только переход в новое состояние, но и само новое состояние, которое за ним следует, и глагол соответствующего НСВ, обозначающий не просто состояние, но состояние, наступившее в результате перехода, который обозначается глаголом СВ. О таких видовых парах упоминалось в работе Чжан Цзяхуа [1986: 69–73].

⁷ Название этого класса до некоторой степени условно. Фактически в эту группу (глаголов и существительных) входят не только слова, обозначающие собственно деятельность, как *толкать (тележку), дежурить*, и непределные неконтролируемые (нецеленаправленные) процессы (*кипеть*), но также слова, которые невозможно естественно отнести ни к первым, ни ко вторым (*бредить, рыдать, плакать, смеяться* и т.п.).

ствительных этого класса сохраняются такие аспектуальные семантические компоненты производящих глаголов, как динамичность, длительность, гетерогенность и наличие внутреннего предела. Производящие длительно-результативные глаголы являются в русском языке парными по виду, глагол НСВ в видовой паре в прототипическом для данного противопоставления конкретно-процессном значении обозначает протекание действия / процесса на этапе до достижения (или недостижения) предела и перехода в новое состояние (для контролируемых процессов – действий – достижения или недостижения результата), СВ – указывает на достижение (или в отрицательной форме – недостижение) предела (результата) и переход (с отрицанием – отсутствие ожидавшегося перехода) в новое состояние. Существительные этого класса образуются в одних случаях от глаголов СВ, в других – от глаголов НСВ, при этом, вне зависимости от того, от глагола какого вида они образованы, такие существительные имеют двувидовой характер, функционально-семантически соотносятся с обоими видами. О соотносительности таких существительных с обоими видами (в контексте утверждения, что все отглагольные существительные соотносятся с обоими видами) говорит, со ссылками на А.А. Потемню и Я.К. Грота, В.В. Виноградов [Виноградов 1947: 120]. Существительное этого типа (*создание*) приводится Е.В. Падучевой как пример денотативной неоднозначности: «*сообщил о создании (факт) – участвовал в создании (процесс)*» [Падучева 1985: 13]. Такие существительные употребляются не только в конситуации⁸ достижения внутреннего предела, обозначая действие, которое достигает положительного или отрицательного результата, но и в конситуациях длящегося действия / процесса, выражая протекание действия (процесса) на этапе до достижения (положительного или отрицательного) результата.

4.3.1. Длительно-результативные отглагольные существительные, производные от парных по виду длительно-результативных глаголов.

Существительные, обозначающие действия, образуются как от парных глаголов СВ, так и от парных глаголов НСВ. Будем называть такие существительные длительно-результативными отглагольными существительными.

4.3.1.1. Длительно-результативные отглагольные существительные, образованные от СВ.

Наиболее продуктивным суффиксом, образующим существительные этого типа, является суффикс *-ени(е)*.

- (1) а. *Выяснение* истинных причин чернобыльской аварии тянулось долго (Б. Горбачев);
б. После *выяснения* обстоятельств все задержанные были отпущены на свободу (из газет).
- (2) а. Процесс *изменения* орбиты состоит из двух частей (news.ru);
б. Дополнительные доходы, полученные компанией в результате *изменения* тарифов, будут направлены на развитие средств связи на Дальнем Востоке (из газет).

Отглагольные существительные *выяснение*, *изменение* в примерах (а) обозначают действие на этапе до достижения результата (и соответствуют семантически конкретно-процессному НСВ), слова *тянулось долго* и *процесс* являются показателями их процессности (развертывания действия во времени); в предложениях (б) эти существительные обозначают целостное действие (событие), показателями этого являются слова *после*, *в результате* и т.д.⁹

⁸ Конситуация = контекст + ситуация.

⁹ Двувидовой характер префиксальных отглагольных существительных отчасти проявляется и формально. Ударение в этих отглагольных существительных всегда падает на суффикс *-ени(е)*, независимо от ударения в производящем инфинитиве СВ (ср. *изменить* – *изменение*, *выяснить* – *выяснение*, *повысить* – *повышение*). Я.К. Грот объясняет это приспособлением ударения в этих существительных к соотносительным формам НСВ на *-ать*, *-ять*: *прославление* – от *прославить* / *прославлять* [Виноградов 1947: 120]; см. также [Грамматика 1980, т. 1: 159], аналогично *выражение*, *высвобождение*, *выяснение*, *заполнение*, *нарушение*, *очищение*, *перечисление*, *повышение*, *уверение*, *умножение*, *улучшение* и т.д.

Двувидовая семантика длительно-результативных отглагольных существительных *изменение* и *выяснение* отражена в МАС, толкующем эти существительные путем отсылки к соответствующей паре глаголов СВ и НСВ: *изменение* – «действие по знач. глаг. изменить¹ – изменять¹ и состояние по знач. глаг. измениться – изменяться» [МАС], аналогично *выяснение*.

В то же время в других случаях в словаре дается отсылка только к одному виду. Так, отглагольные существительные *восстановление*, *рассмотрение*, *освоение* и др. толкуются в МАС через глагол СВ, напр.: *восстановление* – «действие по глаг. восстановить». Однако, как показывают примеры, они могут также использоваться для выражения конкретно-процессного значения, соответствующего НСВ:

(3) Прекращено *восстановление* Останкинской телебашни. Денег нет (Радио «Маяк»).

(4) 8 июля в областном суде началось *рассмотрение* дела по убийству... (nr2. ru).

(5) В течение многих лет активно шло *освоение* территории (crtsdod. ru).

Существительные, образованные от парных длительно-результативных глаголов СВ с помощью других суффиксов, в том числе и нулевого суффикса, – *окраска*, *починка*, *сдача*, *устройство*, *осмотр*, *разброс*, *обыск*, *выплата*, *продажа* и др. – также употребляются как двувидовые, т. е. могут быть соотносительны и с СВ, и с НСВ, выражая в одних конституациях значение целостного действия, доведенного до результата, а в других – действие на этапе до достижения результата.

Любопытно, что в отдельных случаях существительные этого типа образуются от глаголов СВ, не имеющих пары НСВ. Тем не менее, они функционируют как двувидовые существительные, компенсируя недостаточность в этом пункте собственно глагольной видовой системы:

(6) Теракт в Грозном – это попытка сорвать политический процесс *урегулирования* в Чечне (relcom.ru), ср.: В последнее время появилась надежда на *урегуливание* имущественных споров (из газет) = *надежда урегулировать имущественный спор*.

В данном случае существительное, образованное от глагола СВ *урегулировать*, не имеющего пары НСВ (*регулировать* имеет другое значение), способно употребляться не только в значении целостного действия, но также, как в примере выше, в процессном значении.

4.3.1.2. Длительно-результативные отглагольные существительные, образованные от НСВ.

Как и существительные, образованные от СВ, такие существительные с точки зрения значения и функционирования являются двувидовыми, ср.:

(7) а. Министерство обороны России начало *вывоз* военной техники и оборудования из Грузии (Kmpnews.ru) (= начало *вывозить*);

б. Сахалинскими таможенниками пресечено три попытки *вывоза* березовых грибов в Корею (gazeta.ru) (= попытки *вывезти*);

(8) а. Российский путешественник Матвей Шпаро встречает свое 25-летие во время *перехода* через льды Гренландии (tassphoto.com) (= во время процесса *перехода*);

б. После *перехода* через Байкал каюр намерен отправиться на чемпионат России по ездовому спорту на средней дистанции (greenexpress.ru) (= после того, как он перешел / перейдет через Байкал).

Аналогично:

(9) а. *Прокладка* пятикилометрового тоннеля началась еще в советское время (iran.ru);

б. Сколько стоит *прокладка* трубопровода до Находки? (satatools. ru);

(10) а. Во время *переезда* 8, 9 и 10 января консульский отдел будет закрыт (из газет);

б. Многие переселенцы не могут оформить вид на жительство даже спустя несколько лет после *переезда* (vesti.ru);

(11) а. Молодая женщина была убита во время *покупки* дубленки (regions.ru);

б. Переименование компании произошло год спустя после *покупки* заводов голландцами (redlinemedia.ru).

В МАС одни из отглагольных существительных этого типа (*вывоз, провозка, переход, пропуск* и т.д.) толкуются через соответствующую пару глаголов СВ и НСВ, что отражает их реальное употребление. В то же время другие существительные этого типа, например *прокладка, переезд, покупка*, толкуются только через НСВ (*прокладка* – «действие по знач. глаг. прокладывать»), что создает впечатление, что они по своей аспектуальной семантике соответствуют только глаголам НСВ, что, как видно из примеров выше, не соответствует действительности. Толкования отглагольных существительных этого типа в МАС указывают в этих случаях лишь на словообразовательную производность этих существительных от глаголов НСВ.

4.3.2. Двувидовые существительные, обозначающие предельные процессы, образуются от парных глаголов НСВ: *высыхание* <←*высыхать*>, *увядание* <←*увядать*>, *созревание* <←*созревать*> и т.д.: *процесс высыхания* – в результате высыхания; *процесс созревания* – после созревания и т.д. Такие существительные способны обозначать как процессы в развитии, так и процесс, достигший итогового состояния.

4.4. Отглагольные существительные – градативы. Это существительные, образованные от глаголов типа *увеличить(ся), повысить(ся)* и т.п. Своеобразие этого класса глаголов показано в работах М.Я. Гловинской и Е.В. Падучевой [Гловинская 1982: 86–89; 2001: 100–103; Падучева 1996: 117]. Существительные этого типа, как и производящие глаголы, отличаются от глаголов и существительных предшествующего класса тем, что изменение количественного параметра, обозначаемого этими словами, не имеет внутреннего предела. Они могут быть как контролируемыми (действиями), так и неконтролируемыми процессами. Существительные этого типа подобны длительно-результативным отглагольным существительным, образованным от СВ. Такие существительные формально образуются от глаголов СВ, семантически же они соотносятся как с СВ, так и с НСВ:

- (12) По Дагестану у нас сложная ситуация по Тереку. Там продолжается *усиление* дамб (*vesti.ru*) = продолжают *усиливать* дамбы;
- (13) Германия предпринимает новую попытку *усиления* своего влияния (= *усилить* свое влияние) на международной арене (*newsru.ru*);
- (14) Эксперты опасаются, что сильное и продолжительное *повышение* (= *процесс* повышения) евро может ударить по экспорту (из газет);
- (15) В третьем квартале банку удалось добиться *повышения* прибыли на 24% (из газет) = ... того, что прибыль *повысилась* на 24%.

Как и в случае длительно-результативных существительных, в толковых словарях русского языка толкования таких существительных не последовательны и часто не соответствуют фактам употребления. В одних случаях они толкуются через соотносительную пару СВ и НСВ (толкование слова *повышение*), в других – через глаголы СВ (*усиление* – «действие по знач. глаг. усилить и усилиться») [МАС], однако это отражает только словообразовательные связи этих существительных.

4.5. Отглагольные существительные, обозначающие мгновенные (моментальные, точечные) переходы и события (действия с акцентом на результате и происшествии [Падучева 1996: 110–111]).

Так же как и производящие глаголы, производные отглагольные существительные этого типа содержат в семантической структуре признаки динамичности, недлительности (моментальности), достижения внутреннего предела. Этот аспектуальный класс делится на два основных подкласса: (1) точечные, мгновенные действия и события (неконтролируемые и контролируемые), не предполагающие какого-либо предварительного действия или процесса, ведущего к этому событию (*удар, взрыв, нарушение*); (2) контролируемые действия, которые в реальности, фактически происходят в результате какого-то процесса (действия), однако представление о таком процессе (действии) не входит в значение таких существительных (как и производящих глаголов), в которых содержится только указание на непосредственный переход из одного состояния в другое (достижение результата): *приход, достижение, приобретение* и т.д. Поэтому такие существительные не могут сочетаться с показателями длительности, ср. во время *свадьбы*,

во время *переезда*, *во время *прихода*, *во время *ухода*. Отглагольные существительные *свадьба*, *переезд* относятся к длительно-результативному классу, они могут сочетаться с *во время*, а *приход*, *уход* – существительные с «акцентом на результате», в них нет семантического компонента длительности, потому не могут они сочетаться с *во время* [Падучева 1999: 218]¹⁰.

Как и в других случаях, существующие толковые словари русского языка не отличаются последовательностью и единообразием отражения соотносительности существительных данного класса с граммемами категории вида производящих глаголов. В словарях представлены все теоретически возможные варианты такого соотнесения, а именно, такие существительные могут толковаться как соотносительные с парой СВ и НСВ например *нарушение* [МАС]; как соотносительные с СВ, например, *взрыв* [СОШ 1997]; как соотносительные с НСВ, например *приход* [МАС]. При этом, как представляется, именно толкование, соотносящее существительное с парой СВ – НСВ, в большинстве случаев правильно отражает реальное языковое употребление. Однако характер связи «моментального» имени существительного с глаголами СВ и НСВ иной, нежели в ранее описанных типах имен, поскольку в этом типе семантически невозможен глагол НСВ в длительном, конкретно-процессном значении. СВ в таких парах обозначает однократное, единичное моментальное событие (или переход), соотносительный с ним НСВ обозначает многократное (повторяющееся) или узуально повторяющееся событие [Гловинская 2001: 59]. Производные отглагольные существительные от видовых пар этого типа также в большинстве случаев можно использовать как для выражения конкретно-единичного события, так и повторяющегося (узуального) события. Например:

(16) Авария произошла из-за *нарушения* шофером правил дорожного движения (rzd.ru) = из-за того, что шофер *нарушил* правила дорожного движения.

(17) В Италии бастуют пилоты. Недовольство пилотов вызвало постоянное *нарушение* контрактов руководством компании (из газет) = недовольство пилотов вызвало то, что руководство компании постоянно *нарушает / нарушало* контракты.

Заметим, что противопоставление единичного и многократного (повторяющегося) действия, которое в глаголах выражалось противопоставлением СВ и НСВ, в существительных выражается противопоставлением форм единственного и множественного числа. При этом форма единственного числа иногда может выражать и повторяющееся действие, как в примере выше, и единичное; форма множественного числа является в таком противопоставлении маркированной и однозначно указывает на множественность событий, ср. [Гловинская 2001:59]. Так, в примере (17) можно было употребить форму мн. числа: ... *постоянные нарушения*, ср. также:

(18) Смирнова отстранили от должности в связи с постоянными *нарушениями* правил предвыборной агитации (volgainform.ru) = ... в связи с тем, что он постоянно *нарушал* правила предвыборной агитации.

В существительных, обозначающих моментальные целостные события (начало, середина и конец, сжатые в одном мгновении), типа *взрыв*, *удар*, *толчок*, форма единственного числа однозначно указывает на единичность события.

Событийные (моментальные) существительные в форме множественного числа могут обозначать продолжительный процесс, состоящий из ряда повторяющихся, мгновенных актов, формируя значение, соответствующее конкретно-процессному (актуально-длительному) значению НСВ таких глаголов, как *прыгать*, *кивать*, *стучать* и т.п.

¹⁰ Следует иметь в виду, что одно и то же существительное в различных конституциях может относиться к разным аспектуальным классам. Так, когда слово *получение* употребляется в значении контролируемого действия, оно относится к длительно-результативным отглагольным существительным и может сочетаться со словами, обозначающими длительность: *процесс получения страхового возмещения*; когда оно употребляется в значении неконтролируемого действия (события), то относится к отглагольным существительным с акцентом на результате и поэтому не сочетается со словами, обозначающими длительность: *Я получил письмо от друга* – **процесс получения письма от друга*.

(так называемых многоактных глаголов), конкретно-процессное значение которых формируется неопределенным повторением на актуальной оси времени актов одного и того же действия. В таком употреблении эти существительные приобретают способность сочетаться с фазовыми показателями [Гловинская 2001: 59] и показателями длительности:

- (19) В настоящее время *взрывы* снарядов прекратились (regions.ru) = В настоящее время снаряды прекратили *взрываться*;
- (20) Начались резкие *удары* волн в развал носа слева (library/riverships.ru) = Волны начали резко *ударять* / *ударяться* в развал носа слева;
- (21) Ракетные *удары* длились несколько часов (из газет).

Как видно из этих примеров, абстрактные существительные являются более идиоматичным (правильным) выражением соответствующих процессуальных значений; во многих случаях (как в примере (21)) глаголы с необходимым значением вообще отсутствуют и событийные существительные заполняют этот пробел.

Несколько слов о производных от парных глаголов движения НСВ существительных *приход*, *приезд*. Эти существительные толкуются в МАС через глаголы НСВ *приходить*, *приезжать* («действие по знач. глаг. *приходить*», «действие по знач. глаг. *приезжать*»); в словаре Д.Н. Ушакова [Ушаков 1935] эти существительные толкуются через пару СВ – НСВ: (*приход* – «действие по глаг. *прийти* ... – *приходить*», аналогично *приезд*). Именно последнее толкование соответствует фактам реального употребления. Существительные *приход*, *приезд* в исходной форме (в единственном числе) соответствуют прежде всего СВ: *Его приезд нас обрадовал* = *То, что он приехал, нас обрадовало*. Для интерпретации в значении повторяющегося действия (соотносительном с НСВ) нужен специальный контекст, показывающий кратность: *Приход гостей меня всегда радовал* (пример из [Арутюнова 1980: 240]). В то же время форма множественного числа, естественно, выражает повторяющееся действие: *Его приезды нас радовали*.

5. АСПЕКТУАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА ОТГЛАГОЛЬНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ АСПЕКТУАЛЬНОСТИ

Рассмотрим теперь более подробно некоторые вопросы аспектуальности имен существительных с точки зрения грамматического – собственно видового – понимания категории аспектуальности. Глаголы СВ и НСВ в русском языке включают аффиксы, выражающие видовые значения, которые так или иначе переносятся в структуру лексического значения отглагольных существительных.

Как было отмечено В.В. Виноградовым, в существительных от глаголов НСВ с суффиксами *-ива-(-ыва)*, *-ва-*, *-а-* обычно сохраняется значение кратности или длительности, выражаемое этими глагольными морфемами в НСВ: *Дело в жизни, в одной жизни, – в открывании ее, непрерывном и вечном, а совсем не в открытии* (Ф. Достоевский) [Виноградов 1947: 118]. Все толковые словари определяют такие отглагольные существительные как соответствующие по значению мотивирующим глаголам НСВ.

В производных отглагольных существительных этого типа могут сохраняться практически все частные видовые значения производящих НСВ.

Неограниченно-кратное значение:

- (22) Можешь ли ты быть уверена, что сама всегда ценишь то, что для тебя делают? Каждый поступок? Пропускание вперед, *подавание* руки при выходе из транспорта? (из газет); ср. пример, где такое значение имеет форма глагола: И он крепко пожимал и встряхивал руку, которую ему нехотя *подавала* Бодростина, и убежал в свой вагон (Н. Лесков).

Конкретно-процессное значение:

- (23) У меня было отличное настроение и пятнадцатиминутный процесс *подавания* кофе меня сегодня только развлекал (Т. Скворцова); ср.: Чудо, какая милая! – сказала она, глядя на Вареньку, в то время как та *подавала* стакан французенке (Л. Толстой).

Конкретный процесс действия, который обозначает глагол НСВ, иногда представляется в контексте как процесс не самого действия, а подготовительный этап к нему (значение предстояния [Падучева 1996: 115]). В такой разновидности конкретно-процессного значения может быть актуализировано также и отглагольное существительное с морфами *-ива-* (*-ыва-*), *-ва-*, *-а-*:

(24) Поскольку я только в состоянии *подавания* в загс, а не подала еще, то думаю, что торопиться не надо (playHard.ru).

Общефактическое значение:

(25) Перуцци выбежал из павильона, чтобы отдать приказание о *подавании* кушаний (А. Майков), ср.: Сейчас же *подавай* и чай (Б. Акунин)¹¹.

Значение перфектного состояния:

(26) Решена проблема по расчистке территории *пролегания* трассы водовода от гаражей местных жителей (volgainform.ru), ср.: Вся скоростная автострада *пролегалет* через пустыню Маоусу в северной части Китая (из газет); *Проляжет* новый маршрут через Владивосток и завершится в городе Раджин КНДР (fpdi.narod.ru).

В зависимости от характера лексического значения и конситуации **неограниченно-кратное значение** отглагольных существительных данного типа реализуется в таких же вариантах, как и в мотивирующих глаголах НСВ:

Повторяющийся длительный процесс:

(27) Выходит, многие люди что-то слышат, а некоторые и видят. Естественно, не во время клинической смерти, а при *умирании* и оживлении (ateism.ru); ср.: На кресте человек *умирает* трое суток, а если погода не жаркая, если дожди, то нужно пять-семь дней ждать (Огонек. 1988. № 39).

Повторяющееся действие, достигающее результата (в каждом повторении):

(28) Вот Курт и готовит про запас маленькие дешевые плиты, которые всегда нужны, особенно сейчас, осенью, когда, так же как весной, начнется массовое *умирание* (Э.М. Ремарк. Черный обелиск; пер. В. Станевича); ср.: Ежегодно от голода *умирают* 400 миллионов человек, в том числе 17 миллионов детей (из газет).

Повторяющиеся мгновенные акты:

(29) Но видно ничего не было, кроме редкого *взблескивания* крыльев истребителей (Б. Полевой); ср.: У него такое же лицо, как у нее, – выбеленное лунным светом, на котором темнеют лишь изгибы бровей и *взблескивают* глаза (Р. Апатева).

Некоторые суффиксально деривационные глаголы НСВ употребляются только для обозначения неограниченно-кратного узуального действия или узуально повторяющегося состояния, производные от них существительные сохраняют те же семантические особенности:

(30) После *прочитывания* или прослушивания рассказа, дети легко смогут заучить всю историю и пересказать ее в том виде, в котором она изложена (из газет); ср.: Она *прочитывала* адреса всех конвертов, приходивших в поселок (Б. Полевой);

(31) Всяко лучше *просиживания* вечеров за компьютером (thekonst.net.ru); ср.: Желтый, осунувшийся, дрожа от озноба, он *просиживал* в классе от первого урока до последнего (А. Голубева).

Отглагольные существительные в примерах (30) и (31) унаследовали от производящих глаголов, с одной стороны, значение совершенности, законченности (*прочитывание*) и ограничительно-длительное значение (*просиживание*), выражаемые приставкой *про-*, а с другой, значение узуального повторяющегося действия, выражаемое суффиксом *-ива-* (*-ыва-*).

Суффикс *-ива-* (*-ва-*, *-а-*) обычно рассматривается как чисто видообразующий. С его помощью от глаголов СВ образуются парные НСВ. В области производных отглаголь-

¹¹ В трактовке значения данной формы мы следуем за Е.В. Падучевой, рассматривающей такое употребление императива как общефактическое [Падучева 1996: 69].

ных имен ситуация иная. Хотя обычно существительные, образованные от суффиксационно деривационных глаголов НСВ, сохраняют видовое значение мотивирующих глаголов НСВ, соотносительные существительные, образованные от СВ, которые образовали бы с ними оппозицию по аспектуальной семантике, во многих случаях отсутствуют. При этом в ряде случаев существительные, образованные от суффиксационно деривационных глаголов НСВ, вообще не имеют соотносительных по виду существительных, образованных от СВ (в этих же парах): ср.: *залегание* <←*залегать*> / ? <←*залечь*>, *одевание* <←*одевать(ся)*> / ? <←*одеть(ся)*>, *проветривание* <←*проветривать*> / ? <←*проветрить*>, *отставание* <←*отставать*> / ? <←*отстать*>.

В других случаях существительные, производные от образованных способом суффиксации глаголов НСВ, имеют соотносительные по форме существительные, образованные от парных глаголов СВ (*рассматривание* / *рассмотрение*; *преувеличивание* / *преувеличение*), однако с точки зрения аспектуального значения они не вступают в оппозиционное отношение, поскольку производные существительные от СВ совмещают в себе семантику и СВ, и НСВ, ср. *процесс рассмотрения* / *попытка рассмотрения* (= *рассмотреть*); *попытка преувеличения* (= *преувеличить*) / *склонность к преувеличению* (= *преувеличивать*).

В то же время в некоторых случаях существительные, образованные от суффиксальных глаголов НСВ, вступают с существительными, производными от СВ, в оппозиционные отношения по аспектуальной семантике.

Это может быть

семантическая оппозиция между процессным и результативным значениями:

- (32) Русские люди вписали последнюю страницу в трехсотлетней затяжной истории *открывания* Америки, в которой Колумб сделал первый и нечаянный шаг (today.babr.rut) vs. В своей книге «1421: год *открытия* Китаем Америки» Гэвин Менциес приводит аргументы, доказывающие факт присутствия китайцев в Новом Свете еще до прихода европейцев (utro.ru);

семантическая оппозиция между узуальным и единичным значениями:

- (33) У этого автомобиля есть несколько довольно интересных особенностей. Одна из них – это отсутствие ручек для *открывания* дверей снаружи – двери надо открывать изнутри (porsche.cardub.ru) vs. В городе Алушта (Крым) из-за несвоевременного *открытия* дверей микроавтобуса погиб человек (из газет);

семантическая оппозиция «состояние – возникновение состояния»:

- (34) Наиболее вероятно провести референдум по вопросу изменения нормы, которая ограничивает *занимание* президентом поста более двух сроков (dni.ru) vs. Однако результаты опросов показывали, что вероятность *занятия* ею этого поста невелика (gazeta.ru).

Существительные, производные от образованных с помощью префиксации глаголов СВ, могут сохранять в контексте видовое значение мотивирующих глаголов СВ. В этом случае они вступают в оппозиционное отношение по аспектуальной семантике с существительными, производными от соответствующих глаголов НСВ, и поэтому не могут быть заменены последними:

- (35) Продолжим обсуждение социалистического рынка, если вам и по *прочтении* этого ответа будет что-то не понятно (subscribe.ru) = ...*после того как вы прочитаете этот ответ...*, **по чтении*;
- (36) В результате *постройки* оросительных систем, связанных с этим каналом, удалось значительно повысить сбор хлопка-сырца (eurasia.ru) = *в результате того, что построили оросительные системы*, **в результате стройки*;
- (37) И хотя в 1999 году была предпринята попытка *посева* трав на тридцати гектарах, ситуацию это не спасло (newsweek.krd.ru) = *попытались посеять травы...*, **попытка сева*.

В то же время существительные, производные от образованных с помощью префиксации глаголов СВ, можно употреблять и в конситуациях продолжительного действия.

В этих случаях они вступают не в оппозиционные, а в синонимические аспектуальные отношения с существительными, производными от соответствующих глаголов НСВ:

(38) Я бы тоже мог покритиковать, но, к сожалению, во время *прочтения* (= во время *чтения*) оно меня не впечатлило (lame.ru);

(39) Через пять лет вынуждены были остановить *постройку* (= остановить *стройку*, *строительство*) ... из-за осадки грунта (из газет);

(40) На кузбасских полях начался *посев* (= *сев*) озимых (mediakuzbass.ru).

Заметим, что в существующих грамматиках русского языка ситуация с такими существительными описывается весьма упрощенно и приблизительно. Так, в «Русской грамматике» относительно семантических отношений существительных, производных от СВ, образованных с помощью способов префиксации, с производными существительными от соответствующих глаголов НСВ, говорится следующее: «Нередки образования от соотносительных глаголов сов. и несов. вида: ...*печатание* / *напечатание*, *формирование* / *сформирование*, *комплектование* / *укомплектование*. Однако видовое значение мотивирующего глагола, как правило, не отражается на семантике существительного. Поэтому возможно употребление таких слов в тождественных контекстах: ...*завершено формирование правительства* и *завершено сформирование правительства*» [Грамматика 1980: 159–160]. Такое безразличное употребление возможно, но далеко не во все контекстах. Так, замена существительного от СВ на существительное от НСВ возможна в примерах (38)–(40) и невозможна в примерах (32)–(37). Поэтому более точной будет следующая формулировка: существительные, производные от глаголов НСВ, во многих случаях имеют аспектуальное значение только НСВ (*комплектование*, *открывание*, *подавание*, *формирование* и т.д.), тогда как существительные, образованные от СВ (*выяснение*, *повышение*, *прочтение*, *постройка*, *сформирование*, *укомплектование* и т.п.), обычно являются двувидовыми, совмещают в себе аспектуальное значение сов. и несов. вида. Что касается толковых словарей, то в них такие глаголы, как *израсходование*, *напечатание*, *посев*, *построение*, *постройка*, *прочтение*, *сформирование*, *укомплектование*, *урегулирование* и т.д., в большинстве случаев рассматриваются как соотносительные с мотивирующими глаголами СВ, вследствие чего теряется аспектуальный компонент их семантики, соответствующий глаголам НСВ.

6. ВЫВОДЫ

В структуре значения имен существительных, включающих в том или ином виде представление о процессуальном признаке, важное место занимают аспектуальные компоненты. Аспектуальные компоненты имен существительных играют важную роль в проявлении функционально-семантической категории (поля) аспектуальности, и их необходимо учитывать при изучении этой категории.

Аспектуальные компоненты значения имен существительных относятся к разным уровням и сторонам функционально-семантической категории аспектуальности. Необходимо, как минимум, различать выражаемую именами существительными лексическую и «грамматическую» (= та, которая была грамматической в глаголах) аспектуальность (при этом эти виды аспектуальности взаимодействуют между собой), а также аспектуальность, находящую формальное выражение, и чисто семантические аспектуальные различия.

Аспектуальные компоненты значения имен существительных обычно отражаются в их словарных толкованиях. Для конкретно-предметных существительных аспектуальные компоненты значения обычно проявляются в лексическом и видовом значении предикатного глагола текста словарного толкования. В толкованиях отглагольных существительных эта связь прослеживается в толкованиях посредством отсылки к глаголу того или иного грамматического вида.

Существующие толковые словари русского языка не отличаются последовательностью и единообразием отражения соотносительности существительных с граммами категории вида глаголов. Кроме того, эти толкования часто не соответствуют реалиям

языкового употребления и не отражают активно происходящих в последние годы языковых изменений. Следует также принять решение (и последовательно его придерживаться), что преимущественно должно указываться в толкованиях соотносительных с глаголами отглагольных существительных: их словообразовательная производность или семантическая соотнесенность с глаголом / глаголами того или иного вида. Как представляется, именно семантическая соотнесенность должна прежде всего отражаться в толковых словарях, поскольку это толковые, а не словообразовательные словари. Это позволит более адекватно представить значение и функционирование таких существительных, что особенно важно, в числе прочего, и для изучения русского языка как иностранного.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Арутюнова 1980 – *Н.Д. Арутюнова*. К проблеме функциональных типов лексического значения // *Аспекты семантических исследований*. М., 1980.
- Бондарко 1971 – *А.В. Бондарко*. Вид и время русского глагола. М., 1971.
- Виноградов 1947 – *В.В. Виноградов*. Русский язык (Грамматическое учение о слове). М., 1947.
- Гловинская 1982 – *М.Я. Гловинская*. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.
- Гловинская 2001 – *М.Я. Гловинская*. Многозначность и синонимия в видо-временной системе русского глагола. М., 2001.
- Грамматика 1980 – *Русская грамматика*. Т. 1–2. М., 1980.
- Жолковский, Мельчук 1969 – *А.К. Жолковский, И.А. Мельчук*. К построению действующей модели языка «Смысл \Leftrightarrow Текст» // *Машинный перевод и прикладная лингвистика*. М., 1969.
- МАС – *Словарь русского языка*: В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд. М., 1981–1984.
- Мельчук 1974 – *И.А. Мельчук*. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл \Leftrightarrow Текст». М., 1974.
- Падучева 1985 – *Е.В. Падучева*. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985.
- Падучева 1996 – *Е.В. Падучева*. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.
- Падучева 1999 – *Е.В. Падучева*. О роли метонимии в концептуальных структурах // *Труды международного семинара Диалог'99 по компьютерной лингвистике и ее приложениям*. М., 1999.
- Пешковский 1935 – *А.М. Пешковский*. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1935.
- Плунгян, Рахилина 1998 – *В.А. Плунгян, Е.В. Рахилина*. Парадоксы валентностей // *Семиотика и информатика*. Вып. 36. М., 1998.
- СОШ 1997 – *С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова*. Толковый словарь русского языка. М., 1997.
- ТСРЯ 1998 – *Толковый словарь русского языка конца XX в.* СПб., 1998.
- Ушаков 1935 – *Толковый словарь русского языка* / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1935–1940.
- Чжан Цзяхуа 1986 – *Чжан Цзяхуа*. Об одной трудности употребления видов русских глаголов // *Русский язык за рубежом*. 1986. № 5.
- Vendler 1967 – *Z. Vendler*. *Linguistics in philosophy*. Ithaca; New York, 1967.

© 2007 г. Е.В. ПРОЗОРОВА

РОССИЙСКИЙ ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК КАК ПРЕДМЕТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ*

В статье рассматриваются проблемы лингвистического описания жестовых языков глухих. Несмотря на то, что жестовые языки задействуют не звуковой, а визуально-кинестический канал передачи информации, по своим фундаментальным свойствам они схожи со звучащими языками, что позволяет причислять их к естественным человеческим языкам и анализировать, используя методы и понятия, разработанные на материале звучащих языков. В центре внимания данной статьи – российский жестовый язык. Несмотря на значительное число носителей (в России языком жестов пользуются около 2-х млн. глухих), этот язык малоизучен, слабо документирован. Вместе с тем подробное описание языка глухих крайне важно именно для лингвистов: исследования жестовых языков вносят значительный вклад в развитие лингвистической теории и лингвистической типологии.

1. ВВЕДЕНИЕ

Нам привычно, что в основе естественного человеческого языка лежит звучащее слово. Однако существуют такие языки, план выражения которых строится исключительно на жестикуляторно-мимической основе, при этом по функциям и коммуникативным возможностям они не уступают звучащим языкам. Это жестовые языки глухих.

Различия между жестовыми и звучащими языками определяет канал, по которому происходит передача информации от говорящего к слушающему. В жестовых языках информация кодируется движениями рук, тела, лица, глаз и воспринимается зрительно, что определяет их фундаментальные свойства:

1) ведущую роль в системе жестового языка играет пространство вокруг говорящего. Если при речевом общении пространство задействовано, в основном, в сфере дейксиса, то в жестовых языках оно используется на всех уровнях языковой структуры: от пространственной организации отдельного жеста до пространственной организации жестового дискурса – различения референтов путем расположения их в разных точках пространства;

2) элементы жеста выполняются и воспринимаются одновременно, в то время как звуки слова последовательно достигают нашего уха. Поэтому в жесте одновременно можно кодировать больше информации по сравнению со словом устной речи [Crasborn et al. 2000].

До сих пор среди людей, незнакомых с жестовыми языками, распространено ошибочное мнение о том, что существует универсальный жестовый язык, единый для глухих людей всего мира. Напротив, согласно энциклопедии [Gordon (ed.) 2005], в мире зафиксирован по меньшей мере 121 жестовый язык глухих. Неслышащие люди, говорящие на разных жестовых языках, не понимают друг друга. Глухие могут выучивать и забывать неродные жестовые языки точно так же, как слышащие люди учат и забывают иностранные языки.

* Данное исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 05-04-04240.

Однако «универсальные» жестовые языки действительно существуют: в начале 50-х гг. комиссией Всемирной федерации глухих был разработан так называемый жестуно (Gestuno), или международный жестовый язык (International sign language). Этот язык был призван облегчить общение глухих участников международных конференций, семинаров, спортивных соревнований [Комарова 1997]. В последние годы в Европе рост взаимодействия между сообществами глухих разных стран привел к возникновению панъевропейского пиджинизированного жестового языка. Хотя он и не был создан искусственно, но как и жестуно, не является родным языком какой-либо группы глухих.

Долгое время жестовые языки считались примитивными системами общения, непригодными для выражения сложных идей. Расширяющаяся область применения жестовых языков в отдельных странах доказывает, что это не так. Национальные жестовые языки используются в системах среднего, а иногда и высшего образования, на телевидении, являются рабочими языками конференций, посвященных проблемам жестовой коммуникации. В нашей стране жестовый язык глухих (русский или русский жестовый язык, далее РЖЯ¹) пока остается лишь языком межличностного общения.

Национальные жестовые языки не зависят от соответствующих звучащих языков и обладают собственной структурой и собственной историей.

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЖЕСТОВЫХ ЯЗЫКОВ

Национальные жестовые языки в странах Европы и Америки начали складываться в конце XVIII в. До этого глухие жили достаточно изолированно друг от друга, обучались индивидуально, и в процессе их общения с окружающими в каждом случае вырабатывалась своя система жестов. Условия, необходимые для «формирования развитой системы общения» [Зайцева 2000: 88], появляются с возникновением специальных учебно-воспитательных заведений.

Первая школа для глухих детей под руководством аббата де л'Эпе открылась в Париже в 1760 г. Основной задачей сурдопедагогов было научить глухих писать и читать по-французски. В процессе обучения активно использовался так называемый старофранцузский жестовый язык (Old French sign language) – язык, который развился внутри небольшого сообщества глухих в Париже [Wilcox, Wilcox (in press)]. Язык был в учебных целях дополнен «методическими» жестами, обозначающими части речи, род и другую грамматическую информацию. Также применялось дактилирование – побуквенная передача текста, при которой каждая буква изображается определенной комбинацией пальцев руки. Такой подход к обучению глухих получил название «мимического метода» [Зайцева 2000: 88].

Французская методика обучения глухих и даже сам язык были заимствованы в Россию (первое училище для глухонемых открылось в 1806 г. в Павловске) и в США (первая школа появилась в 1817 г. в Хартфорде, штат Коннектикут). Так РЖЯ оказался родственным французскому жестовому языку и американскому жестовому языку (American sign language, далее ASL).

¹ Для обозначения языка жестов, которым пользуются глухие в России, пока нет устоявшегося термина. Оба варианта (и «русский», и «российский») недостаточно точны: та же знаковая система используется как другими народностями, проживающими в РФ, так и в ряде стран бывшего Советского Союза. То, как данные термины используют сами глухие, хорошо отражено в сборнике материалов к международной конференции переводчиков жестового языка, проходившей в Москве. Разными авторами язык называется «российским жестовым языком», «русским жестовым языком», а также «российским/русским жестовым языком» [Чаушьян 2005]. Р.М. Фрумкина для обозначения языка глухих предлагала термин «разговорная жестовая речь» (также РЖЯ) [Фрумкина 2001], но данный термин неудачен тем, что не позволяет различать национальные жестовые языки.

Чуть позже, чем в Париже, открылась школа для глухих детей в Лейпциге, созданная С. Гейнике. Гейнике и его последователи видели свою цель в обучении глухих детей устной речи, произношению. По методу Гейнике, названному впоследствии «чистым устным методом», жестовый язык исключался из средств общения между сурдопедагогом и учениками. На Миланской конференции 1880 г. по проблемам обучения глухих «устный метод» был признан более эффективным, чем «мимический» и вскоре стал применяться в школах Европы, Америки и России.

Распространение «устного метода» привело к дискриминации жестовых языков, запрету на их использование в процессе обучения, в официальной обстановке. Национальные жестовые языки стали языками неофициального, бытового общения глухих. В официальной обстановке глухие должны были говорить на соответствующем звучащем языке. Но в силу того, что глухие обычно произносят слова без голоса, они сопровождали свою речь жестами. При этом жесты использовались лишь как форма выражения соответствующего звучащего языка: порядок слов во фразе сохранялся, предлоги, союзы, артикли, окончания добавлялись с помощью дактилирования, дактилировались также слова, для которых не существовало соответствующего по смыслу жеста. Г.Л. Зайцева предложила назвать эту систему общения «калькирующей жестовой речью» (сокращенно КЖР) [Зайцева 2000], в западной литературе для обозначения подобной жестовой формы звучащего языка перед названием языка употребляется термин «signed» (например, «signed English» – жестовая форма английского). Здесь следует говорить даже не о единой системе перекодировки звучащего языка, а о различных – более или менее точных – вариантах передачи его письменной разновидности. Точность передачи зависит от целого ряда социолингвистических факторов: степени владения говорящих жестовым и звучащим языком, официальности обстановки, знакомства говорящих и т.д. [Lucas, Valli 1989].

Жестовые формы звучащих языков следует отличать от естественных жестовых языков, представляющих первостепенный интерес для лингвиста.

3. ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕСТОВЫХ ЯЗЫКОВ В РОССИИ И В МИРЕ

Направление лингвистики, занимающееся изучением жестовых языков глухих, появилось сравнительно недавно – в середине прошлого века. Начало положила работа У. Стокоу [Stokoe 1960], в которой впервые на материале ASL жестовый язык был описан как система, а жесты – как части этой системы. Стокоу показал, что жестовые языки являются естественными человеческими языками, первым указал на фундаментальное сходство звучащих и жестовых языков, несмотря на различие в канале передачи информации.

Если сначала идеи Стокоу воспринимались с недоверием, то сейчас мировое лингвистическое сообщество очень серьезно занимается изучением жестовых языков глухих. Во многих крупных европейских и американских университетах созданы соответствующие кафедры и центры. Библиография работ, посвященных различным аспектам структуры и функционирования жестовых языков, насчитывает 36 тыс. названий [Joachim, Prillwitz, Handke 2006]. Специальная секция по проблемам изучения жестовых языков работала на IX Международной конференции по когнитивной лингвистике (Сеул, 17–22 июля 2005 г.). В декабре 2006 г. состоялась девятая по счету международная конференция, полностью посвященная теоретическим вопросам изучения жестовых языков (International Conference on theoretical issues in sign language research).

В нашей стране РЖЯ до сих пор не получал должного внимания со стороны лингвистов. Первые основополагающие исследования лингвистических, психолингвистических и психо-педагогических особенностей языка глухих в России провела Г.Л. Зайцева, ей же принадлежит и термин «жестовый язык» [Зайцева 1987; 2000].

Результаты многолетней работы Г.Л. Зайцевой излагаются в книге «Жестовая речь. Дактилология» [Зайцева 2000]. Эта книга содержит на сегодняшний день единственное изданное в нашей стране грамматическое описание РЖЯ, притом в большей степени об-

зорное и упорядоченное. Немногим лучше дело обстоит со словарями РЖЯ. Наиболее полным описанием лексики РЖЯ остается 4-х томный словарь «Специфические средства общения глухих» [Гейльман 1975–1979], составленный по принципу «от русского слова – к жесту». Следует упомянуть также тематический словарь «Говорящие руки» [Фрадкина 2001]. В 2006 г. был создан мультимедийный «Словарь лексики русского жестового языка». При этом не существует такого словаря РЖЯ, который позволял бы по форме жеста находить его значение, а в мире создание подобных словарей жестовых языков – обычная практика (см. раздел 16).

Исследования жестовых языков, в частности РЖЯ, важны для развития лингвистической теории и типологии. РЖЯ, являясь жестовым языком, непохожим по своей структуре на звучащие языки, может использоваться для проверки универсальности лингвистических теорий, разработанных на материале звучащих языков. Наконец, РЖЯ является членом семьи жестовых языков глухих и его анализ может быть использован в типологических исследованиях жестовых языков. В 1992 г. в одном из ведущих журналов, посвященных описанию различных жестовых языков, «Sign language studies», был опубликован обзорный очерк грамматики РЖЯ [Grenoble 1992]². При Институте психолингвистики им. Макса Планка (г. Неймеген, Нидерланды) была сформирована группа по изучению типологии жестовых языков (Sign language typology research group). Один из исследователей, входящих в состав группы, В. Швагер, специализируется непосредственно на изучении морфологии РЖЯ. В состав корпуса видеотекстов различных жестовых языков, разработанного неймегенской группой, входят несколько текстов на РЖЯ [The sign language corpus].

Данные, получаемые в ходе типологических исследований, показывают, что различия между системами жестовых языков проявляются не в базовых принципах организации, а в более частных грамматических явлениях. На фоне разнообразия типов звучащих языков жестовые языки выглядят чрезвычайно похоже. Далее в статье будут рассмотрены некоторые основные свойства, характерные для всех жестовых языков, изученных к настоящему времени; объяснены понятия, разработанные для адекватного описания жестовых языков. Будет показано, что, несмотря на специфический – визуально-кинестический – канал передачи информации, основные принципы строения и функционирования жестовых и звучащих языков совпадают и что анализ жестовых языков возможен в терминах и с помощью методов, разработанных на материале звучащих языков.

4. ЖЕСТ

Жест является интуитивно выделяемой единицей жестовой речи. Следует заметить, что в западной лингвистике понятия *жест* как единица жестовой речи и *жест* как элемент жестикуляции терминологически разграничены как *sign* и *gesture* соответственно (например [McNeil 1992]).

Жест в жестовых языках является аналогом слова в звучащих языках. Отдельные критерии определения границ фонологического и грамматического слова в звучащих языках могут быть успешно применены для определения границ жеста, например, в случае составных жестов (*compounds*) или добавления к жесту местоименной клитики (указательного жеста, который производится одной рукой одновременно с тем, как другая рука выполняет полнозначный жест) [Zeshan 2002]. Это доказывает, что на уровне слова есть много общего между звучащими и жестовыми языками.

С другой стороны, жест обладает уникальными свойствами, для описания которых неприменимы методы, разработанные на основе изучения звучащих языков. Например, лишним оказывается критерий фиксированного порядка грамматических элементов

² Автор очерка, Л. Гренобль, проводила полевое исследование РЖЯ в Москве и Санкт-Петербурге в 1988 г., тесно сотрудничала с Г.Л. Зайцевой.

для определения грамматического слова: грамматические элементы в жесте производятся не последовательно, а одновременно (см. раздел 11). Далее, в силу того, что у говорящего на жестовом языке есть в распоряжении не один речевой тракт, а две руки, он, в принципе, может производить два слова одновременно. Данный процесс подчиняется специфическим ограничениям, так как одновременное выполнение двух полноценных слов в жестовом языке требовало бы высокой концентрации и координации движений у говорящего и больших затрат на понимание у адресата. Однако, хотя количество типов жестовых конструкций, включающих параллельное выполнение двух разных жестов, невелико, подобные конструкции распространены в жестовых языках, и для них критерии определения слова, выработанные на материале звучащих языков и основанные на линейной последовательности элементов, оказываются недостаточными.

5. ПАРАМЕТРЫ ЖЕСТА

Изучение грамматики жестовых языков началось с попытки американского лингвиста У. Стокоу [Stokoe 1960] описать фонологическую систему ASL, т.е. поделить жест на составные элементы и описать инвентарь их значений, релевантных для ASL, используя метод минимальных пар.

Стокоу выделил три параметра, которые посчитал необходимыми для описания структуры жеста и различения жестов между собой:

1) место выполнения жеста по отношению к телу говорящего (табула, или таб, в терминологии Стокоу). Внутри данного параметра можно выделить три группы значений: жест может выполняться а) в нейтральном жестовом пространстве (см. раздел 8); б) на уровне какой-либо части тела, но при этом рука, выполняющая жест, не касается тела; в) в контакте с какой-либо частью тела (рука, выполняющая жест, касается тела говорящего);

2) форма кисти руки, выполняющей жест (десигнатор (designator), или дез (dez));

3) траектория движения руки (сигнация (signation), или сиг (sig))³. При этом учитывается как перемещение руки из одной точки пространства в другую, так и «мелкие» движения пальцев или кисти руки, в то время как положение руки в пространстве остается неизменным.

Впоследствии был введен четвертый параметр структуры жеста – ориентация рук в пространстве относительно друг друга и корпуса говорящего (подробно он был описан в работе [Battison 1978]). Этот параметр фиксируется системой нотации, разработанной Стокоу, но не был указан исследователем эксплицитно наравне с тремя другими.

Выделенные параметры – составные части физической структуры жеста – Стокоу назвал хиремами (cheremes)⁴, сейчас их принято называть фонемами, хотя функционально они ближе к морфемам – минимально значимым единицам звучащих языков.

6. ЖЕСТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

Жестовым пространством (signing space – термин, предложенный У. Беллуджи [Bellugi 1972]) называется область, в пределах которой говорящий обычно выполняет жесты. Это пространство перед говорящим, его верхняя граница проходит чуть выше головы, а нижняя – чуть ниже талии. Нейтральное (жестовое) пространство (zero, neutral space [Stokoe et al. 1976]) определяется как пространство перед говорящим, в котором жест выполняется без контакта руки с телом (исключая контакт кистей рук между собой).

³ Терминология, разработанная Стокоу для описания параметров жестов, не прижилась в современной лингвистике.

⁴ Так же переводилось как «керемы» [Беликов 1983].

Жесты, выполняющиеся одной рукой, называют **о д н о р у ч н ы м и**, жесты, выполняющиеся двумя руками – **д в у р у ч н ы м и**. Двуручные жесты являются симметричными, если форма обеих рук совпадает и руки движутся одинаково, либо зеркально повторяют движение друг друга. В несимметричных двуручных жестах одна рука, как правило, остается неподвижной или малоподвижной – ее называют **п а с с и в н о й**, в то время как другая рука выполняет сложное движение и является **а к т и в н о й** – в основном, форма и движение этой руки определяют значение жеста [Battison 1978]. Активной рукой у правой является правая, у левой – левая. В особых обстоятельствах говорящий может «поменять руки», сделав активной ту, что была пассивной, например, если так ему удобнее будет описывать расположение объектов и их взаимодействие в реальной ситуации (свидетелем которой он был или является).

8. ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКИ ЖЕСТОВЫХ ЯЗЫКОВ

Фундаментальную роль в формировании лексики жестовых языков играет иконичность (сходство между физическими характеристиками объектов реального мира и физическими характеристиками руки (форма, траектория движения и пр.), которая выполняет жест, обозначающий данные объекты). В РЖЯ Г.Л. Зайцева выделяет следующие типы иконических жестов [Зайцева 2000: 42]:

а) «рисующие» жесты: жест обрисовывает контур обозначаемого предмета (например, **ШЛЯПА**⁵: две руки, двигаясь параллельно от центра лба к вискам, «обрисовывают» поля шляпы);

б) «пластические» жесты: жест дает пластическое изображение денотата (например, **СТУЛ**: жест выполняется одной рукой, указательный палец и мизинец выпрямлены вверх, большой, средний и безымянный пальцы сложены вместе и расположены под прямым углом к ладони. Такая конфигурация руки иконически изображает спинку и сиденье стула);

в) жесты, имитирующие действия (например, **ЛЕЗТЬ**: руки попеременно двигаются вверх-вниз, пальцы разжимаются и сжимаются, как будто человек хватается за перекладины лестницы или ветки дерева).

Диахронические исследования жестовых языков (например [Frishberg 1975; Bellugi, Klima 1976]) показали, что со временем под влиянием различных лингвистических и социолингвистических процессов жесты могут терять иконичность, становиться более абстрактными. Несмотря на это, иконичность играет существенную роль в образовании жестов, что представляет серьезную проблему для разных областей лингвистической теории. Например, как замечено в работе [Crasborn et al. 2000], это ставит под сомнение возможность составления фонологического инвентаря жестового языка, подобного тому, какой может быть составлен для звучащих языков. По мнению исследователей, фонология должна опираться на ограниченное число элементов и правил их сочетания, иметь в своей основе как бы цифровой код. В то же время иконичность представляет собой недискретную форму отображения действительности (один жест передает целое понятие), что соответствует аналоговому коду.

Жестовая речь разворачивается в пространстве, поэтому естественно, что для описания физических объектов и событий используются их пространственные характеристики, а абстрактные сущности часто выражаются через метафорическое или метонимическое сходство с физическими сущностями. Например, смыслы, для выражения которых в русском используются собирательные существительные, в РЖЯ выражаются не-

⁵ Согласно общепринятой в литературе по жестовым языкам форме записи, жесты представляются наиболее близкими по значению словами того языка, на котором написана работа. Слова записываются прописными буквами. Подробнее о системах нотации жестовых языков см. раздел 16.

сколькими жестами с конкретным значением: 'мебель' – СТОЛ СТУЛ КРОВАТЬ РАЗ-
НЫЙ; 'овощи' – КАРТОФЕЛЬ КАПУСТА ОГУРЕЦ РАЗНЫЙ [Зайцева 2000: 44].

В РЖЯ, как и в других жестовых языках, нет специальных жестов для обозначения того, что всегда присутствует при разговоре, например, частей тела человека. При необходимости говорящий просто указывает на соответствующую часть тела рукой.

9. КЛАССЫ СЛОВ В ЖЕСТОВЫХ ЯЗЫКАХ

Проблема выделения классов слов практически не поднималась в исследованиях по жестовым языкам. Исключением является работа [Suppala, Newport 1978], в которой была сделана попытка формального разделения имен и глаголов ASL. Исследователи взяли 100 пар жестов (глагол – образованное от него имя, типа SIT 'сидеть' – CHAIR 'стул') и показали, что между глаголом и именем существует незначительное различие в характере движения руки: при выполнении имени движение глагольного жеста дважды кратко повторяется [Anderson 1982]. Как отмечает Л. Андерсон, различие в движении именных и глагольных жестов может отражать не что иное, как аспектуальное различие: «ведь стул – это нечто, на что люди садятся раз за разом, а не просто камень, на котором кто-то посидел однажды» [Anderson 1982: 107].

В большинстве же случаев вопрос о выделении классов слов решался в ходе описания какого-либо отдельного жестового языка.

В одном из наиболее полных грамматических описаний ASL [Valli, Lucas 1995] лексические классы выделяются на основании трех критериев: семантического, синтаксического (позиции во фразе) и морфологического (способность жеста претерпевать определенные модификации для выражения грамматических категорий). Выделенные в результате классы могут пересекаться (например, в классе предикатов существует подкласс именных предикатов – жестов-имен, употребляющихся в предложении, чтобы сообщить какую-либо информацию об имени). В класс предикатов попадают и глаголы, но не дается определения, что подразумевается под глаголом в ASL. На основании примеров, приведенных в книге, можно сделать вывод, что глаголом ASL считается жест, ближайший смысловой эквивалент которого в английском языке также является глаголом.

Наиболее последовательно классы слов выделяются в полевом исследовании ирано-пакистанского жестового языка, проведенного У. Зешан [Zeshan 2003]. Зешан, опираясь на морфологические изменения, которые может претерпевать исходная форма жеста, выделяет три открытых лексических класса: 1) неизменяемые жесты; 2) жесты, меняющие место выполнения; 3) жесты, траектория движения которых представляет направленное движение между двумя точками пространства. В первые два класса попадают «мультифункциональные» лексемы, их разбиение на классы не коррелирует с их синтаксическими функциями или семантическими характеристиками. Для элементов третьего класса характерны глагольные свойства. Помимо трех открытых классов Зешан выделяет закрытые классы, в состав которых входят, например, мимические жесты (nonmanual signs) и указательные жесты (indexical signs).

Приведенные выше классификации не дают ответа на вопрос о том, существуют ли в жестовых языках лексические категории, хотя бы категории имени и глагола. Попытка формального разделения имен и глаголов в ASL [Suppala, Newport 1978] также не может свидетельствовать о существовании таких категорий в ASL, поскольку охватывает слишком узкий класс жестов. В личной беседе с автором данной работы Г.Л. Зайцева заметила, что на материале РЖЯ наблюдения Саппалы и Ньюпорта не подтверждаются. В традиции исследования РЖЯ вообще не принято разделять жесты на части речи. Зайцева [Зайцева 2000] аргументирует это наличием в РЖЯ жестов, которые в зависимости от контекста могут обозначать либо действие, либо субъект действия, либо инструмент и т.п. Например, ЧИТАТЬ / КНИГА; ЕХАТЬ-НА-ВЕЛОСИПЕДЕ / ВЕЛОСИПЕД / ВЕЛОСИПЕДИСТ.

Имя и глагол представляют собой универсальные категории естественного человеческого языка [Hockett 1963; Hopper, Thompson 1984; Croft 1991]. С синтаксической точки зрения их универсальность является следствием универсальности предикатно-аргументной структуры. Во всех языках существуют конструкции, включающие предикат и один или несколько аргументов. Функцию предиката выполняет глагол, а имена выражают участников ситуации, обозначенной предикатом.

С когнитивной точки зрения имена и глаголы обозначают различные по своей природе явления. По Т. Гивону [Givón 1979], имена используются в языке для выражения того, что остается относительно неизменным во времени. Прототипические имена обозначают конкретные, физические, компактные сущности, сделанные из твердых, прочных материалов. Глаголы же выражают быстрые изменения в состоянии мира. Прототипические глаголы обозначают события или действия.

Р. Лангакер [Langacker 1991] объясняет существование категорий имени и глагола с помощью когнитивной модели, названной им моделью «бильярдного шара» (billiard-ball model). Согласно данной модели, мы рассматриваем мир, как заполненный физическими объектами, способными перемещаться в пространстве и осуществлять контакт друг с другом. При этом объекты концептуализируются независимо от их взаимодействий. С другой стороны, взаимодействия не являются полностью независимыми от участников взаимодействий. Грамматическое имя обозначает то, что может концептуализироваться как физический объект, а глагол – взаимодействия или отношения между ними.

С функциональной точки зрения в РЖЯ существуют категории имени и глагола. Помимо жестов, которые могут функционировать и как имена, и как глаголы (ЕХАТЬ-НА-ВЕЛОСИПЕДЕ / ВЕЛОСИПЕД / ВЕЛОСИПЕДИСТ), в состав лексики РЖЯ входят жесты, которые обозначают только неизменяемые во времени сущности, объекты являющиеся участниками какого-либо действия, и, таким образом, являются именами (например, МАЛЬЧИК, ДЕВОЧКА); а также жесты, которые всегда используются для выражения ситуации, изменяющейся во времени, и представляют собой глаголы (ИДТИ, ЛЕЗТЬ).

При этом употребление терминов имя и глагол по отношению к жестам РЖЯ проблематично в силу того, что подобные термины предполагают сходство грамматического оформления всех членов категории. Вопрос о том, можно ли выделить в РЖЯ единообразно оформленные лексические классы, остается открытым и требует глубокого рассмотрения. А до тех пор при необходимости отнесения жеста к какому-либо классу можно исходить из его функции и употреблять термины «субстантивный жест» и «предикатный жест» по отношению к жестам, использующимся соответственно для обозначения какого-либо объекта и ситуации, изменяющейся во времени.

11. МОРФОЛОГИЯ ЖЕСТОВЫХ ЯЗЫКОВ. АФФИКСЫ

Грамматические элементы жеста не выстраиваются в линейную последовательность, а выполняются одновременно. Словоизменительные процессы в жестовых языках носят характер модификации формы жеста. Распространенным примером является возможность изменять характер движения в предикатном жесте, чтобы передать различные аспектуальные и совершаемые значения. В отдельных жестах направление движения руки может кодировать субъект и/или объект действия. В РЖЯ существует ограниченный класс жестов с именным (и, как правило, временным) значением ('минута', 'год'), которые способны инкорпорировать обозначение числа (до пяти) (соответственным образом меняется форма руки, а место выполнения жеста и траектория движения руки не меняются).

«Одновременным» морфологическим деривациям, характерным для жестовых языков, можно найти параллели в звучащих языках. В их числе У. Зешан [Zeshan 2002] отмечает внутреннюю флексию в арабском (*kataba* 'он писал', *kitāb* 'книга', *kātib* 'писатель'), аблаут «неправильных» глаголов в английском (*sing – sang – sung*: 'петь – пел – спетый').

Изменение формы (как правило, характера и/или направления движения) жеста с предикативным значением в литературе по жестовым языкам нередко называют аффиксацией (например [Padden 1990]), а конкретные типы изменения характера движения жеста, начальной и конечной точки движения – аффиксами.

Аффиксы могут быть аспектуальными (когда движение руки меняется в зависимости от аспекта: одиночное короткое движение выражает перфективный аспект; медленное, долгое движение – дуративный; многократное повторение жеста – хабитуальный) [Klima, Bellugi 1979]. Говоря о «согласовательных» аффиксах, имеют в виду, что при выполнении предикатного жеста рука движется между двух точек пространства, зафиксированных за определенными участниками действия (или от одного участника к другому, если они присутствуют в момент выполнения жеста). При этом направление движения руки указывает на семантические роли участников (рука движется от Источника к Цели), и, согласно точке зрения отдельных исследователей (например [Padden 1990]), также на их лицо (у жеста, направленного от говорящего к адресату, субъект 1-го лица, объект – 2-го). При присоединении локативных аффиксов траектория движения руки при выполнении жеста отражает перемещение и расположение объектов в реальном мире.

По отношению к жесту, форма которого не выражает никаких грамматических категорий, употребляется термин исходная форма (*citation form*). Исходная форма предикатного жеста лишена указаний на участников действия и выполняется в нейтральном жестовом пространстве.

12. ТИПЫ ПРЕДИКАТНЫХ ЖЕСТОВ

В работе [Padden 1983] предикатные жесты ASL впервые были разделены на три класса по их способности менять направление движения в зависимости от того, как расположены участники действия (в реальной или воображаемой ситуации):

1) **согласующиеся** (*agreeing verbs*): при выполнении жеста рука движется между двумя позициями в пределах жестовой области, которые ранее были зафиксированы как позиции некоторых референтов (подробнее о референции в ЖЯ см. раздел 15), кодируя, тем самым, аргументы глагола и отношение между ними. Как правило, начальная точка движения жеста соответствует субъекту действия или Источнику, конечная – объекту или Цели соответственно. В последнее время среди исследователей жестовых языков ведется дискуссия по поводу уместности термина «согласующиеся». Отмечается, что форма предикатного жеста в большинстве случаев не отображает ни лицо, ни число, ни род участников действия, то есть, здесь нет согласования в привычном лингвистическом смысле [Emmorey 2002];

2) **пространственные** (*spatial verbs*): при выполнении жеста движение руки повторяет траекторию движения объекта; начальная и конечная точки движения указывают на местоположение объекта (объектов) в реальном мире;

3) **неизменяющиеся** (*plain verbs*): направление жеста не меняется.

Согласующиеся и пространственные предикатные жесты, их свойства, сходства и различия между ними, вытекающие из фундаментальных свойств жестовых языков (использование пространства вокруг говорящего для кодирования грамматических отношений; визуального канала для передачи информации), до сих пор остаются одной из центральных проблем описания жестовых языков.

Исследования основного свойства этих классов глаголов, а именно направленности (*directionality*), в датском жестовом языке (Danish sign language, далее DSL) [Engberg-Pedersen 1986] и в нидерландском жестовом языке (Sign language of Netherlands) [Bos 1989]

показали, что достаточно трудно согласующиеся и пространственные глаголы с точки зрения функции локуса (locus) [Engberg-Pedersen 1993] – области жестового пространства.

Лидделл [Liddell 1990], напротив, указал дополнительное различие между согласующимися (agreement verbs в его терминологии) и пространственными предикатными жестами. Жесты обоих классов сходны тем, что движутся в направлении локуса, но различаются в отношении того, должна ли рука в итоге оказаться в данном локусе. Если при выполнении пространственного предикатного жеста рука говорящего переместится из локуса X в локус Y, это будет означать, что некий объект переместился из X в Y. Если же рука, начав движение в точке X, остановится где-то между X и Y, это будет означать, что некий объект не достиг Y, остановился на полпути до Y и т.п. При выполнении же согласующегося предикатного жеста, важны не начальная и конечная точки движения руки, а общее направление движения. Если надо сказать 'X дает Y-y', достаточно просто выполнить жест ДАТЬ в направлении от X к Y, но совершенно необязательно начинать жест в локусе X и заканчивать в локусе Y.

13. КЛАССИФИКАТОРЫ В ЖЕСТОВЫХ И ЗВУЧАЩИХ ЯЗЫКАХ

В исследованиях жестовых языков классификатором (classifier) называется особая форма руки, которая иконически изображает некоторое отличительное свойство референта (как правило, форму и размер, иногда одушевленность). Одной и той же формой руки можно обозначить целый класс объектов со схожими внешними признаками. Например, классификатор КЛФ : ЧЕЛОВЕК⁶ (указательный и средний пальцы образуют перевернутую V), используется для обозначения одушевленного двуногого существа (как правило, человека), а классификатор КЛФ : ШАР (пальцы растопырены и слегка согнуты, как будто в руке находится мяч) – для обозначения объемного округлого предмета.

Термин «классификатор» указывает на сходство данного явления жестовых языков с классификаторами звучащих языков. Классификаторы звучащих языков довольно разнообразны; в них включаются среди прочих счетные слова или нумеративы (прежде всего, в австроазиатских и китайско-тибетских языках); классифицирующие глаголы (особенно распространенные в атабаскских языках); согласовательные классы (банту) [Aikhenvald, Green 1998]. При этом все типы классификаторов указывают некоторые особые свойства референта, его отнесенность к определенному классу. Классификаторы жестовых языков, хотя и отображают характерные свойства референта, но призваны скорее не «классифицировать», а вызывать образ референта с соответствующими свойствами в процессе дискурса. Эта идея отражена в термине маркер свойства (property marker) [Hoiting, Slobin 2002], который был предложен разработчиками транскрипционной системы Беркли (The Berkeley transcription system, далее BTS) в качестве альтернативы не вполне удачному, по мнению многих исследователей жестовых языков, термину «классификатор».

В большинстве жестовых языков (в их числе ASL, DSL, РЖЯ) классификаторы не представляют отдельного лексико-семантического класса и не входят в состав именной группы. Иначе обстоит дело с классификаторами в эстонском жестовом языке [Miljan 2000]. В нем существует особый разряд именных классификаторов, сопровождающих субстантивный жест. Они указывают на принадлежность объекта, названного субстантивным жестом, определенному классу, или описывают его характерное свойство:

ESCAPE	PARK	CL : AREA	(THERE	READY	HORSE	SLEIGH)
сбежать	парк	клф : область	(там	готов	лошадь	сани)

[*Девочка*] *убегает в парк, там ждут лошадь и сани*

⁶ Буквы КЛФ обозначают классификатор; далее через двоеточие указывается значение классификатора.

Гораздо более распространен другой тип классификаторов (он зафиксирован во всех описанных на сегодняшний день жестовых языках). Это классификаторы, которые употребляются в составе классификаторных предикатов (*classified predicates* [Frishberg 1975])⁷ – так называется особая категория жестовых конструкций для описания движения и расположения сущностей в пространстве.

Наглядным примером классификаторного предиката РЖЯ может служить жест КЛФ : ЧЕЛОВЕК–ПОДНИМАТЬСЯ–КЛФ : ДЕРЕВО⁸, который примерно переводится на русский язык как ‘человек лезет на дерево’. Данный жест выполняется двумя руками. Пассивная рука стоит на локте, ладонь повернута от говорящего, пальцы растопырены, слегка согнуты. Так в РЖЯ обозначается дерево. Активная рука находится в форме КЛФ : ЧЕЛОВЕК. Также в этом жесте можно выделить такой значимый элемент, как траектория движения объекта – активная рука движется снизу вверх вдоль пассивной руки. Таким образом, в данном жесте конфигурации рук представляют участников ситуации и их свойства, а движение рук – их перемещение и расположение относительно друг друга.

Талми выделил в ситуации движения пять категорий: фигуру, фон, движение, траекторию и характер движения [Talmy 1985]. Воспользовавшись его терминологией, можно сказать, что в классификаторных предикатах форма активной руки представляет фигуру, форма пассивной руки – фон, траектория движения руки и характер движения – траекторию и характер движения фигуры соответственно.

14. МЕСТО КЛАССИФИКАТОРНЫХ ПРЕДИКАТОВ В СИСТЕМЕ ЖЕСТОВЫХ ЯЗЫКОВ

В исследованиях жестовых языков давно продолжается дискуссия о том, являются ли классификаторные предикаты частью языковой системы. Клима и Беллуджи [Klima, Bellugi 1979] называли классификаторные предикаты «формализованной пантомимой». Публикации [Suppala 1986; McDonald 1982] показали, что классификаторные предикаты так же, как и жестовые «лексемы», возможно разделить на составляющие – место выполнения, траекторию движения, ориентацию и форму руки, а множество значений каждого из формальных параметров является закрытым и варьирует от языка к языку. Классификаторные предикаты складываются из этих дискретных единиц согласно языковым правилам.

Существует и другая трактовка классификаторных предикатов, согласно которой они являются визуальной репрезентацией и не входят в систему языка [Cogill-Koez 2000]. Когил-Козз приводит несколько аргументов в пользу этого, демонстрируя, что классификаторные предикаты не претерпевают диахронических изменений, дети овладевают ими медленно, а взрослые, начинающие изучать жестовый язык, усваивают принципы построения классификаторных предикатов практически моментально. Наконец, при повреждениях мозга классификаторные предикаты ведут себя иначе, чем остальные лексические единицы жестового языка: человек перестает правильно употреблять лексемы при травмах левого полушария, а употребление классификаторных предикатов нарушается при травмах правого полушария [Cogill-Koez 2000].

Согласно наиболее современной теории Лидделла, классификаторные предикаты [описательные глаголы (*depicting verbs*) в его терминологии] включают в себя как лексически устойчивые элементы, так и «дополнительные, несущие смысловое значение градиентные формальные характеристики» [Liddell 2003: 269]. Свое утверждение Лидделл доказывает, приводя примеры «дефектных парадигм» в ASL. Конфигу-

⁷ По отношению к данному классу жестов используются также термины полиморфемные глаголы (*polymorphemic verbs*) [Engberg-Pedersen 1993] или полисинтетические предикаты (*polysynthetic predicates*) [Wallin 1996].

⁸ При записи классификаторных предикатов будет использоваться следующий порядок: сначала указывается форма активной руки, далее движение руки, в конце форма пассивной руки (если она играет роль фона в данном классификаторном предикате).

рация руки с вытянутыми в разные стороны большим, указательным и средним пальцами может обозначать в ASL транспортное средство, машину (указательный и средний пальцы при этом чаще направлены горизонтально, по направлению движения машины). Существует жест, описывающий столкновение машины с чем-либо: указательный, средний и большой пальцы слегка сгибаются в фалангах, и рука «врезается» в другую руку, изображающую препятствие. Но, как пишет Лидделл, носители языка не хотят использовать тот же классификатор (руку не с выпрямленными, а с согнутыми пальцами) для изображения разбитой машины, стоящей где-нибудь на свалке. Этот и другие подобные примеры, по мнению автора, доказывают, что классификаторные предикаты не складываются целиком из ограниченного набора смысловых кирпичиков, но и не являются полностью визуальной репрезентацией.

15. РЕФЕРЕНЦИЯ В ЖЕСТОВЫХ ЯЗЫКАХ

Если в звучащих языках под референцией подразумевается обозначение референта с помощью какого-либо языкового средства, то в исследованиях жестовых языков понятие референции используется в более широком смысле: в него включается, помимо «называния» референта при помощи жеста, также и его локализация (указание, где находится данный референт). Если референт присутствует при разговоре и виден как говорящему, так и слушающему, то его местоположение очевидно. Желая указать на присутствующего референта, говорящий просто направляет жесты в его сторону.

Если референт не присутствует непосредственно в момент речи, то говорящий, вводя его в дискурс, закрепляет за ним определенный локус (область) в своем жестовом пространстве [Klima, Bellugi 1979; Liddell 1990]. Вот наиболее типичные способы установить локус:

1) говорящий может выполнить однозначный жест, обозначающий референта, в том месте, с которым ассоциирует данного референта;

2) говорящий может указать («направительным» жестом) на место, с которым ассоциирует данного референта, до или после того, как в нейтральном пространстве выполнит однозначный жест, называющий референта;

3) выполняя жест, называющий референта, говорящий взглядом указывает на место, с которым ассоциирует данного референта.

Далее в разговоре говорящему для упоминания референта достаточно указать на «закрепленный» за ним локус.

Детальному изучению свойств локуса посвящена работа [Liddell 1990]. Лидделл критикует распространенный взгляд на то, что локус представляет собой референта. Его исследование основывается на нескольких указательных глаголах ASL (ASK 'спрашивать', SAY-NO-TO 'сказать-нет', ESP-WITH 'общаться телепатически'), для правильного выполнения которых необходимо знать, на какой относительной высоте они выполняются. Например, ASK выполняется по направлению к подбородку адресата, SAY-NO-TO – к средней части лица, ESP-WITH – по направлению ко лбу. Соответственно, направление жеста ASK меняется в зависимости от того, обращается говорящий к высокому человеку или к ребенку: в первом случае жест будет направлен по диагонали вверх, во втором – по диагонали вниз (учитывая, что сам говорящий среднего роста). Ничего не меняется и в том случае, если референт, к которому обращен жест, не присутствует в поле зрения говорящего в момент выполнения жеста. Если говорящий рассказывает, что спросил нечто у высокого человека, жест ASK будет направлен вверх; если он обратился к ребенку – вниз⁹. Исходя из этого, Лидделл делает вывод, что говорящий мысленно представляет референта присутствующим, чтобы смочь правильно на-

⁹ Лидделл отмечает, что при выполнении жеста важен не рост адресата, а положение его лица и тела относительно говорящего: «...если [говорящий] представляет референта лежащим, стоящим на стуле, и т.п., высота и направление указательного глагола отразит это» [Liddell 1990: 184].

править жесты типа ASK к частям его тела. Если по каким-то причинам говорящий не может мысленно представить референта, он выполняет жест на уровне относительных высот своих частей тела по направлению к месту, где должен находиться референт. Согласно анализу Лидделла, указание на локус – это способ показать, где расположен мысленно воображаемый референт.

Указание на локус является основным, но не единственным средством отсылки к референту в жестовом дискурсе. Широко описанным, но еще не до конца изученным явлением остается явление референциального сдвига (referential shift) [Paden 1983; Winston 1991; Engberg-Pedersen 1995].

Референциальный сдвиг сигнализирует о том, что говорящий начинает описывать событие с точки зрения того референта, роль которого он принимает (в позицию которого «сдвигается» – иногда референциальному сдвигу сопутствует физическое изменение положения тела говорящего, «сдвиг» в сторону референта, от лица которого производится высказывание) [Winston 1991]. В положении референциального сдвига говорящий использует местоимение 1-го лица для обозначения референта, от имени которого он выступает. По аналогии со звучащими языками, дискурс в пределах референциального сдвига называют «прямой речью», «цитированием» [Engberg-Pedersen 1995]. Понятие референциального сдвига включает в себя и понятие косвенного действия (reported action) – ведь в жестовом языке говорящий, принимая точку зрения референта, не столько «цитирует» его высказывания, сколько демонстрирует его действия.

Понятие референциального сдвига тесно связано с понятием перспективы или точки зрения. Число перспектив, между которыми говорящий выбирает при описании какого-либо события, исчислимо. Оно складывается из точек зрения всех участников события (референтов, упоминаемых говорящим), плюс точки зрения самого говорящего. Помимо точки зрения участника события говорящему доступна также точка зрения «с высоты птичьего полета» (survey perspective). Выбор перспективы является особым способом структурирования жестового пространства в рамках дискурса [Emmorey 2002].

16. О СИСТЕМАХ НОТАЦИИ ЖЕСТОВЫХ ЯЗЫКОВ

Существует несколько общепринятых систем нотации жестовых языков, они обладают разной степенью подробности и иконичности и ориентированы на описание различных явлений в жестовых языках.

Первая система транскрибирования жестов была разработана У. Стокоу [Stokoe 1960]. Она состояла из 55 символов, образующих три группы в соответствии с тремя параметрами (место выполнения жеста, характер движения и форма руки), которые Стокоу считал релевантными для структуры жеста (см. раздел 5). Для обозначения места выполнения жеста и характера движения руки использовались иконические значки, например символ [] обозначал туловище (пространство от плеч до бедер), символ \ обозначал руку от плеча до локтя; символом > изображалось движение вправо, а символом < показывалось движение влево. Для обозначения формы руки Стокоу использовал цифры (например, символ 5 обозначал раскрытую ладонь с растопыренными пальцами) и буквы английского алфавита в соответствии с американской дактильной азбукой. Ориентация руки обозначалась в транскрипции нижним индексом при символе формы руки. Порядок символов при записи жеста был фиксирован: сначала указывалось место выполнения жеста, после форма руки, в конце характер движения руки.

Нотация Стокоу легла в основу принципа организации первого словаря американского жестового языка [Stokoe et al. 1976], в котором место жеста определялось по собственной форме жеста (отраженной в транскрипции), а не, как до этого, по переводу жеста на английский язык.

В качестве недостатков нотации Стокоу отмечается, что она не позволяет фиксировать выражение лица, которое является неотъемлемой составляющей многих жестов. Далее, нотация Стокоу фонематична и позволяет записать только те значения парамет-

ров жеста, которые Стокоу считал смысловозначительными для американского жестового языка. Таким образом, данная нотация, с одной стороны, не позволяет описать такие параметры выполнения жеста, как, например, резкость/плавность и амплитуда движения, напряженность/расслабленность руки, которые, как показали дальнейшие исследования жестовых языков, вносят существенный вклад в смысл жеста [Martin 2000]. С другой стороны, данную нотацию невозможно без изменений применять и для транскрибирования других жестовых языков. Модифицированная версия нотации Стокоу используется, например, в словаре британского жестового языка [Brien (ed.) 1992]. В силу того, что в современных исследованиях применяется не исходная версия данной транскрипционной системы, а ее различные модификации (например [Mandel 1993]), говоря о нотации Стокоу, подразумевают целое семейство родственных транскрипционных систем.

Другой широко известной системой транскрипции жестовых языков является Гамбургская система нотации (Hamburg Notation System, сокращенно HamNoSys) [Prillwitz et al. 1989]. Транскрипция изначально разрабатывалась таким образом, чтобы применяться для записи как можно большего числа жестовых языков: все параметры формы жеста отображаются в ней с помощью иконических значков (в отличие от транскрипции Стокоу, где символы для формы руки не были иконическими). HamNoSys ориентирована на очень подробное описание жеста. В ней используется около двухсот символов, обозначаются не только место выполнения жеста, форма и траектория движения руки, но и ориентация руки, немануальные жесты (мимика говорящего). При записи жеста сначала записывается форма руки (рук), далее ориентация, место выполнения жеста и характер движения. Жесты в транскрипции HamNoSys довольно сложны для визуального восприятия, однако эта система записи отлично подходит для компьютерной обработки.

Транскрипция HamNoSys использовалась в многочисленных тематических словарях немецкого жестового языка, разрабатываемых в Гамбурге (например [AF 1996]), словаре австралийского жестового языка [Johnston 1997], новозеландского жестового языка [Kennedy 1998] и других.

Если проводить аналогии с записью звучащей речи, нотацию Стокоу можно сравнить с фонематической транскрипцией, HamNoSys – с фонетической. По иному принципу строится транскрипционная система Беркли (BTS) [Hoiting, Slobin 2002]. В основе BTS лежит принцип выделения в жесте «значимых элементов», ее можно сопоставить с глоссированием. Одни и те же элементы жестовой структуры могут в зависимости от смысла жеста получать разное содержательное наполнение. Значение компонента жестовой структуры указывается при помощи специального индекса. Так, например, движение руки при выполнении жеста по прямолинейной траектории передается символом L (linear). Индекс -src'X обозначает удаление от фиксированной точки пространства; индекс -gol'X – приближение к определенной точке пространства. Соответственно, в зависимости от того, какой индекс будет предшествовать символу L, движение руки будет интерпретироваться как обозначающее удаление (-src'L) или приближение (-gol'L) некоторого объекта к чему-либо. Жест в транскрипции представляет собой последовательность элементов, снабженных индексами: сначала записывается форма пассивной руки, потом форма активной руки, движение руки, ориентация руки. BTS была разработана для транскрибирования жестового дискурса, поэтому нотация включает в себя символы для обозначения дискурсивного поведения говорящего – различных выражений лица, интенсивности выполнения жестов, пауз, ошибок в выполнении жестов и т. п.

Описанные выше системы записи жестов были разработаны лингвистами для научных исследований. В отличие от них транскрипция Sign writing [Sutton 1996] была создана специалистом по записи движений человеческого тела, профессиональной танцовщицей, и из исследовательского инструмента быстро превратилась в форму записи жестовой речи для повседневного применения.

В Sign writing жест не записывается как линейная последовательность символов, а изображается пиктограммой, включающей иконические изображения рук, их движений

(с помощью разнообразных стрелок), их расположение относительно друг друга и говорящего, при необходимости передается выражение лица или направление взгляда, сопутствующие жесту. Цепочка жестов записывается сверху вниз. Транскрипция позволяет точно и наглядно отображать жесты, при этом остается простой для восприятия.

Как отмечается в [Martin 2000] все большее число носителей жестовых языков пользуются системой Sign writing, считая ее письменной формой своего родного языка. На основе Sign writing каждый язык вырабатывает собственную орфографию: в датском жестовом языке перестали использовать символ для соприкосновения двух рук; в жестовом языке Никарагуа начали подчеркивать имена собственные [Martin 2000: 29]. Растет число книг, переведенных с помощью Sign writing на жестовые языки. Но Sign writing продолжает использоваться и как система нотации в лингвистических исследованиях (например, в институте Солка, штат Калифорния [Clark, Clark-Gunsauls 1997]), применяется для создания словарей жестовых языков (см., например, онлайн-словарь фламандского жестового языка [Van Mulders 2004]).

17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В начале данной статьи (раздел 3) было кратко рассказано о том, как мало внимания в нашей стране уделяется изучению российского жестового языка, языка межличностного общения большинства глухих людей на территории России и ряда близлежащих государств. Несмотря на значительное число носителей (по некоторым оценкам, только в нашей стране РЖЯ пользуются не менее 2-х млн. человек [Воскресенский 2000]), язык глухих малоизучен. Единственное монографическое описание РЖЯ – это работа Г.Л. Зайцевой [Зайцева 2000]. Несмотря на основополагающее значение данного исследования для признания РЖЯ, оно является в большей степени обзорным, рассчитанным на людей, не обладающих специальными знаниями в области лингвистики. В то же время подробное описание РЖЯ исключительно важно именно для лингвистов.

Жестовые языки представляют собой иной языковой тип. Их фундаментальные свойства определяются своеобразием канала передачи информации – визуально-кинетического, в отличие от звукового у звучащих языков. Ведущую роль в системе жестового языка играет пространство. Если при речевом общении пространство задействовано, в основном, в сфере дейксиса, то в жестовых языках оно используется на всех уровнях языковой структуры: фонологическом – по своему строению жесты могут отличаться друг от друга только положением в пространстве; морфологическом – аргументы глагола кодируются направлением предикатного жеста; дискурсивном – место артикуляции жеста меняется, чтобы обозначить смену темы дискурса, появление нового референта. Восприятие жеста происходит более «одновременно», чем восприятие некоторого звучащего слова: элементы участвуют в выполнении жеста одновременно, а не последовательно. Как правило, в жесте можно кодировать больше информации по сравнению со словом звучащей речи.

Несмотря на подобные отличия жестовых языков от звучащих, системы жестовых языков подчиняются тем же универсальным языковым законам, что и системы звучащих языков. Как было показано во второй части данной статьи (разделы 4–16), можно провести множество параллелей между жестовыми и звучащими языками, можно и нужно анализировать жестовые языки, используя методы и понятия, разработанные на материале звучащих языков. Исследования, проводимые в основном на материале ASL и европейских жестовых языков, показали, что между разнообразными (как родственными, так и неродственными) жестовыми языками наблюдается значительное сходство базовых характеристик. Различия фиксируются на уровне каких-то более частных грамматических явлений (и, главным образом, на уровне лексики).

Изучение РЖЯ поможет внести значительный вклад в типологию жестовых языков. На материале РЖЯ может быть доказана или опровергнута «универсальность» языковых принципов, разработанных на материале звучащих языков. Помимо этого, исследование РЖЯ представляется перспективным с точки зрения анализа когнитивных про-

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Беликов 1983 – В.И. Беликов. Жестовые системы коммуникации // Семиотика и информатика. Вып. 20. М., 1983.
- Воскресенский 2000 – А.Л. Воскресенский. Непризнанный язык (Язык жестов глухих и компьютерная лингвистика) // Труды Международного семинара «Диалог--2002». Т. 2. Протвино, 2000.
- Гейльман 1975–1979 – И.Ф. Гейльман. Специфические средства общения глухих. Дактилология и мимика. 1–4. Л., 1975–1979.
- Зайцева 1987 – Г.Л. Зайцева. Методы изучения системы жестового общения глухих // Дефектология. № 1. 1987.
- Зайцева 2000 – Г.Л. Зайцева. Жестовая речь. Дактилология: Учебник для студентов высших учебных заведений. М., 2000.
- Комарова 1997 – А.А. Комарова. Развитие исследований по истории глухих // Материалы I Московского симпозиума по истории глухих. М., 1997.
- Фрадкина 2001 – Р.Н. Фрадкина. Говорящие руки: Тематический словарь жестового языка глухих России. М., 2001.
- Фрумкина 2001 – Р.М. Фрумкина. Психолингвистика: Учебник для студентов высших учебных заведений. М., 2001.
- Чаушьян (ред.) 2005 – Н.С. Чаушьян (ред.). Сборник материалов к Международной конференции переводчиков жестового языка, 11–15 марта, 2005. М., 2005.
- AF 1996 – Arbeitsgruppe Fachgebärdenlexika. Fachgebärdenlexikon Psychologie. Hamburg, 1996. <http://www.sign-lang.uni-hamburg.de / PLEX/>
- Aikhenvald, Green 1998 – A. Aikhenvald, D. Green. Palikur and the typology of classifiers // Anthropological linguistics. 40(3). 1998.
- Anderson 1982 – L. Anderson. Universals of aspect and parts of speech: parallels between signed and spoken languages // P.J. Hopper (ed.). Tense–aspect: between semantics and pragmatics. Amsterdam, 1982.
- Battison 1978 – R. Battison. Lexical borrowing in American sign language. Silver Spring, 1978.
- Bellugi, Klima 1976 – U. Bellugi, E. Klima. Two faces of sign: iconic and abstract // The origins and evolution of language and speech. New York, 1976.
- Bellugi 1972 – U. Bellugi. Studies in sign language // O'Rourke (ed.). Psycholinguistics and total communication. Washington, 1972.
- Bos 1990 – H. Bos. Person and location marking in sign language of the Netherlands: some implications of a spatially expressed syntactic system // S. Prilwitz, T. Vollhaber (eds.). Current trends in European sign language research. Proceedings of the 3-rd European Congress on sign language research, Hamburg, July 26–29, 1989. Hamburg, 1990.
- Brien 1992 – D. Brien (ed.). Dictionary of British sign language / English. London, 1992.
- Clark, Clark-Gunsauls 1997 – K. Clark, D. Clark-Gunsauls. Research related to classifiers at Salk Institute uses sign writing // Sign writer newsletter. La Jolla, CA: Deaf action committee for sign writing. 1997.
- Cogill-Koez 2000 – D. Cogill-Koez. Signed language classifier predicates: linguistic structures or schematic visual representation? // Sign language and linguistics. V. 3(2). 2000.
- Crasborn et al. 2000 – O. Crasborn, H. Van der Hulst, E. Van der Kooij. Phonetic and phonological distinctions in sign languages. A paper presented at Intersign: Workshop 2. Leiden, December 1998. www.sign-lang.uni-hamburg.de/intersign/Workshop2/CrashbornHulstKooij/crasbor_hulst_Kooij.html
- Croft 1991 – W. Croft. Syntactic categories and grammatical relations. Chicago, 1991.
- Emmorey 2002 – K. Emmorey. Language, cognition, and the brain: Insights from sign language research. Mahwah (NJ), 2002.
- Engberg-Pedersen 1986 – E. Engberg-Pedersen. The use of space with verbs in Danish sign language // B. Tervoort (ed.). Signs of life: Proceedings of the Second European Congress on sign language research. Amsterdam, 1986.
- Engberg-Pedersen 1993 – E. Engberg-Pedersen. Space in Danish sign language: The semantics and morphosyntax of the use of space in a visual language. Hamburg, 1993.

- Engberg-Pedersen 1995 – *E. Engberg-Pedersen*. Point of view expressed through shifters // K. Emmorey, J. Reilly (eds.). *Language, gesture and space*. Lawrence Erlbrawn Associates, 1995.
- Frishberg 1975 – *N. Frishberg*. Arbitrariness and iconicity: Historical change in American sign language // *Language*. 51. 1975.
- Givón 1979 – *T. Givón*. *On understanding grammar*. New York, 1979.
- Gordon (ed.) 2005 – *R.G. Gordon, Jr. (ed.)*. *Ethnologue: Languages of the World*, fifteenth edition. Dallas (Tex.), 2005. <http://www.ethnologue.com/>
- Grenoble 1992 – *L. Grenoble*. An overview of Russian sign language // *Sign language studies*. V. 21:77. Maryland, 1992.
- Hockett 1963 – *Ch. Hockett*. The problem of universals in language // *J. Greenberg (ed.)*. *Universals of language*. Cambridge (Mass.), 1963.
- Hoiting, Slobin 2002 – *N. Hoiting, D. Slobin*. Transcription as a tool for understanding: The Berkeley transcription system for sign language research (BTS) // *G. Morgan, B. Woll (eds.)*. *Directions in sign language acquisition*. Amsterdam; Philadelphia, 2002. <http://ihd.berkeley.edu/btsforsignlanguage.pdf>
- Hopper, Thompson 1984 – *P. Hopper, S. Thompson*. The discourse basis for lexical categories in Universal grammar // *Language*. 60.4. 1984.
- Joachim, Prillwitz, Handke 2006 – *G. Joachim, S. Prillwitz, T. Handke*. *International bibliography of sign language*. Hamburg, 2006. <http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/Bibweb/>
- Johnston 1997 – *T. Johnston*. Royal N.S.W. Institute for deaf and blind children: Signs of Australia on CD-ROM: a dictionary of Auslan (Australian sign language). North Rocks, 1997.
- Kennedy et al. 1998 – *G. Kennedy et al.* A dictionary of New Zealand sign language. Auckland, 1998.
- Klima, Bellugi 1979 – *E. Klima, U. Bellugi*. *The signs of language*. Cambridge (Mass.), 1979.
- Langacker 1991 – *R. Langacker*. *Foundations of cognitive grammar*. V. 2: Descriptive application. Stanford, 1991.
- Liddell 1990 – *S. Liddell*. Four functions of a locus: Reexamining the structure of space in ASL // *C. Lucas (ed.)*. *Sign language research. Theoretical issues*. Washington, 1990.
- Liddell 2003 – *S. Liddell*. *Grammar, gesture and meaning in American sign language*. Cambridge, 2003.
- Lucas, Valli 1989 – *C. Lucas, C. Valli*. Language contact in the American deaf community // *C. Lucas (ed.)*. *The Sociolinguistics of the deaf community*. San Diego, 1989.
- Mandel 1993 – *M. Mandel*. ASCII-Stokoe notation: A computer-writeable transliteration system for Stokoe notation of American sign language (manuscript). 1993. <http://www.speakeasy.org/~maman-del / ASCII-Stokoe.html>
- Martin 2000 – *J. Martin*. A linguistic comparison. Two notation systems for signed languages // *Stokoe Notation and Sutton sign writing*. Sign writing web site. La Jolla (CA) (Deaf action committee for sign writing), 2000. <http://www.signwriting.org/archive/docs1/sw0032-Stokoe-Sutton.pdf>
- McDonald 1982 – *B.H. McDonald*. *Aspects of the American sign language predicate system*. Ph.D.diss., University of Buffalo, 1982.
- McNeil 1992 – *D. McNeil*. *Hand and mind: What gestures reveal about thought*. Chicago, 1992.
- Miljan 2000 – *M. Miljan*. The noun phrase in Estonian sign language from the typological perspective. B. A. Thesis. Estonian Institute of Humanities, Tallinn, 2000. <http://sinine.chi.ee/chi/oppetool/lopetajad/merilin/>
- Padden 1983 – *C. Padden*. The interaction of morphology and syntax in American sign language. University of California, San Diego: Unpublished Ph.D. Dissertation, 1983.
- Padden 1990 – *C. Padden*. The relation between space and grammar in ASL Verb morphology // *C. Lucas (ed.)*. *Sign language research: Theoretical issues*. Washington, 1990.
- Prillwitz et al. 1989 – *S. Prillwitz et al.* HamNoSys. Version 2.0: Hamburger Notationssystem für Gebärdensprache. Eine Einführung. Hamburg, 1989.
- Stokoe 1960 – *W. Stokoe*. Sign language structure: An outline of the visual communication systems of the American deaf // *Studies in linguistics* 21: Occasional papers 8, 1960.
- Stokoe et al. 1976 – *W. Stokoe, D. Casterline, C. Croneberg*. *A dictionary of American sign language on linguistic principles*. Silver Spring, 1976.
- Supalla 1986 – *T. Supalla*. The classifier system in American sign language // *C.G. Craig (ed.)*. *Noun classes and categorization*. Amsterdam; Philadelphia, 1986.
- Suppala, Newport 1978 – *T. Suppala, E. Newport*. How many seats in a chair? The derivation of nouns and verbs in American sign language // *P. Siple (ed.)*. *Understanding sign language through sign language research*. New York, 1978.
- Sutton 1996 – *V. Sutton*. Sign writing Web Site. La Jolla (CA), 1996. <http://www.SignWriting.org>

- Talmy 1985 – *L. Talmy*. Lexicalization patterns: Semantic structure in lexical forms // T. Shopen (ed.). Language typology and syntactic description. V. 3: Grammatical categories and the lexicon. Cambridge, 1985.
- The sign language corpus. <http://www.mpi.nl/world/SignLang/WEB-FINAL/sl-world.htm>
- Valli, Lucas 1995 – *C. Valli, C. Lucas*. Linguistics of American sign language: An introduction. Washington, 1995.
- Van Mulders 2004 – *K. Van Mulders*. Information. Universiteit Gent, 2004. <http://gebaren.ugent.be/information.php>
- Wallin 1996 – *L. Wallin*. Polysynthetic signs in Swedish sign language. Doctoral diss. Stockholm, 1996.
- Wilcox, Wilcox (in press) – *Sh. Wilcox, Ph. Wilcox*. Learning to see: American sign language as a second language. Washington (in press). http://www.chsc.org/Online_Press_Room/History%20of%20ASL.pdf
- Winston 1991 – *E. Winston*. Spatial referencing and cohesion in an American sign language text // Sign language studies. V. 73. Maryland, 1991.
- Zeshan 2002 – *U. Zeshan*. Towards a notion of 'Word' in sign languages // R. Dixon, A. Aikhenwald (eds.). Word: A cross-linguistic typology. Cambridge, 2002.
- Zeshan 2003 – *U. Zeshan*. Indo-Pakistani sign language grammar: A typological outline // Sign language studies. III, 2. 2003.

© 2007 г. Р.А. ТАДИНОВА

ОТРАЖЕНИЕ ЗАДНЕЯЗЫЧНЫХ СОГЛАСНЫХ ПРИ ЗАИМСТВОВАНИИ ТЮРКСКОЙ ЛЕКСИКИ В НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИЕ ЯЗЫКИ

В статье систематизируются способы фонетической адаптации тюркизмов в нахско-дагестанских языках на примере реализации заднеязычных согласных. Автор, проводя типологическое отождествление фрагментов консонантных систем различных нахско-дагестанских языков, впервые в истории вопроса делает попытку классификации и систематизации тюркских заимствований, исходя не из экстралингвистических, а из историко-фонетических принципов. На примере разных заимствований из диалектов азербайджанского и кумыкского языков решается проблема процикновения тюркизмов в нахско-дагестанские языки до или после распада отдельных групп и из относительно позднего состояния тюркских языков.

В настоящей статье проводится попытка систематизировать фонетические изменения, которым подвергаются тюркизмы при переходе в северокавказские языки (далее СКЯ). При этом надо заметить, что говорить об общих фонетических закономерностях, характерных для всех СКЯ и даже отдельно для восточнокавказских (нахско-дагестанских) и западнокавказских (абхазо-адыгских) языков весьма сложно. Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, в среднем тюркские консонантные фонологические системы меньше по количеству фонем, чем кавказские консонантные фонологические системы. Во-вторых, несмотря на то, что северокавказское генетическое единство демонстрируется на всех уровнях (в частности на фонетическом уровне установлены фонетические соответствия между правосточнокавказским и празападнокавказским языковыми состояниями [NCED 1994]), мы не можем оперировать этими данными, т.к. имеем дело с кавказскими языками, давно распавшимися, фонетическая система которых сильно различается. Установление общих фонетических закономерностей в тюркизмах даже отдельной кавказской группы языков также вызывает сложности, например, уже в лезгинских языках, которые явно распались до контактов с тюрками, консонантные фонологические системы значительно различаются между собой. Но при этом в консонантных фонологических системах СКЯ имеются типологические сходства, которые отчасти помогают систематизировать некоторые фонетические изменения, которым подвергаются тюркизмы при переходе в СКЯ.

В-третьих, СКЯ контактируют со многими тюркскими языками, консонантные фонологические системы которых довольно сильно различаются между собой. Это, с одной стороны, огузские языки, причем две близкородственные огузские группы, восточная и западная, но их консонантные системы, с точки зрения фонетической реализации фонем, сильно расходятся. А в азербайджанском языке даже диалекты имеют существенные различия. С другой стороны, с СКЯ контактируют кыпчакские языки, среди которых кумыкский имеет стандартную консонантную систему, а консонантная система балкарского языка, у которой была сложная система развития, отличается от среднестатистического кыпчакского состояния.

Различия между консонантными системами СКЯ и тюркских языков (ТЯ) можно систематизировать следующим образом.

Во-первых, это различия в количестве значений признака «место образования». Эти различия в основном наблюдаются в области поствелярных и аффрикатных локальных рядов. Что касается поствелярных, то фонетически во всех ТЯ, кроме западных диалектов турецкого языка, представлен увулярный локальный ряд, но для большинства языков его фонологичность спорна: обычно увулярные согласные дополнительно распределены с соответствующими велярными в зависимости от заднего/переднего ряда гласных сингармонического слова. В СКЯ обычно представлен увулярный ряд, несомненно фонологический и всегда полный, например, в нахско-дагестанских языках: *хъ, къ, зъ, х, кзъ*. Аффрикатные (средненебные) ряды в СКЯ обычно значительно богаче, чем в тюркских языках: СКЯ консонантная система включает несколько аффрикатных рядов (например, в лакском – дентальные: *ц, цц, цл*, альвеолярные: *ч, чч, чл* и др.; максимально полные наборы в западнокавказских языках: шипящие твердые, шипящие мягкие, свистящие, свистяще-шипящие), а в ТЯ только один аффрикатный ряд – шипящий: *ч, ч/ж, ш*.

Во-вторых, это систематические различия в количестве значений признака «способ образования», прежде всего по использованию ларингальных признаков. В ТЯ различие по ларингальному признаку обычно парное, но соответствующее противопоставление может реализоваться по языкам двойко: как глухие – звонкие (например, в турецком) или сильные – слабые (например, в азербайджанском). Это противопоставление в кыпчакских языках позиционно ограничено: в начальной позиции оно не представлено, а представлено в интервокальной позиции. СКЯ по использованию ларингальных признаков могут иметь тройное противопоставление – глухой простой, фонетически придыхательный: *ч, ц / глухой абруптивный: цл, чл, къ / звонкий: з, ж, дж*, или четверное противопоставление: глухой простой придыхательный / глухой абруптивный / глухой сильный удвоенный / звонкий. Не только фонологическая структура противопоставления, но и его фонетическая реализация может различным образом влиять на адаптацию заимствований. Ср. тот факт, что в языках аваро-андийской группы русские заимствования с глухой согласной адаптируются не как простые глухие, фонетически придыхательные, а как абруптивные.

Исходя из вышеизложенных различий между фонологическими системами СКЯ и ТЯ нам приходится рассматривать фонетическую адаптацию заимствований, конкретизируя язык-источник и принимающий язык. В связи с этим в данной статье мы попытались систематизировать способы фонетической адаптации тюркизмов лишь в нахско-дагестанских языках на одном примере: реализация заднеязычных согласных.

Рассмотрим адаптацию тюркских заднеязычных в языках лезгинской группы. В лезгинских языках¹ на взрывных согласных действует четырехзначное противопоставление по ларингальному признаку: звонкий, глухой сильный/непридыхательный (или геминированный), глухой придыхательный, абруптивный. Исключение – удинский язык, где отсутствуют абруптивные, вероятно, в силу давних и глубоких контактов с иносистемными языками.

Системы заднеязычных в языках лезгинской группы в основном делятся на системы с четверным и тройным противопоставлением взрывных увулярных. Системы с четверным противопоставлением:

¹ Информация по синхронному устройству лезгинских фонологических систем цитируется по [Талибов 1980].

	Взрывные				Фрикативные		
	Звонкие	Глухие непридыха- тельные/ сильные	Глухие придыха- тельные	Абруптив- ные	Звонкие	Глухие	Глухие сильные
Веляри.	g	kk	k	kʃ	gg	xʁ	(xʁxʁ)
Увуляри.	kgʁ	kʁ	xʁ	kʁ	gʁ	x	(xx)

Примечание. В скобках – согласные, которые могут отсутствовать в конкретных системах.

Сюда относятся лезгинский, табасаранский, цахурский и будухский языки.

Системы с тройным противопоставлением отличаются отсутствием звонких взрывных увулярных (звонкий представитель – только фрикативный):

Таблица 2

	Взрывные				Фрикативные		
	Звонкие	Глухие непридыха- тельные/ сильные	Глухие придыха- тельные	Абруптив- ные	Звонкие	Глухие	Глухие сильные
Веляри.	g	kk	k	kʃ	gg	xʁ	(xʁxʁ)
Увуляри.		kʁ	xʁ	kʁ	gʁ	x	(xx)

Такие системы представлены в агульском, рутульском, крызском, хиналугском и арчинском языках (характерной особенностью арчинского является наличие сильного увулярного глухого фрикативного).

В удинском языке система производна от этой, с потерей столбца абруптивных:

Таблица 3

	Взрывные			Фрикативные	
	Звонкие	Глухие непри- дыхательные/ сильные	Глухие придыха- тельные	Звонкие	Глухие
Веляри.	g	kk	k		
Увуляри.		kʁ	xʁ	gʁ	x

По данным материала, основная масса тюркских заимствований в этих языках идет из азербайджанского языка. Азербайджанский язык принадлежит к восточной группе огузских языков и отличается достаточно своеобразной для западных тюркских языков

Таблица 4

ПТ	Ряд гласных	ДУ	Кум.	КБ	Кар.	Аз.	Тур.
<i>k</i> ³	передние	<i>k</i> -	<i>k</i> -, <i>g</i> -	<i>k</i> -, <i>g</i> -	<i>k</i> -	<i>k</i> -	<i>k</i> -
	задние	<i>q</i> -	<i>q</i> -	<i>q</i> -	<i>q</i> -	<i>G</i> -	<i>k</i> -
<i>k/ṽ</i> ₋	передние	<i>k</i>	- <i>g</i> -, - <i>k</i> -, - <i>k</i>	- <i>g</i> -, - <i>k</i> -, - <i>k</i>	- <i>g</i> -, - <i>k</i> -, - <i>k</i>	- <i>k</i> -, - <i>j</i> ⁴ -, - <i>k</i>	- <i>k</i> -, - <i>k</i>
	задние	<i>q</i>	- <i>γ</i> -, - <i>q</i> -, - <i>q</i>	- <i>γ</i> -, - <i>q</i> -, - <i>q</i>	- <i>γ</i> -, - <i>q</i> -, - <i>q</i>	- <i>x</i> -, - <i>x</i>	- <i>k</i> -, - <i>k</i>
<i>k/ṽ</i> ₋	передние	<i>k</i>	- <i>g</i> -, - <i>k</i> -, - <i>k</i>	- <i>g</i> -, - <i>k</i> -, - <i>k</i>	- <i>g</i> -, - <i>k</i> -, - <i>k</i>	- <i>j</i> -, - <i>j</i>	- <i>γ</i> -, - <i>k</i>
	задние	<i>q</i>	- <i>γ</i> -, - <i>q</i> -, - <i>q</i>	- <i>γ</i> -, - <i>q</i> -, - <i>q</i>	- <i>γ</i> -, - <i>q</i> -, - <i>q</i>	- <i>γ</i> -, - <i>G</i>	- <i>γ</i> -, - <i>k</i>
<i>g</i> -	передние	<i>k</i> -	<i>k</i> -, <i>g</i> -	<i>k</i> -, <i>g</i> -	<i>k</i> -	<i>g</i> -	<i>g</i> -
	задние	<i>q</i> -	<i>q</i> -	<i>q</i> -	<i>q</i> -	<i>G</i> -	<i>k</i> -
<i>g</i>	передние	<i>g</i>	- <i>j</i> -, - <i>0</i> / <i>j</i>	- <i>j</i> -, - <i>0</i> / <i>j</i>	- <i>j</i> -, - <i>0</i> / <i>j</i>	<i>wlj</i> -, - <i>0</i> ⁵	<i>γlj</i> -, - <i>0</i> ⁴
	задние	<i>γ</i>	- <i>w</i> -, - <i>0</i> / <i>w</i>	- <i>w</i> -, - <i>0</i> / <i>w</i>	- <i>w</i> -, - <i>0</i> / <i>w</i>	<i>wlj</i> -, - <i>0</i> ⁴	<i>γ/wlj</i> -, - <i>0</i> ⁴

Эта таблица, основанная на таблицах соответствий тюркских согласных в [СИГТЯ ПЯ 2006], приблизительно демонстрирует интересующие нас свойства тюркских заднеязычных фонем в литературных языках. Несколько сложнее дело обстоит в азербайджанских диалектах. Подробно эта ситуация разбирается в [СИГТЯ РР 2002: 90–94]. Здесь мы приведем следующие данные.

Таблица 5

	*Cṽk	*Cṽk	*CVCṽk
Праогуз.	* <i>gōG</i> – * <i>gōgi</i> , * <i>āG</i> – * <i>āgy</i>	* <i>kōk</i> – * <i>kōki</i> , * <i>tok</i> – * <i>toky</i>	* <i>jürāG</i> – * <i>jürāgi</i> , * <i>kulaG</i> – * <i>kulagy</i>
Аз. литер.	<i>gōj</i> – <i>gōji</i> , <i>aG</i> – <i>aγ</i>	<i>kōk</i> – <i>kōki</i> , <i>tox</i> – <i>toxy</i>	<i>jürāk</i> – <i>jürāji</i> , <i>GulaG</i> – <i>Gulaγ</i>
Восточные диалекты	<i>gōg</i> – <i>gōgi</i> , <i>aγ</i> – <i>aγγ</i>	<i>kōk</i> – <i>kōki</i> , <i>tox</i> – <i>toxy</i>	<i>jüräg</i> – <i>jürāgi</i> , <i>Gulaγ</i> – <i>Gulaγγ</i>
Западные диалекты	<i>gōj</i> – <i>gōji</i> , <i>aγ</i> – <i>aγγ</i>	<i>kōk</i> – <i>kōki</i> , <i>tox</i> – <i>toxy</i>	<i>jürāx</i> – <i>jürāji</i> , <i>Gulax</i> – <i>Gulaγγ</i>
Южные диалекты	<i>gōj</i> – <i>gōji</i> , <i>aγ</i> – <i>aγγ</i> , <i>jox</i>	<i>kōk</i> – <i>kōki</i> , <i>tox</i> – <i>toxy</i>	<i>jürāk/x</i> – <i>jürāji</i> , <i>Gulax</i> – <i>Gulaγγ</i>
Северные диалекты	<i>gōj</i> – <i>gōji</i> , <i>aγ</i> – <i>aγγ</i> , <i>jox</i>	<i>kōx</i> – <i>kōki</i> , <i>tox</i> – <i>toxy</i>	<i>ürāx</i> – <i>ürāji</i> , <i>Gulax</i> – <i>Gulaγγ</i>

² В статье приняты следующие сокращения языков: авар. – аварский; агул. – агульский; аз. – азербайджанский; арч. – арчинский; балк. – балкарский; будух. – будухский; дарг. – даргинский; ДУ – древнеуйгурский; кар. – караимский; КБ – карачаево-балкарский; крыз. – крызский; кум. – кумыкский; лак. – лакский; лез. – лезгинский; ПТ – пратюркский; рут. – рутульский; тур. – турецкий; ТЯ – тюркские языки; удин. – удинский; хин. – хиналугский; цах. – цахурский.

³ Перед задними гласными в пратюркском нельзя различить начальное глухое **k*- и звонкое **g*-, см. подробнее [СИГТЯ РР 2002].

⁴ В начале третьего и более слога.

⁵ На конце неодносложного слова. См. подробнее [СИГТЯ РР 2002].

Теперь рассмотрим, как именно происходит адаптация тюркских заднеязычных в языках лезгинской группы.

а) Слова с переднерядными звуками

Среднеязычный смычный глухой или звонкий в начальной позиции соответствует смычному заднеязычному глухому или звонкому, причем наблюдается прямое соответствие по глухости/звонкости. Схематично это можно выразить следующим образом: k (аз.) > k ; k (аз.) > g . Ср.: $k\acute{o}c$ > лез. $ku\acute{y}c$ *жедай* 'кочевка', таб. $k\acute{y}c\acute{e}ri$ 'кочевник, кочевой', хин. $k\acute{o}c$ 'скарб, домашнее имущество; переселение, кочевка'; $k\acute{e}n\acute{a}$ > цах. $g\acute{g}a\acute{n}a$, хин. $g\acute{i}n\acute{a}b$ 'клещ'; $k\acute{y}z\acute{k}y$ > лез. $g\acute{y}z\acute{g}y$, таб. $g\acute{y}z\acute{g}y$, рут. $g\acute{y}z\acute{g}y$ 'зеркало'; $k\acute{o}l$ > цах. $g\acute{o}l$, рут. $g\acute{u}l$ 'озеро, пруд'; $k\acute{y}c$ > лез. $g\acute{u}j$ 'сила; тяжесть, насилие, гнет', таб. $g\acute{u}j$ 'сила; мощь; гнет, насилие; тяжесть, нагрузка', хин. $g\acute{u}d\acute{z}$ 'сила; перен. 'тяжесть, тягость'; перен. 'насилие, гнет', арч. $g\acute{i}z$ 'сила'. Здесь исключение составляет цахурская форма $g\acute{g}a\acute{n}a$, где k реализуется как заднеязычный звонкий спирант (экспрессивное усиление?).

Изредка встречается звукопереход $k > c$, ср.: аз. $k\acute{e}tan$ > лез. $k\acute{e}ten$ 'полотно, холст', таб., лез. $k\acute{e}ten$ 'лен', цах. $k\acute{a}tan$ 'волокно', хин. $k\acute{a}tan$ 'лен; холст; льняной, холщовый', ср. авар. $k\acute{a}tan$ 'марля; тюль; вуаль', но: арч. $č\acute{a}tun$ *цџих* 'лен', ср. лак. $č\acute{a}tan$ 'льняное полотно, холст'. Переход $k > c$, $k > c$ характерен для западной и южной диалектных групп азербайджанского языка (а также для бакинского), поэтому здесь, скорее всего, следует предположить заимствование из западного азербайджанского диалекта в лакский, а из лакского в арчинский. Единичен случай $k > n$: аз. $k\acute{u}l\acute{u}nk$ > арч. $nu\acute{l}un\acute{g}i$ 'кирка'.

В конечной позиции данные фонемы реализуются как смычный заднеязычный (велярный) звонкий или глухой k (аз.) > k , g . Ср.: $d\acute{o}š\acute{e}k$ > рут. $du\acute{y}š\acute{e}g$, хин. $du\acute{y}š\acute{a}b\acute{g}$, цах. $du\acute{y}š\acute{a}k$ 'матрас'; $j\acute{e}m\acute{e}k$ > рут. $j\acute{i}m\acute{a}g$ 'еда', таб. $j\acute{i}m\acute{i}k$, агул. $j\acute{a}m\acute{a}k$ 'пища, еда'; $k\acute{u}l\acute{e}k$ > крыз., агул., рут. $ku\acute{l}ak$ 'ветер', хин. $ku\acute{l}ak$ 'ветер', таб. $ku\acute{l}ak$ 'ветер, вихрь'; $\acute{e}rd\acute{e}k$ > лез. $u\acute{y}rd\acute{e}g$ 'утка', таб., рут. $u\acute{y}rd\acute{e}g$, удин., хин. $u\acute{y}rd\acute{a}b\acute{g}$, агул. $ur\acute{d}ek$, крыз. $ur\acute{d}ag$, цах. $o\acute{y}rd\acute{a}g$, арч. $ul\acute{r}dek$ 'утка'; $t\acute{e}rl\acute{i}k$ > рут. $ta\acute{y}rl\acute{i}k$, таб., лез. $d\acute{e}rl\acute{i}k$, хин. $ta\acute{y}rl\acute{i}g$ 'потник'.

Здесь довольно очевидно, что в случае звонкого конца заимствования отражают положение в восточной диалектной группе азербайджанского языка, только цахурский язык контактировал не с восточной группой. В удинском языке обе тюркские фонемы реализуются как смычный мягконебный сильный kk : удин. $d\acute{o}š\acute{a}b\acute{kk}$ 'матрас, тюфяк', $ku\acute{l}u\acute{l}n\acute{kk}$ 'кирка', что достаточно релевантно отражает ситуацию в литературном азербайджанском языке и некоторых диалектах южной группы.

Праогузский звонкий * g в переднерядных словах дает в азербайджанском j . В лезгинских языках, однако, в заимствованных словах часто наблюдается сохранение в этой позиции g , ср.: $d\acute{e}j\acute{i}š$ > таб. $d\acute{i}g\acute{i}š$ 'вал' 'изменение, перемена'; $du\acute{j}\acute{e}$ > крыз. $du\acute{g}a$, лез. $du\acute{y}g\acute{e}$, таб. $du\acute{y}g\acute{e}$ 'телка, нетель'; $du\acute{j}m\acute{e}$ > лез. $du\acute{y}g\acute{m}\acute{e}$, таб. $du\acute{y}g\acute{m}\acute{e}$ 'пуговица'; $du\acute{j}y$ > рут. $du\acute{y}g\acute{y}$, таб. $du\acute{y}g\acute{y}$, лез. $du\acute{y}g\acute{y}$ 'рис'; $m\acute{e}š\acute{i}b\acute{e}j\acute{i}$ > рут. $m\acute{e}š\acute{i}b\acute{e}g$ 'лесничий; бедняк', хин. $m\acute{a}š\acute{i}b\acute{e}g\acute{i}$ 'лесничий, лесник', таб. $m\acute{e}š\acute{i}b\acute{e}g\acute{i}$ 'лесничий, лесник'; $j\acute{e}j\acute{i}n$ > лез. $j\acute{i}g\acute{i}n$ 'быстрый', но удин. $j\acute{e}j\acute{i}n$ 'быстрый, скорый; быстро, скоро'. Можно было бы предположить здесь заимствования из более раннего состояния азербайджанского языка, но следует заметить, что в восточной группе азербайджанских диалектов g в этой позиции также сохраняется, ср.: $du\acute{y}g\acute{i}$ 'рис', $du\acute{y}g\acute{m}\acute{e}$ 'пуговица' [СИГТЯ РР 2002: 63]. Таким образом, в лезгинских языках в основном заимствования из восточной группы, а в удинском – из диалектов западной группы, совпадающие в этом отношении с литературным языком.

б) Слова с заднерядными звуками

Заднеязычная смычная звонкая фонема g заднерядных слов (т.е. фонетически увулярная) в начальной позиции передается через увулярную аффрикату $k\acute{w}$ в кавказских языках, для которых источником заимствований является азербайджанский язык. Начало регулярно, причем всегда глухой увулярный сильный (непридыхательный), и

даже тогда, когда есть явные приметы того, что слово из азербайджанского, т.е. в источнике был начальный увулярный звонкий. Такая адаптация естественна, поскольку звонкий увулярный в лезгинском – только фрикативный, и, следовательно, противопоставление фонем по признаку сильный/слабый в азербайджанском языке отражено по признаку придыхательный/непридыхательный, что в общем фонологически правильно, а дополнительный признак звонкости не учитывается.

Выразим это схематично: *z* (аз.) > *къ*, например: *габаг* > лез. *къабах*, таб. *къабагъ*, агул. *къавахъ*, рут. *къабах*, цах. *къабах*, арч. *qabaq*, крыз. *къабаъх*, хин., будух. *къабагъ* 'тыква'; *габан* > лез. *къабан* 'кабан, боров', арч. *qaban* 'кабан', крыз. *къаьбаьн* 'свинья' хин. *къабан* 'кабан'; *гуллуз* > лез. *къуллузъ*, таб. *гъуллузъ* 'служба, работа; должность чин', арч. *qulduR* 'служба', удин. *къуллузъ* 'служба, услуга', хин. *къуллогъ* 'служба, работа; должность, услуга; поручение'; *гузгун* > лез. *къузгъун* 'стервятник', крыз. *къузгъун* 'аист', хин. *къаракъызгъын* 'орел'.

Отклонения от стандартного для лезгинских языков отражения демонстрирует табасаранский язык: основной рефлекс азербайджанского начального *z* – не глухой сильный *къ*, а звонкий фрикативный *гъ*. Ср.: *гъаб* 'блюдо', *гъаз* 'гусь', *гъазанж* 'прибыль', *гъазма* 'хлев', *гъайгъу* 'забота', *гъаймах* 'сливки', *гъалин* 'плотный', *гъизил* 'золото', *гъилшж* 'меч', *гъирагъ* 'берег', *гъишлагъ* 'зимнее пастбище, кишлак', *гъудугъ* 'осленок', *гъулай* 'удобный, уютный', *гъунагъ* 'кунак'. Только в единичных случаях встречаем *къ*: *къул* 'раб', *къабагъ* 'тыква', *къази* 'гусиный', *къанажагъ* 'ум, разум', *къарагъаж* 'карагач, вяз', *къариу* 'против', *къамат* 'облик', *къирхаягъ* 'сороконожка'. Характер данной лексики позволяет предположить в этих случаях заимствование не непосредственно из азербайджанского, а, скорее всего, из лезгинского. Особый случай – *хашав* 'наконечник ножен кинжала; скребница'. Возможно, это слово из северных кавказ. языков, которые заимствуют тюркизмы из кыпчакских языков.

В к о н е ч н о й позиции данная фонема во многих языках передается через спирант *гъ* или через увулярный непридыхательный спирант *х*: *гуллуз* > лез. *къуллузъ*, таб. *гъуллузъ* 'служба, работа; должность, чин'; перен. 'просьба, услуга', арч. *qulduR* 'служба', удин. *къуллузъ* 'служба, услуга', хин. *къуллогъ* 'служба, работа; должность, услуга; поручение'; *габаг* > таб. *къабагъ*, агул. *къавахъ*, арч. *qabaq*, хин. *къабагъ* 'тыква'; *габыг* > будух. *къабугъ* 'кора', хин. *къабыгъ* 'кора, кожура, корка'. Но: *габаг* > лез. *къабах*, рут. *къабах*, цах. *къабах*, крыз. *къабаъх* 'тыква'; *габыг* > лез. *къабух*, рут. *къабых*, цах. *къабых*, крыз. *къабых* 'кожура' (увулярные аффрикаты *къ*, *хъ*).

Из примеров видно, что в лезгинском и арчинском языках данная фонема в одной и той же позиции реализуется двояко: как увулярный спирант *гъ* – звонкий (лез. *къуллузъ*), *q* – придыхательная аффриката (арч. *qabaq*) и как увулярный спирант *х* – непридыхательный (лез. *къабух*), *R* – звонкий (арч. *qulduR*), ср. еще: *гылыг* > *къилих* 'характер' *гучаг* > *къужах* 'объятия', но *ачыг* > *ажугъ* 'гнев, злоба', *очаг* > *ужагъ* 'дом, строение, комната', *гырхајаг* > *къирхаягъ* 'рак'. В агульском – только два примера, где тюркская фонема передается в одном случае через увулярную аффрикату *хъ* (*къавахъ*), в другом – через фрикативную *х* (*йагълух*). Заметим, что увулярная аффриката и в агульском и в арчинском встречается в рефлексах одного и того же слова *къавахъ* 'тыква'. Естественно предположить, что здесь мы имеем дело не с азербайджанским, а с кыпчакским заимствованием, точнее с кумыкским.

Довольно сложная и разноречивая картина с заимствованиями в лезгинском языке. Заметим, что в лезгинском глухой увулярный сильный позиционно ограничен: он встречается только в начальной и интервокальной позиции; старый лезгинский сильный *q*: на конце слова перешел в *гъ* в исконно лезгинских словах [NCED 1994: 131]. Что касается тюркизмов, то следует рассмотреть три типа случаев.

Односложные	Многосложные -х	Многосложные -гъ
Агъ 'бязь'	<i>алачух</i> 'уст. летний навес; шалаш'	<i>ажугъ</i> 'гнев'
Багъ 'фитиль'	<i>аралух</i> 'промежуточный'	<i>балугъ</i> 'рыба'
бугъ 'пар'	<i>ачух</i> 'ясный'	<i>баришугъ</i> 'мир'
но после огузского краткого гласного следует азербайджанский х, ср.: <i>тух</i> 'сытый'	<i>базарлук</i> 'покупки'	<i>бажарагъ</i> 'умение'
	<i>басрух</i> 'давка'	<i>буйругъ</i> 'приказ'
	<i>буллах</i> 'источник'	<i>къалтагъ</i> 'ленчик'
	<i>къабах</i> 'тыква'	<i>къанажагъ</i> 'мужество'
	<i>къабух</i> 'кожура'	<i>къирхаягъ</i> 'рак'
	<i>къаймах</i> 'сливки'	<i>къачагъ</i> 'разбойник'
	<i>къармах</i> 'крюк'	<i>къунагъ</i> 'гость'
	<i>къилих</i> 'уживчивость'	<i>къучагъ</i> 'удалец'
	<i>къавах</i> 'тополь'	<i>къуллугъчи</i> 'служащий'
	<i>къудух</i> 'осленок'	
	<i>къурухчи</i> 'надзиратель'	
	<i>къундах</i> 'приклад'	
	<i>къужах</i> 'объятия'	

То, что в 3-м столбце заимствования из азербайджанского, сомнений не вызывает: звонкость конечного согласного, восходящего к пратюркскому глухому, присуща из возможных тюркских источников только азербайджанскому. Но во 2-м столбце имеется некоторое количество также определенно не кыпчакских, а азербайджанских основ, это *къужах* 'объятия' (ср. озвончение интервокального ч после огузской долготы), *къундах* 'приклад' (ср. кум. *къуннакъ*). Кроме того, для кыпчакских языков нехарактерен немотивированный огубленный гласный непервого слога, так что все слова, содержащие его, также следует считать определенно азербайджанскими заимствованиями. Можно заметить, что ровно такой рефлекс старого глухого -q на конце неодносложной основы наблюдается в части диалектов азербайджанского языка: в западных, южных и северных (см. [СИГТЯ РР 2002: 91–92]). Из этих диалектов различение лабиализованного и нелабиализованного во 2-м слоге сохраняют северо-восточные, т. е. именно контактные с лезгинским. Таким образом, естественно предположить, что здесь мы имеем дело с разными источниками: в случае с *хъ* – это заимствования из северного диалекта, а в случае с *гъ* – это заимствования из восточного диалекта или из литературного языка⁶.

По-видимому, точно так же объясняется разноречивость в табасаранском отражении конечных гуттуральных. Возьмем только те случаи, когда, судя по отражению начального согласного, мы имеем дело именно с заимствованиями в табасаранском языке, а не через лезгинский язык. Здесь встречается как *х* – увулярный глухой спирант (*гъайгъанах* 'яичница', *гъаймах* 'сливки', *гъармах* 'крюк'), так и *гъ* – увулярный звонкий спирант (*гъалтагъ* 'ленчик', *гъачагъ* 'разбойник', *гъишлагъ* 'зимнее пастбище', *гъавагъ* 'тополь', *гъудугъ* 'осленок', *гъунагъ* 'кунак' и др.). По-видимому, они также из разных азербайджанских диалектов.

Рассмотрим теперь адаптацию тюркских заднеязычных в лакском и даргинском языках. Системы с тройным противопоставлением отли-

⁶ Случай, когда конечный заднеязычный слов тюркского происхождения с заднерядными гласными адаптируется как велярный, а не увулярный, следует, видимо, считать заимствованиями через русский язык, ср.: *башмакъ* 'башмак', *кишлакъ* 'зимнее пастбище, кишлак'.

Таблица 7

	Взрывные				Фрикативные		
	Звонкие	Глухие непридыхательные/ сильные	Глухие придыхательные	Абруптивные	Звонкие	Глухие	Глухие сильные
Велярные	g	kk ⁷	k	kʃ	j	xь	(xьxь)
Увулярные		kъ	xъ	kʃ	gъ	x	(xx)

Основная проблема – источник тюркизмов в данных языках. Традиционно считается, что эти языки заимствовали в основном из кумыкского, а азербайджанских заимствований в них мало. В принципе азербайджанские и кумыкские заимствования должны различаться по фонетике, но следует заметить, что кумыкский язык является по консонантизму не вполне типично кыпчакским, в частности он допускает в переднерядных словах звонкий согласный в анлауте. В заднерядных словах в анлауте, в отличие от азербайджанского, литературный кумыкский имеет только глухой kъ, но в буйнакском диалекте кумыкского языка начальная kъ произносится звонко. Впрочем, буйнакский диалект с лакским языком не контактирует. Таким образом, в качестве основного отличия следует ожидать отсутствие в кумыкской лексике звонкости на конце в переднерядных словах и глухой взрывной (возможно, придыхательный, но не аффриката) на конце заднерядных слов. В прочих случаях вопрос об источнике заимствования решается только по косвенным данным.

а) Слова с переднерядными звуками – в анлауте

Достаточно легко устанавливается источник заимствования, например, в следующих случаях: лак. *жамы* ‘судно’, лак. *жалин, галин* (диал.) ‘невеста’ – из азербайджанского, точнее эта лексика заимствована из восточноазербайджанского, для которого характерен переход *g > ж*; лак. *чатан* ‘льняное полотно, холст’; лак. *гуж* ‘сила, мощь; мощность; напор, усилие; насилие’ и дарг. *гуж* ‘сила, мощь; насилие, гнет’, также из азербайджанского, т. к. видим огузское озвончение, тогда как в кумыкском *гюч*. В случаях: лак. *куч шаву* ‘кочевка, кочевье’ при аз. *көч* и кум. *гёч* и лак. *капак* ‘мука низкого качества’ при аз. *кәпәк* и кум. *гебек* ‘отруби, высевки’ источником заимствования, несомненно, является азербайджанский (в аз. глухой при кум. звонком).

В следующих примерах источником заимствования может быть равно как азербайджанский, так и кумыкский: аз. *кәрт*, кум. *керт* > лак. *карт* ‘насечка’, аз. *кәтук*, кум. *куьтук* > лак. *кутук* ‘пень, чурбан; колодка; корешок’, аз. *кәжәк*, кум. *гесек* > лак. *ка-сак* ‘кусочек, ломтик’, аз. *өрдәк*, кум. *оьрдек* > лак. *урдак* ‘утка’.

– в ауслауте: практически всегда конец глухой. При этом в ряде случаев можно точно установить, что заимствования из кумыкского, например, кум. *тёшек* > лак. *тушак* ‘матрац, набитый ватой, тряпьем’, потому что в аз. *дишек*. В некоторых случаях происхождение слова точно не определяется, например, аз. *јук* ‘груз, багаж, тяжесть’, кум. *юк* ‘груз, ноша’ > лак. *юк* ‘нагрузка’, аз. *сејрәк*, кум. *сийрек* > лак. *сайраксса* ‘редкий, негустой’, аз. *тәк*, кум. *тек* > лак. *так* ‘только, лишь’, но из общих соображений можно предположить, что здесь именно кумыкские заимствования, поскольку глухой рефлекс. В целом можно сделать вывод, что заднеязычные в переднерядных словах передаются буквально.

б) Слова с заднерядными звуками – в анлауте

⁷ Кк представлен в чирагском и кубачинском диалектах даргинского [NCED 1994: 116–118].

В нашем материале имеется определенное число заимствований, которые можно проинтерпретировать только как азербайджанизмы: а) лак. *къанжигъ* 'ведьма', лак. *къилинж* 'меч' (с огузским озвончением, ср. аз. *ганчыг*, *гылынч*, кум. *къанчыкъ*, *къылыч*), б) дарг. *къундахъ* 'приклад' (отсутствие кумыкской ассимиляции, ср. аз. *гундаг*, кум. *къуннакъ*). Что касается лак. *къавахъ* 'тыква' и лак., дарг. *къараваши* 'служанка', скорее всего перед нами кумыкизмы, ср. кум. *къабакъ*, *къараваши*, однако, если рассмотреть азербайджанскую версию, то в ее пользу говорит огузская спондантизация *b* (при аз. литер. *габаг*, *гараваши* в западной группе азербайджанских диалектов, территориально расположенной ближе к лакскому, имеем *гаваг*, *гараваши*).

С другой стороны, утверждать относительно именно кумыкского источника заимствования можно в таких случаях, как дарг. *къабакъ* 'тыква' (отсутствие огузской спондантизации, глухая придыхательная аффриката на конце) и лак. *къуннагъ* 'приклад' (кумыкская ассимиляция, ср. аз. *гундаг*, кум. *къуннакъ*). Остальные случаи могут быть приблизительно с равной вероятностью проинтерпретированы и как азербайджанизмы, и как кумыкизмы. Во всяком случае, мы видим, что и начальная азербайджанская *g*, и кумыкская *къ* реализуются как *къ* в начале слова.

Таблица 8

Лакский

В начале	В середине	В конце
<p>1) <i>къаз</i> 'журавль', <i>къавахъ</i> 'тыква', <i>къазан</i> 'котел', <i>къазихъ</i> 'шест; копьё', <i>къайгъу</i> 'забота', <i>къала</i> 'укрепление', <i>къалай</i> 'олово', <i>къалмакъал</i> 'скандал', <i>къалтагъ</i> 'ленчик', <i>къалхъан</i> 'щит', <i>къанжигъ</i> 'ведьма', <i>къап</i> 'большой мешок', <i>къапаз</i> 'разг. тумак', <i>къапу</i> 'ворота', <i>къаплан</i> 'львица', <i>къараваши</i> 'служанка', <i>къаралти</i> 'силуэт', <i>къаргъа</i> 'ворона', <i>къари</i> 'старая жен.', <i>къармах</i> 'крючок', <i>къарал</i> 'стража', <i>къат</i> 'слой', <i>къилинж</i> 'меч', <i>къин</i> 'ножны', <i>къирагъ</i> 'окраина', <i>къавурма</i> 'кавурма', <i>къучагъ</i> 'храбрец', <i>къужа</i> 'старик', <i>къуллугъ</i> 'служба', <i>къуннагъ</i> 'приклад'.</p> <p>2) <i>кказа</i>, даргин. <i>газа</i> 'кирка, мотыга' < исконное, см. [NCED 1994: 431] *<i>газай</i>.</p> <p>3) <i>гъиди</i>, дарг. <i>гиди-гиди</i> 'щекотка' < искон., см. [NCED 1994: 432] для лак. этот рефлекс не закономерный, скорее, это контаминация азерб. и исконного слова.</p>	<p>1) <i>агъа</i> 'разг. господин, важное лицо', <i>агъу</i> 'яд, отравка', <i>азгъунсса</i> 'необузданный', <i>багъманчи</i> 'садовник', <i>бугъаз</i> 'место, где скопилась вода', <i>бугъма</i> 'дифтерия', <i>бугъа</i> 'бык', <i>бургъу</i> 'труба'.</p> <p>2) <i>бошкъап</i> 'тарелка, блюдо', <i>байкъуи</i> 'перен. бедняга' (перед нами композиты, и <i>къ</i> отражается по законам начала слова).</p> <p>3) <i>архъа</i> ~ <i>алхъа</i> 'родня', <i>бахча</i> 'огород', <i>басхун</i> 'давка', <i>бухчакарици</i> 'подарок новобрачной': примеры буквально отображают азерб. х.</p>	<p>1) <i>азихъ</i> 'провизия', <i>башилихъ</i> 'башлык', <i>къавахъ</i> 'тыква', <i>къазихъ</i> 'шест; копьё, кол'.</p> <p>2) <i>бугъ</i> 'духота', <i>балугъ</i> 'рыба', <i>буллугъ(сса)</i> 'обильный, богатый', <i>булагъ</i> 'источник', <i>къаймагъ</i> 'сливки с кипяченого молока', <i>къалтагъ</i> 'ленчик', <i>къанжигъ</i> 'ведьма', <i>къучагъ</i> 'храбрец', <i>къуллугъ</i> 'служба', <i>къуннагъ</i> 'приклад'.</p> <p>3) <i>паимакъ</i> 'башмак' – явно из русского.</p>

– в ауслауте: интерпретация рефлексов в лакском довольно проблематична. Что касается первой группы слов 3-го столбца, то по фонетическому облику перед нами азербайджанизмы, но именно из западной группы диалектов, для которых характерен в зад-

нерядных словах конечный глухой *х*. По поводу 2-й группы слов можно было бы считать, что звонкий спирант (фрикативный) *гъ* отражает азербайджанскую звонкую фонему, но этому противоречит следующий пример: лак. *къуниагъ* 'приклад' < кумыкизм из-за срединной ассимиляции.

Возможно, сильные междиалектные колебания смазывают отношения между различными фонологическими системами.

Таблица 9

Даргинский

В начале	В конце
<p>1) <i>къабакъ</i> 'тыква', <i>къаз</i> 'журавль', <i>къадагъа</i> 'запрет', <i>къазан</i> 'котел', <i>къазихъ</i> 'кол, свая, крючок', <i>къайгъи</i> 'забота', <i>къаймакъ</i> 'сливки', <i>къала</i> 'укрепление', <i>къалай</i> 'олово', <i>къалмакъал</i> 'скандал', <i>къалхан</i> 'щит', <i>къап</i> 'кобура; наволочка', <i>къапу</i> 'арка', <i>къаплан</i> 'тигр', <i>къараваиш</i> 'служанка', <i>къардаиш</i> 'разг. братец, друг', <i>къармакъ</i> 'крючок', <i>къараул</i> 'стража', <i>къарчигъа</i> 'сокол', <i>къат</i> 'слой', <i>къашиав</i> 'скребница', <i>къиликъ</i> 'поступок', <i>къучакъ</i> 'храбрец', <i>къуллукъ</i> 'служба', <i>къундахъ</i> 'приклад'.</p> <p>2) <i>гъум</i> 'песок', <i>хундуз</i> 'бобер; выдра' – это, видимо, внутриязыковые междиалектные колебания.</p>	<p>1) <i>балихъ</i> 'рыба', <i>башлихъ</i> 'башлык', <i>буйрухъ</i> 'приказ', <i>къундахъ</i> 'приклад', <i>къазихъ</i> 'кол, свая'.</p> <p>2) <i>къабакъ</i> 'тыква', <i>къаякъ</i> 'лодка', <i>къаймакъ</i> 'сливки', <i>къармакъ</i> 'крючок', <i>къиликъ</i> 'поступок', <i>къучакъ</i> 'храбрец', <i>къуллукъ</i> 'служба' и др.</p> <p>3) <i>башмакъ</i> 'башмак' < рус.</p>

В даргинском, по-видимому, следует полагать, что сильная непридыхательная фонема *-къ* является отражением кумыкской придыхательной увулярной *-къ*, а глухая придыхательная аффриката *-хъ* отражает азербайджанский спирант *-х* в словах западного диалекта. Следовательно, в даргинском языке источник тюркского заимствования можно определить по данному признаку.

Рассмотрим теперь адаптацию тюркских заднеязычных в чеченском языке. Система заднеязычных в чеченском языке имеет тройное противопоставление взрывных велярных и двойное противопоставление взрывных увулярных.

Таблица 10

	Взрывные			Фрикативные	
	Звонкие	Глухие придыхательные	Абруптивные	Звонкие	Глухие
Велярн.	<i>г</i>	<i>к</i>	<i>кʎ</i>		
Увулярн.		<i>кх</i>	<i>къ</i>	<i>гʎ</i>	<i>х</i>

По данным материала, основная масса тюркских заимствований идет из кумыкского языка, причем из хасавюртовского и терского диалектов, носители которых контактируют с чеченским языком. Кроме того, на наш взгляд, по экстралингвистическим данным в чеченском могут быть и балкарские заимствования. Для различения кумыкизмов и балкаризов, а также для соотношения их с чеченскими тюркизмами, надо иметь в ви-

ду, что звонкая *г*-наличествует в кумыкском в начале переднерядных слов и заднерядных в диалектах. В балкарском в начале переднерядных слов – глухая *к*-.

а) Слова с переднерядными звуками (найдено лишь несколько слов) – в анлауте: *кема* ‘лодка, пароход’ – это балкаризм (ср. балк. *кеме*, аз. *гемме*, в кумыкском слово отсутствует); *куьзга* ‘зеркало’ – также балкаризм, т. к. в кумыкском звонкая фонема (ср. балк. *куьзгу*, кум. *гюзгю*).

– в ауслауте: *чийлик* ‘деревянное ведро’ – можно интерпретировать и как кумыкизм, и как балкаризм (ср. кум., балк. *челек*).

б) Слова с заднерядными звуками – в анлауте: *глабакх* ‘тыква’, *глаз* ‘гусь’, *глайгла* ‘забота’, *гала* ‘город’, *глан* ‘ворота’, *гларбац* ‘служанка’, *гларолхо* ‘охрана’, *гларгла* ‘ястреб’, *глурма* ‘жаркое’, *гуллакх* ‘служба’, *глум* ‘песок’, *глайракх* ‘осколок’, *гландалгла* ‘клоп’, *глулч* ‘шаг, кубическая сажень дров’, *гумагла* ‘кумган’, *глуркх* ‘жердь’. Среди данных заимствований есть слова, которые можно точно отнести к кумыкизмам по фонетическому облику: *глайракх* ‘оселок’ – есть только в кумыкском *къайракъ* ‘оселок, брусок точильный’ и в словах кыпчакской группы; *гландалгла* ‘клоп’ (ср. кум. *къаннала*, но азерб. *кэнэ*, в балкарском нет). По тому, как в данных словах начальный кумыкский *къ* реализуется в чеченском в виде увулярного фрикативного *gl*, наверное, и другие заимствования, передающие такое же отражение, можно считать кумыкизмами.

– в ауслауте: *атийокх* ‘кукушка’, *глабакх* ‘тыква’, *гуллакх* ‘служба’, *йовлакх* ‘платок’, *мекх* ‘ус’, *тохк* ‘сытый’, *тутмакх* ‘арестант’, *урчакх* ‘веретено’, *чабакх* ‘лещ’, *сабрам-секх* ‘чеснок’, но *байракъ* ‘флаг’. Определенно кумыкским заимствованием можно назвать *йовлакх* ‘платок’ по реализации *-в-* (ср.: кум. *явлукъ*, балк. *зав^олук*, азерб. *јајлыг*). А конечная чеченская взрывная увулярная глухая *-кх* может отражать и кумыкскую *-къ*, и балкарскую *-к* заднеязычную смычную глухую. Из данной системы отражений выпадает слово *байракъ* ‘флаг’ с конечной увулярной абруптивной фонемой. Возможно, это графическое заимствование из кумыкского или балкарского.

Рассмотрим теперь адаптацию тюркских заднеязычных в аваро-андо-цезских языках.

В аваро-андо-цезских языках ожидаем в основном кумыкские заимствования. Но в собственно аварском могут быть азербайджанские заимствования как из северо-восточной группы, так и из северо-западной (закатало-кахской). Кроме того, надо учесть, что аварцы контактировали с кумыками на юге, где распространен буйнакский диалект, который по некоторым особенностям сближается с азербайджанским языком: наличие удвоенных согласных в интервокале в корне; звонкое произношение начального *къ-*.

а) Слова с переднерядными звуками. Заметим, что примеров на переднерядные слова очень мало.

– в анлауте: авар. *гочин* ‘кочевка, переселение’ < кум. *гёч*; авар. *гучук* ‘щенок’ < кум. *гючюк* (кумыкское озвончение, которого нет в азербайджанском, ср. азерб. *көч*, *күчүк*); *гуч* ‘сила, мощь; мощность; насилие’ – по фонетическим признакам может быть и азербайджанским, и кумыкским заимствованием (ср. кум. *гюч*, аз. *күч*), но по общим соображениям, скорее всего, кумыкизм. Следующие примеры можно отнести как к кумыкским заимствованиям, так и к азербайджанским: *катан* ‘марля’ (ср. кум. *кетен*, аз. *кэтан*); *киса* ‘карман’ (ср. кум. *кисе*, аз. *кисэ*); *куса* ‘безбородый’ (ср. кум., аз. *коса*).

– в ауслауте: авар. *терлек* ‘потник’, авар. *ордек* ‘утка’. Судя по конечной глухой, перед нами, скорее всего, кумыкизмы.

б) Слова с заднерядными звуками – в анлауте: примеры распадаются на 2 группы:
1) с рефлексом *хъ*: *хъазан* ‘котел’; *хъабахъ* ‘тыква’; *хъала* ‘укрепление’; *хъалхъан* ‘щит’; *хъап* ‘тара, мешок’; *хъапас* ‘подзатыльник’; *хъаравул* ‘стража’; *хъарчигъа* ‘ястреб’; *хъергъу* ‘ястреб-перепелятник’; *хъирмиз* ‘краска’; *хъутур* ‘веснушка’; *хъулухъ* ‘служба’; *хъундагъ* ‘приклад’;

2) с рефлексом гъ: *гъалай* 'олово'; *гъалмагъир* 'ссора, скандал'; *гъалтахъ* 'ленчик'; *гъаплан* 'тигр'; *гъараваши* 'раб'; *гъаралди* 'силуэт'; *гъарачи* 'грабитель'; *гъармахъ* 'крючок'; *гъат* 'слой'; *гъулайаб* 'легкий'.

Фонетически первая группа слов отражает слова кумыкского литературного языка, а вторая группа – скорее всего, кумыкского южного диалекта, для которого характерно озвончение начального къ.

– в ауслауте:

Все слова на конце дают рефлекс хъ: *буюрухъ* 'приказ'; *аьряхъ* 'стог сена'; *ачихъ(аб)* 'открытый, ясный'; *башилхъ* ~ *пашлихъ* 'башлык'; *хъабахъ* ~ 'тыква'; *гъалтахъ* 'ленчик'; *гъармахъ* 'крючок'. Это заимствования из кумыкского языка, т.к. данный рефлекс может фонетически соответствовать только кумыкской глухой придыхательной аффрикате къ в конечной позиции заднерядных слов. Слово *хъундагъ* 'приклад' – азербайджанизм, т.к. по срединному сочетанию и реализации конечного звонкого соответствует азербайджанской фонологической системе (ср. аз. *гундаг*, кум. *къуннакъ*).

В андо-цезских языках также присутствуют тюркизмы. Теоретически андо-цезские языки не находятся в непосредственном контакте с тюркскими языками, но поскольку носители этих языков хорошо владеют аварским, в их лексике налицо его значительное влияние. Следовательно, мы ожидаем, во-первых, резкое уменьшение в этих языках тюркизмов, во-вторых, они, скорее всего, были заимствованы через аварский или его диалекты. Отсюда и сильные фонетические колебания в отражении тюркизмов.

– в анлауте:

андийский: *хъаахъ* 'тыква', *хъачиргъа* 'ястреб'

ахвахский: *къабакъо* 'тыква' – велярный? – может, из русского?

багвалинский: *хъаз* 'гусь', *хъаравул* 'караульный', *хъулухъ* 'должность', но *гъалмагъал* 'скандал', *гъарабаши* 'служанка', *гъилихъ* 'уважение', но *къачагъ* 'бандит'

тиндинский: *хъази* 'орел-стервятник', *хъазан* 'чугун', *хъала* 'крепость', *хъараву/хъаравул* 'охранник', *хъулухъи* 'должность; дело', но *гъалмагъал* 'скандал, переполох', *гъалтахъи* 'верзила', *гъарабашии* 'служанка', *гъолбаси* 'подпись', но *къачагъав* 'бандит'

чамалинский: *къарцигъа* 'ястреб', *боръхицъв* 'тиски' < авар. *буравгъвецъ* < кум. *бурав*

бежтинский: *къабах* 'тыква', но *къоргиян* 'ястреб'

гунзибский: *къабах* 'тыква', но *хъаза* 'котел'

цезский: *хъазан* 'котел', но *каву* 'ворота'

– в ауслауте:

андийский: *хъаахъ* 'тыква', *йавлухъ* 'платок'

ахвахский: *къабакъо* 'тыква'

багвалинский: *байрахъ* 'знамя', *хъулухъ* 'должность'

тиндинский: *байрахъи* 'знамя, флаг', *хъулухъи* 'должность; дело', *йавлухъи* 'носовой платок, головной платочек'

бежтинский: *къабах* 'тыква'

гунзибский: *къабах* 'тыква'

цезский: *байрахъ* 'знамя, флаг'

Заметим лишь, что близость в андийских языках – багвалинского и тиндинского и в восточноцезской группе – бежтинского и гунзибского по генетическому признаку наблюдается и в заимствованиях (см. примеры).

Таким образом, анализ адаптации заднеязычных согласных при заимствовании тюркской лексики в нахско-дагестанские языки показывает, что большинство систем принимающих языков по-своему отражают тюркские заднеязычные согласные. В исследованиях по тюркско-кавказским языковым контактам имеется общее убеждение, что поскольку кавказская консонантная система больше тюркской, то ничего интересного при адаптации происходить не может, следует ожидать лобовой адаптации фонем. Однако наш анализ показывает, что если учитывать реализацию тюркских фонем в каждом кавказском языке или родственной группе языков нижнего уровня и при этом ана-

лизировать всю встречающуюся лексику, а не судить по большинству, то обнаружится довольно сложная картина. Оказывается, практически в каждом принимающем языке с помощью сведений о фонетической адаптации можно выделить лексику, заимствованную из разных тюркских источников. Большое значение для адаптации конкретных фонем имеет устройство фонологической системы и фонетическая реализация фонем в диалекте-источнике. Однако и внутреннее устройство фонологической системы принимающего языка также играет несомненную роль.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- СИГТЯ ПЯ 2006 – Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Пратюркский язык-основа. М., 2006.
- СИГТЯ РР 2002 – Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Региональные реконструкции. М., 2002.
- Талибов 1980 – Б.Б. Талибов. Сравнительная фонетика лезгинских языков. М., 1980.
- NCED 1994 – S.L. Nikolayev, S.A. Starostin. A North Caucasian etymological dictionary. М., 1994.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 2007 г. Г.Ф. БЛАГОВА

**ПЛЕЯДА ВОСТОКОВЕДОВ-ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
В ПРОТИВОСТОЯНИИ НОВОЙ И СТАРОЙ ШКОЛ
(ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX в.)***

Работа выполнена в серии «Очерки по историографии тюркского языкознания». Обращение к полузабытым и архивному тезисам Самойловича о двух школах тюркологии в России, специфике развития научной школы тюркского языкознания, расширение источниковой базы за счет введения в научный оборот эпистолярного архива ученого, разработка методики использования документов личного происхождения – все это позволяет предложить новую трактовку основополагающих историографических проблем, в том числе известного, но недостаточно объясняемого противостояния востоковедов на Факультете восточных языков Санкт-Петербургского университета в первые десятилетия XX века.

Александр Николаевич Самойлович (17/29.12.1880–13.02.1938) был российским тюркологом широкого профиля: лингвист, историк среднеазиатско-тюркских литератур и литературных языков, знаток средневековых тюркских рукописей; специалистам хорошо известны также его работы по фольклору и этнографии тюркских народов. В 2005 г. издательством «Восточная литература» в серии «Классики отечественного востоковедения» был издан однотомник избранных его трудов [Самойлович 2005].

В настоящее время нами готовится к печати книга «Александр Николаевич Самойлович: научная переписка и биография. К 70-летию со дня гибели».

Научная переписка А.Н. Самойловича, материалы которой разрознены, в основном, по фондам двух архивохранилищ – Отдела рукописей Российской национальной библиотеки (РНБ) в Петербурге и Санкт-Петербургского филиала Архива РАН (ПФА-РАН), бесценна как своей временной протяженностью (охватывает всю первую треть XX в.), так и широким кругом адресатов, среди которых не только выдающиеся тюркологи, но и востоковеды других профилей. Объясняется это тем, что Самойлович с молодых лет добровольно принял на себя миссию творческого объединения тюркологов и алтаистов, причем одним из средств объединения для него была переписка; именно поэтому его ученая корреспонденция так обширна и охватывает плеяду востоковедов этого периода. Представления о ценности этой совокупности писем должны соизмеряться с убеждением Самойловича, что научная переписка является одной из сторон научной деятельности ученого [Самойлович 2005: 138].

* Статья, относящаяся к циклу разрабатываемых нами очерков по историографии отечественной тюркологии, выполнена при поддержке РГНФ, проект № 06-04-00167А. В статье сохранена терминология, которой пользовались востоковеды первой трети XX века: «турецкие языки» вместо «тюркские языки», «турколог» вместо «тюрколог» и т.д.

В переписке освещается последовательный ход истории тюркологии (отчасти и востоковедения) в изменяющейся России дооктябрьского и первых десятилетий послеоктябрьского периодов. Историкографические аспекты поставленной нами проблемы «противостояние новой и старой школ востоковедения» рассматриваются ниже на двух уровнях. На первом уровне изучается развитие новой школы вопреки сопротивлению старой школы. Второй уровень посвящен лаконичной характеристике отдельных ученых – представителей новой и старой школ; при этом нами сознательно допущен понятный перекос внимания к фигурантам Переписки – в их отношении к новым научным веяниям и в их взаимоотношениях с А.Н. Самойловичем. Изложение на двух уровнях, перемежаясь одно с другим, идет как бы параллельно. В известной мере изложение оживляется описанием наиболее заметных событий в научной жизни, деталями быта и пр.

Научную переписку нельзя не признать одним из репрезентативных источников для историографии отечественного востоковедения и прежде всего – для его микроистории. Актуализация микроистории (и одновременно специфичного для нее микроподхода) в современной системе дисциплин исторического цикла предполагает особое исследовательское внимание к индивидуальному, и в первую очередь – к личным творческим взаимоотношениям между учеными [ВИ 2004. № 2: 164 и сл.].

Анализ Переписки и широкое привлечение других архивных материалов позволили осветить два аспекта (их можно было бы чисто условно назвать «негативным» и «позитивным»), одинаково важных для науковедения и одинаково мало изученных в системном отношении. С одной стороны («негативный аспект»), это феномен «противостояния» между группами отечественных востоковедов на рубеже XIX–XX вв. С другой стороны («позитивный аспект»), тот же исследовательский материал позволяет увидеть не только деловые, но и истинно дружеские взаимоотношения между представителями новой школы, консолидацию творческих устремлений и усилий по укреплению и дальнейшему развитию школы, их заботу о подающих надежды «юных ориенталистах» (выражение И.Ю. Крачковского), к приобщению этих последних к новейшим достижениям западноевропейской науки, воспитанию у них вкуса и стремления работать по этой методике. Молодые ученые получали как бы подпитку от своих старших коллег различных специальностей.

Извлеченные из Переписки конкретные факты не могут не способствовать нашему стремлению воссоздать в историографических разысканиях живую ткань отдельной человеческой судьбы, человеческой души [ВИ 2004. № 2: 164]. Естественно, что для этих целей был использован микроподход к каждому эпистолярному тексту и к его детальному комментированию; привлекались в известной мере также другие документы личного происхождения.

В работе поставлены следующие конкретные науковедческие вопросы: 1) дополнить и уточнить в деталях научную биографию А.Н. Самойловича; 2) по возможности системно рассмотреть такой малоисследованный феномен жизни факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета рубежа XIX–XX вв., как «непримиримые противостояния» не отдельных лиц, а целых групп отечественных востоковедов на рубеже XIX–XX вв.

О «непримиримых противостояниях» упоминают В.В. Наумкин и И.М. Смилянская в Предисловии ко II выпуску «Неизвестных страниц отечественного востоковедения» – по поводу публикуемой там Переписки В.Р. Розена и С.Ф. Ольденбурга: эта переписка «передает атмосферу как деловых и дружеских отношений, так и непримиримых противостояний на почве различий общественно-политических взглядов или соперничества в среде университетской профессуры» [Неизвестные страницы. II: 6]. Разумеется, нельзя не принимать во внимание таких объективно существовавших причин, как соперничество в среде профессуры и различие общественно-политических взглядов и – добавим – резких различий в социальном происхождении и социальном положении, как, например, в случае В.Д. Смирнова, в 8 лет ставшего «неимущим сиротой», и его университетских товарищей, а ими «были барон В.Р. Розен и К.Г. Залеман, впоследствии – академики» [Самойлович 1923: 208].

Нельзя не отметить однако, что различными были, например, общественно-политические взгляды В.Р. Розена и С.Ф. Ольденбурга, но в своих письмах ученые практически не затрагивали этих вопросов, и различия не сказывались на их деловой, дружеской переписке, на воистину родственной заботе друг о друге. Точно так же в случае, где речь шла об общем деле, к которому желательно было привлечь побольше единомышленников, преодолевались и личная неприязнь, и личная антипатия. См., к примеру, обмен мнениями о П.М. Мелиоранском в письмах С.Ф. Ольденбурга и В.Р. Розена (соответственно от 3/15.XII.1893 г. и 13/25.XII.1893 г.), с одной стороны, а с другой, позднее – сведения о фактах сотрудничества с ним (письма от 1.V.1903 г. и 6/19.V.1903 г.) [Розен–Ольденбург 2004: 271, 273, 274 и 340, 341]; см. также заботу В.Р. Розена о проведении его ученика В.В. Бартольда, а вместе с ним и П.М. Мелиоранского в профессора (письмо Розена от 6/19.II.1901 г.) [Там же: 324]. Все это свидетельствует о том, что при рассмотрении вопроса о противостоянии необходимо также иметь в виду и другие документально зафиксированные причины.

Как нам представляется, при объяснении «непримиримых противостояний» необходимо учитывать также тот зафиксированный Самойловичем факт, что с 60-х гг. XIX в. начался переходный период «смены средневековья нашей науки новой историей» [Самойлович 1925: 172], а в конце XIX в. академики В.Р. Розен и К.Г. Залеман смогли «основать на факультете <восточных языков Санкт-Петербургского университета> новую школу научного востоковедения» [Самойлович 1923: 208]. Становление новой школы продолжалось, как это видно из Переписки, и в первые десятилетия XX в. В тюркологии переходный период ознаменовался тем, что 1) «на первый план на много лет выдвинулось изучение живых наречий в духе новых требований научного языкознания» [Самойлович 1925: 172]; 2) присущее отечественному востоковедению кропотливое и тщательное изучение памятников в сочетании с новыми, более совершенными методами вело к становлению комплексной лингвотекстологической методики и, приобретая черты системности, открывало путь к важным обобщениям. Это новое научное течение требовавшее специальной лингвистической подготовки, творческого овладения существующей (в том числе – западноевропейской) литературой по этой тематике, с годами все более крепло, своей новизной и перспективностью привлекая одаренную молодежь («юных ориенталистов»). Консервативные представители старой школы реагировали на сложившуюся ситуацию недовольством и ревностью, в чем и был, по нашему мнению, корень непримиримых противостояний.

Таким образом, нами предложено рассматривать это явление в принципиально новом аспекте; в этих целях привлекаются имеющиеся публикации (хотя бы и косвенно касающиеся изучаемого объекта).

Поставленные науковедческие проблемы не получили сколько-нибудь систематического освещения в историографии тюркологии. До последнего времени архивные сведения и факты из Переписки Самойловича были введены в научный оборот лишь по мере их практической надобности [Самойлович 2005: 17 и сл.]¹. Невостребованными оказались высказывания классиков тюркологии по этой тематике, в том числе и в опубликованных, но раритетных статье Самойловича о Березине и написанном им некрологе В.Д. Смирнова. Если же факты, высказывания такого рода приводились в печати, то освещались они сугубо как единичные, см., например о резко негативном выступлении лектора-сирийца А. Хащаба при защите И.Ю. Крачковским магистерской диссертации 17(30).V.1915 г. [Долинина 1994: 139 и сл.]. Между тем в том же 1915 г. (на 4 месяца раньше), в том же Совете факультета восточных языков защищался Самойлович – присутствовали те же члены Совета, и среди них люди, затуманенные теми же тенденциями неприязни к соискателю, что и на защите Крачковского (см. ниже), и потому именно, что оба соискателя были представителями один – новой тюркологии, другой – новой

¹ Использование архивных материалов такого рода, касающихся другого тюрколога, см. [Иванов 1973: 13 и сл.; Кокова 1993].

арабистики. Небезынтересно отметить, что в случае И.Ю. Крачковского эта тенденция была усугублена соперничеством лектора-сирийца, автора учебника арабского языка, по отношению к молодому соискателю, см. наблюдение Самойловича в его письме к И.Ю. Крачковскому от 26.VI.1914 г., хотя в более раннем письме (от 26.VII.1911 г.)² Крачковский явно причисляет Хацаба к «нашему лагерю». Но прошло 3 года, Крачковский готовится к защите – и отношение Хацаба к нему резко изменилось. Во время защиты Хацаб в своей неприязни к соискателю опирался на моральную поддержку представителей старой школы (свидетельство В.А. Крачковской) [Долинина 1994: 140].

Невнимание исследователей к этим немаловажным сторонам научной жизни востоковедов в конце XIX – первые десятилетия XX в. не могло не сказаться на отсутствии в современном учебном курсе «Введение в тюркологию» необходимых сведений даже о самом факте существования новых и старых востоковедных научных школ, о противостояниях представителей этих школ, носивших как чисто научный характер, так и административно-организационный.

Именно при учете разного рода противостояний, отраженных в Переписке, возникает возможность хотя бы поставить задачу на будущее: углубленно исследовать пути становления и развития прогрессивного востоковедения в России на рубеже XIX–XX вв., используя для этого изучение конкретных ситуаций научной жизни в этой области и широкое привлечение архивных материалов.

При целенаправленной работе над Перепиской мы прибегли к *совокупности* следующих *методических приемов*. Суть *первого из них* – возможное расширение материала за счет систематического обращения к фондам фигурантов Переписки. В результате к публикации подготовлена как двусторонняя сплошная переписка Самойловича с выдающимися современниками (В.В. Бартольд, И.Ю. Крачковский, С.Е. Малов; представление о переписке с В.А. Гордлевским дает перепечатка статьи Н.А. Баскакова «А.Н. Самойлович в письмах к В.А. Гордлевскому», с обильной эпистолярной цитацией), так и сохранившиеся письма к нему других ученых (П.М. Мелиоранский, Б.Я. Владимирцов, Е.Д. Поливанов, А.А. Семенов, Н.Г. Маллицкий, А.Э. Шмидт, Н.К. Дмитриев, К.К. Юдахин, А.П. Поцелуевский, Т.И. Грунин, А.А. Зайончковский), а также письма Самойловича к Н.И. Ашмарину.

В соответствии с поставленными науковедческими задачами в процессе работы над этой статьей определен критерий отбора фактов из потока событий, которые оказались в поле внимания в эпистолярном наследии Самойловича.

Для осуществления поставленных науковедческих целей мы использовали еще один прием, тесно сопрягаемый с приемом «расширения». Суть этого *второго приема* – в собирании фактов, описания которых рассыпаны по письмам разных фигурантов и которые оказываются связаны с той или иной из поставленных проблем (т.е. «тема т и ч е - с к о е с о б и р а н и е»: собирание по крупницам, из которых, как из мозаики, восстанавливаются картины научной жизни прошлого), в концентрации, в систематизации и классификации полученных данных с последующим их комментированием. Использованием этого приема в соединении с микроподходом мы добиваемся эффекта «оживления» («анимации») давно происходивших событий, о конкретике которых узнаем «со слов их участников», т.е. по сведениям, собранным из разных архивных фондов. Вместе с тем такое собирание сведений по крупницам и мозаичность получаемых картин давно прошедшей жизни востоковедов определили структуру и жанр проведенного нами исследования: оно состоит из небольших разносюжетных новелл (каждая отделена от другой пробелом).

² Здесь и ниже приводятся цитаты из писем, хранящихся в петербургских архивах РНБ (Ф. 671: фонд Самойловича) и ПФАРАН (Ф. 782: фонд Самойловича; Ф. 68: фонд В.В. Бартольда; Ф. 1026: фонд И.Ю. Крачковского; Ф. 1079: фонд С.Е. Малова). Фрагменты писем А.Н. Самойловича к В.Г. Гордлевскому приводятся по публикации их Н.А. Баскаковым [Баскаков 1973].

Целесообразным и плодотворным оказался и *третий прием* – под тверждением слов очевидцев и участников анализируемых событий при помощи разных других документов и источников (как, например, ежегодные отчеты Самойловича в Академию наук, его записные книжки, синхронные публикации на определенную тему, некоторые документы личного происхождения и др.).

Комплексное применение микроподхода и названных методических приемов к совокупности публикуемых ниже писем обеспечило возможность использования этих писем в качестве надежной и достаточно широкой источниковой базы для исследования поставленной науковедческой проблемы, а это, в свою очередь, позволяло добиваться максимально приближенной к действительности интерпретации содержания текстов и тем самым способствовать более глубокому осмыслению изменяющихся ситуаций научной жизни востоковедения в изменяющейся России первой трети XX в. Этим же целям послужило также широкое привлечение материалов недавно изданной переписки учителя В.В. Бартольда, профессора-арабиста В.Р. Розена и буддолога акад. С.Ф. Ольденбурга [Розен–Ольденбург 2004].

Таким образом в соответствии с поставленными задачами нам пришлось синтезировать «в едином сюжете» разнообразие писем выдающихся востоковедов рубежа XIX–XX вв. Благодаря этому появилась возможность предварительно обрисовать «в лицах» деятелей как новых научных направлений, так и старой школы российского востоковедения, а также изменяющееся соотношение сил («молодые» и «старые») на протяжении первых десятилетий XX в. В результате оказывается, что исследование переписки ученых способствует раскрытию некоторых узловых проблем истории нашей науки.

В настоящее время тюркология располагает необходимыми справочно-энциклопедическими изданиями: «Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период» [Кононов 1989], «История изучения тюркских языков в России. Дооктябрьский период» [Кононов 1982], с одной стороны, а с другой – очерками Н.К. Дмитриева об изучении восточной филологии в Московском университете [Дмитриев 2001a], статьями Ф.Д. Ашнина, рядом статей и монографий Ф.Д. Ашнина и В.М. Алпатова, Д.М. Насилова [Ашнин, Алпатов 1996; Ашнин, Алпатов, Насилов 2002], а также Б.В. Лунина.

Тем не менее, нельзя отрицать, что в изучении этапов развития тюркологии и тюркского языкознания в изменяющейся России существует известная неравномерность. Например, А.Н. Самойлович в концептуальной статье «И.Н. Березин как тюрколог» (написана в 1919 г., напечатана в 1925 г. [Самойлович 1925]) дал глубокий анализ становления новой тюркологической школы в перспективе ее развития. Однако этот важный переходный период все еще недостаточно привлекал внимание современных нам историографов науки. Поэтому идеи Самойловича остались не востребованными, системно не осмыслены и не получили достойного отклика.

С 60-х годов XIX в., когда, по словам Самойловича, «в тюркологии на первый план на много лет выдвинулось изучение живых наречий в духе новых требований научного языкознания», в России зародилась новая самостоятельная дисциплина – тюркское языкознание. «Первым востоковедом-лингвистом в современном понимании этого термина был О.Н. Бётлингк (1815–1904), знаменитый санскритолог, вошедший в историю тюркологии как автор классического исследования “О языке якутов” (СПб., 1851)» [Кононов 1973: 12].

В статье «И.Н. Березин как тюрколог» А.Н. Самойлович дал концепт-проспект историографического описания того, как зарождалось тюркское языкознание в России; он назвал этот процесс «сменой средневековья нашей науки новой историей». Именно в этот период – 60-е годы XIX в. – наметилось размежевание двух тюркологических школ. Тезис о двух научных школах был сформулирован Самойловичем в черновых заготовках к некрологу П.М. Мелиоранского под заглавием «Труды, научные взгляды и заветы Мелиоранского (Мелиоранский как языковед-тюрколог)» (РНБ. Ф. 671. Д. 149, без даты); датировать эту архивную единицу мы предлагаем не позже лета 1906 г. Две

школы, по А.Н. Самойловичу: «I. Школа Казем-бека: Березин, Смирнов, Катанов, П. Школа Бётлингга: 1) Ильминский, Мелиоранский, 2) Радлов» Этот тезис впервые опубликован посмертно [Самойлович 2005: 123].

Как видим, обе школы представлены яркими учеными того времени, а размежевание школ производилось Самойловичем отнюдь не по территориальному признаку (т.е. по центрам преподавания тюркских языков – казанская, петербургская, московская школа, как это принято, между прочим, и до настоящего времени), но по методологическому принципу. При таком размежевании учитывалась суть лингвистических воззрений тюркологов, их отношение к передовой методологии. С этой точки зрения интерес представляют следующие факты. Березин и Ильминский, по словам Самойловича, были блестящими учениками Казем-бека («казанская школа»), но первый из них обнаружил полное отсутствие лингвистической подготовки и интереса к теории языкознания, к новой исследовательской методике. На этом основании он причислен к школе своего учителя. Между тем Ильминский благодаря изучению существовавшей в его время лингвистической литературы, в том числе отечественной русистики, общезыковедческой, а также и западноевропейской, сумел овладеть новейшей методикой, приобрести должную специализацию и на этой основе продвинулся в исследовании как живых тюркских языков и диалектов, так и издании памятников среднеазиатско-тюркской литературы; в соответствии с этим он отнесен к школе Бётлингга. В.Д. Смирнов, как впоследствии и Березин, был профессором факультета восточных языков С.-Петербургского университета и также был причислен Самойловичем к школе Казем-бека: оба были слишком связаны «с отжившей эпохой» [Самойлович 1925: 172].

Критериями новой школы были признаны следующие: 1) вычленение тюркского (шире – восточного) языкознания как особой дисциплины комплексного тюркологического (востоковедного) цикла; 2) «изучение живых наречий в духе новых требований научного языкознания», введение в научный обиход новых языковых данных, в результате – формирование «основного научного фонда» для исследования различных тюркских языков и диалектов, прежде не изучавшихся или малоизученных; 3) использование в этих целях новейшей лингвистической теории и методики, разработанной в Западной Европе; 4) при издании, переводе и всестороннем изучении старописьменных памятников – систематизация данных: орфографических (правописание памятника в связи с фонетикой), грамматических, словарных – с учетом историко-стиховедческого анализа текста, т.е. стремление соединять традиционное кропотливое изучение текста с новейшими методиками и подходами как языковедческими, так и литературоведческими.

Критерии литературоведческие: 1) исследовательское внимание к новейшей литературе на восточных языках; 2) сочетание «трех подходов к тексту в их органической связи: традиционный филологический, историко-литературный и литературно-эстетический с выходом к общим вопросам теории литературы»; 3) «использование новейших методов, одинаково обязательных для всех историко-литературных работ», цит. по [Долнина 1994: 137].

Как можно видеть, для любого из названных Самойловичем представителей новой школы тюркское языкознание было ключевым в научной деятельности. О.Н. Бётлингк проявил себя как автор знаменитой книги «О языке якутов», статей по турецкой грамматике, по якутскому языкознанию; Н.И. Ильминский – как первый исследователь грамматики и лексики казахского языка и туркменских говоров, татарского языка, а также языка «Бабур-наме» («джагатайского спряжения»); ведущий соавтор и редактор «Грамматики алтайского языка». В многообразном научном творчестве В.В. Радлова особое место занимают тюркская диалектография, лексикография, многочисленные фонетико-грамматические наблюдения над руническими и уйгурскими памятниками.

Как писал А.Н. Самойлович, «Березину одному из первых открылись цели тюркологии, <...>, но ему не удалось преодолеть подступов к путям достижения этих целей. Преодолевал подступы Бётлингк. Ильминский мощно двинулся было по верному пути к открытым уже целям, но иное призвание отвлекло его решительно в сторону. Радлову суждено было возглавить новую эпоху нашей науки» [Самойлович 1925: 172].

Василий Васильевич Радлов (Friedrich Wilhelm Radloff) (1837–1918), «питомец Берлинского университета, нашел в России, куда прибыл летом 1858 г., все необходимое для работы и жизни, которая отчетливо делится на три периода: алтайский (1859–1871), казанский (1871–1884), петербургский-петроградский (1884–1918)» [Кононов 1972: 8]. Его научные поездки по Алтаю (начиная с лета 1860 г.), Восточной Киргизской степи (1862), Хакасии (1863), Семиречью (1868–1869) позволили собрать богатый лингвистико-фольклорно-этнографический материал, вошедший в «Образцы народной литературы тюркских племен» [Радлов 1866–1872]. В двухтомном труде «Aus Sibirien» (с подзаголовком «Из дневника путешествующего лингвиста») изложен историко-этнографический, фольклорный, лингвистический материал, собранный в алтайский же период [Radloff 1884].

Казанский период был заполнен педагогическо-административной деятельностью. В 1872 г. Радлов был назначен инспектором татарских, башкирских и «киргизских» (казахских) школ Казанского учебного округа. В 1882–1883 гг. он издал свою «Сравнительную грамматику северных тюркских языков» [Radloff 1882–1883].

Избранием В.В. Радлова ординарным академиком по литературе и истории азиатских народов в 1884 г. начинается петербургский период, который «был самым разнообразным по тематике научных занятий и самым плодотворным по числу изданий: первые два периода подготовили успехи третьего. Крупнейшим, не имевшим прецедентов научным предприятием этого периода был “Опыт словаря тюркских наречий”, материалы для которого он начал собирать еще в 1859 г., в первый год пребывания на Алтае» [Кононов 1989: 193].

«Трудами... В.В. Радлова тюркология в целом – во всех ее основных филологических и лингвистических разделах – поднялась на новую степень, приобрела новое качество, чему способствовало в первую очередь введение В.В. Радловым в научный обиход нового фактического материала, почерпнутого из сокровищницы почти всех тюркских языков, создание общетюркского словаря, изучение фонетики и грамматики многих живых тюркских языков и почти всех основных памятников рунической, значительного числа памятников уйгурской и отчасти арабской письменности и – может быть, самое главное – утверждение сравнительно-исторического метода в тюркологии» [Кононов 1972: 13–14].

В.В. Радлов проявил себя как организатор науки и администратор: в 1885–1890 гг. он занимал должность директора Азиатского музея; в 1894–1918 – бытность его директором Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого – была проведена реорганизация музея. Он был одним из инициаторов создания Русского комитета по изучению Средней и Восточной Азии при Министерстве иностранных дел (РКИСВА; 1903–1918) и его председателем.

Радлов не преподавал ни в Казанском, ни в Петербургском университете, но учеников в петербургский период своей жизни имел; это были тюркологи Н.Ф. Катанов, П.М. Мелиоранский, А.Н. Самойлович, С.Е. Малов, монголисты Б.Я. Владимирцов и А.Д. Руднев [Кононов 1972: 14], а также историк В.В. Бартольд.

С 80-х годов XIX в. «организатором и идейным руководителем отечественного востоковедения стал академик В.Р. Розен (1849–1908)» [Кононов 1973: 7]; об этом же писал А.Э. Шмидт: «покойному Виктору Романовичу <...> пришлось брать на свое попечение не только русскую арабистику, но и русскую ориенталистику в целом», цит. по [Долинина 1994: 245]. «Шейх русских арабистов» (как назвал его Н.А. Медников), он руководил «Записками Восточного отделения ИРАО», которые стали издаваться с 1886 г. и вскоре получили признание и в Европе, познакомив западных ученых с достижениями русского востоковедения. Во многом благодаря «Запискам» русский язык стал приобретать статус языка, владение которым необходимо любому востоковеду [Розен–Ольденбург 2004: 202].

«Научная личность В.Р. Розена принадлежит к весьма редкому типу всесторонне и гармонически раскрывающихся людей, – писал А.Ю. Якубовский. – Ученый, который доходил в анализе конкретного факта до работы чисто ювелирного характера, был

весьма склонен к самым широким научным гипотезам. Эта сторона научного творчества заслуживает не меньшего внимания, чем любовь его к критической разработке источников. В.Р. Розен умел и любил ставить большие и ответственные в научном отношении проблемы. Он прекрасно понимал, что развитие ориенталистики, увлеченной в те годы кропотливыми изысканиями в области отдельных конкретных вопросов, накопило к его времени такую сумму знаний <...>, цит. по [Неизвестные страницы II. 2004: 204], которая требовала масштабного обобщения.

В.Р. Розену принадлежат слова: «Мы не должны оставить жизнь раньше, чем не успеем создать настоящую, действительно научную школу русских ориенталистов, самостоятельных по существу дела и вместе с тем стоящих на плечах европейских ученых и при знающих рациональность выработанных Европой научных приемов» (письмо Розена Ольденбургу от 28.X./9.XI.1888 г.) [Розен–Ольденбург 2004: 227].

Этим словам в письме предшествует следующее высказывание В.Р. Розена. «В Университете ничего особенно нового нет. <...> Особенно на вост[очном] факультете, в сущности, никаких перемен не произошло, и там есть широкое поле для плодотворной деятельности, хотя бы и на немногих экземплярах человеческой расы» [Там же].

Как писал Самойлович, академики В.Р. Розен и К.Г. Залеман смогли «основать на факультете новую школу научного востоковедения, существующую поныне» [Самойлович 1923: 208].

Для понимания складывавшейся ситуации в научной жизни факультета восточных языков конца XIX – начала XX в. принципиально важные сведения содержатся в недавно опубликованной переписке В.Р. Розена – С.Ф. Ольденбурга. Так, из Парижа С.Ф. Ольденбург писал В.Р. Розену 13/15.I.1894 г.: «России необходимо широкое и глубокое знание Востока, то знание, которое не приобретается без крупной работы специалистов. У них должен быть центр, должно быть Восточное общество, и Вы во главе его. <...> Мы держимся сколько-нибудь на поверхности и пробиваемся немного вперед только благодаря тому, что у нас в России есть преданность и бескорыстность в занятиях наукой, чего здесь почти нет» [Розен–Ольденбург 2004: 283–284].

В ответном письме (от 26.I/7.II.1894, СПб.) В.Р. Розен делится своими соображениями по поводу «мечтаний» С.Ф. Ольденбурга: «Относительно Ваших соображений о будущем Р[усского] А[рхеологического] О[бщества]³ <...> мне, правду сказать, немножко жалко стало разрушать часть Ваших мечтаний. <...> надо прежде всего быть самому убежденным, что из всего этого толк выйдет действительно. Я же этого убеждения не могу иметь прежде всего потому, что сам не могу себе тут доверять, не могу думать, что моих сил хватит. Не доверяя своим силам, я не доверяю и общей сумме наличных сил нашего ориентализма.

Рассчитывать на действительную поддержку я могу только со стороны своих учеников. Я им всем, и прежде всего и больше всего именно Вам, глубоко благодарен за ту поддержку, которую они мне оказывали до сих пор при ведении “Записок В[осточного] О[тделения]”. Я возлагаю на них весьма большие надежды и имею на это полнейшее право, но я думаю, что в их интересах, и в интересах самого дела, которому мы все служим, будет лучше, если этим молодым силам дать еще немножко окрепнуть и вместе с тем присоединить к тем еще несколько новых сил.

Дело стояло бы иначе, если бы решительно все наши ориенталисты были вполне одинакового образа мыслей. Но Вы знаете, что из далеко не особенно многочисленного персонала Радлов, Залеман, Лемм, Голенищев в счет не идут. Смирнов, Веселовский, Цагарели идут в счет только вполовину, из стариков работать способен только один Хвольсон, но он для нас тоже только фиктивная величина. С остающимся персоналом “Записки В[осточного] О[тделения]” вести можно недурно, улучшить их даже можно

³ Издательским редактором пояснения раскрыты некорректно: «О будущем Р[оссийском] А[рхеологическом] О[бществе]», см. ниже в том же письме (с. 287): «<...> через два года будет юбилей Общества Археологического» (примеч. – Г.Б.).

смело весьма порядочно, но "grosse Sprünge machen"⁴ все-таки нельзя» [Розен–Ольденбург 2004: 285, 287].

Так было охарактеризовано соотношение сил в отечественном востоковедении в преддверии приближавшегося XX века.

Одним из тех «немногих» молодых ученых, на кого возлагал надежды В.Р. Розен, был В.В. Бартольд (упоминаний о нем очень много на страницах переписки В.Р. Розена – С.Ф. Ольденбурга). **Василий Владимирович Бартольд** (1869–1930) в 1887 г. поступил на факультет восточных языков С.-Петербургского университета по арабско-персидско-турецко-татарскому разряду. Научным руководителем Бартольда был профессор-арабист барон В.Р. Розен (1849–1908). Он проявлял о своем ученике истинно отеческую заботу, особенно когда тот во время своей первой экспедиции в Среднюю Азию (1893–1894) упал с лошади и сломал, по всей видимости, шейку бедра. В очередную экспедицию Бартольд попал только в 1902 г. – снова в Среднюю Азию, для ознакомления с рукописными памятниками. В Автобиографии Бартольд писал: «В области истории Востока, вследствие обилия никем еще не использованного материала, при чтении рукописей часто испытываешь такое же наслаждение пионера, открывающего новый мир, как при производстве раскопок на месте старых городов», цит. по [Петрушевский 1963: 17].

Еще во время учебы в университете Бартольд сблизился с тюркологом-языковедом П.М. Мелиоранским, с ними обоими приватно у себя на дому занимался В.В. Радлов; как полагал Бартольд, «<...> по своему знанию языка и бытовых условий Средней Азии он и теперь, как в то время, когда занимался с Мелиоранским и со мною, может быть полезен для всякого юного турколога» (письмо Бартольда Самойловичу от 17.X. <1906>). В некрологе П.М. Мелиоранского Бартольд особо отметил «тесные дружеские отношения, существовавшие между нами со времени нашего одновременного поступления в университет в 1887 г. <...> не могу <...> не вспомнить с благодарностью о том, чем было для меня товарищеское сочувствие покойного в тяжелое время моей жизни, особенно во время несчастья, случившегося со мной при моей первой командировке в Туркестанский край» [Бартольд 1976: 585].

После ранней смерти П.М. Мелиоранского (16.V.1906 г.) Бартольд фактически принимает на себя заботу и общее руководство любимым учеником Мелиоранского – А.Н. Самойловичем, инициативным, энергичным, талантливым. Столь же трогательно откликнулся на смерть Мелиоранского В.В. Радлов, выразив готовность заниматься приватно с Самойловичем (см. об этом в письме Бартольда Самойловичу от 17.IX. <1906>).

В сентябре 1906 г. В.В. Бартольд «как младший из наличного состава профессоров» (его письмо к Самойловичу от 17.IX. <1906>) был избран секретарем факультета восточных языков С.-Петербургского университета, став таким образом преемником Мелиоранского на этом посту (1906–1910). Из его лаконичных писем-записок к Самойловичу в этот период возникает возможность уточнить этапы организационно-административного прохождения младшим коллегой пути к его оформлению на преподавательскую деятельность в университете (факультет восточных языков).

Начав вести преподавание (в звании приват-доцента) на том же факультете в 1896 г. и сотрудничая в научных обществах и журналах, Бартольд главным своим делом считал исследовательскую работу. Он продолжал традицию изучения истории Средней Азии вслед за своими предшественниками – В.В. Григорьевым и Н.И. Веселовским. В 90-е гг. XIX в. на базе изучения множества первоисточников, по большей части не изданных, Бартольд создал капитальный труд «Туркестан в эпоху монгольского нашествия» [Бартольд 1963]. Осенью 1900 г. он представил факультету восточных языков этот труд как диссертацию на соискание ученой степени магистра, однако был удостоен университетом высшей степени – доктора истории Востока. С 1901 г. Бартольд – экстраординар-

⁴ Развернуться (нем.).

ный профессор, с 1906 г. – ординарный профессор С.-Петербургского университета. В 1910 г. его избрали членом-корр. АН, а в 1913 г. (12.X.) – академиком. С 1905 по 1912 г. он был секретарем Восточного отделения Русского археологического общества, с 1908 по 1912 г. – редактором «Записок Восточного отделения Русского археологического общества» (ЗВОРАО). Сотрудничал он также в Русском географическом обществе. Вместе с тем, выполняя завет своего учителя В.Р. Розена о создании «настоящей, действительно научной школы русских ориенталистов», В.В. Бартольд с 1909 г. был руководителем студенческого «Кружка ориенталистов» факультета восточных языков С.-Петербургского университета. В 1912 г. он стал одним из инициаторов создания и редактором научного журнала по исламоведению «Мир ислама». Бартольд был одним из двух секретарей созданного в 1903 г. Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии.

Научные поездки в Среднюю Азию для занятий в рукописных хранилищах или для проведения археологических работ совершались Бартольдом неоднократно. Курсы лекций по истории мусульманского мира (Ближний и Средний Восток), которые он читал в университетах Москвы, Баку (1924 г.), Стамбула (1926 г.), Ташкента (1925 и 1927 гг.), впоследствии были изданы.

Ведущее положение В.В. Бартольда в востоковедческой медиэвистике получило признание в стране и за рубежом уже во втором десятилетии XX в. В 20-е годы В.В. Бартольд завершил работу по переводу огузского героического эпоса «Китаб-и Дедем Коркут» («Книга моего деда Коркута»), которая была начата еще в конце XIX в. Его перевод этого одного из интереснейших произведений тюркского эпоса был подготовлен к изданию и опубликован В.М. Жирмунским и А.Н. Кононовым в 1962 г., см. об этом [Кононов 1970а: 57, 59].

Наряду с серьезными и глубокими научными занятиями Бартольд вел и обширную научно-общественную деятельность, поддерживая связь с краеведами Средней Азии, принимая участие в Туркестанском кружке любителей археологии (1895–1917 гг.), сотрудничая в «Туркестанских ведомостях» и других местных органах печати.

Письмо В.Р. Розена к С.Ф. Ольденбургу от 6.I.1894 г. позволило уточнить, когда и как было положено начало научным контактам с ташкентскими коллегами. «От Бартольда имею весьма хорошее письмо. Он, по-видимому, орудует в Ташкенте молодцом и расшевеливает местное общество на славу. Вообще он совсем молодец»; и письмо Ольденбурга от 28.II/11.III.1894 г.: «От Бартольда получил на днях очень милое и бодрое письмо. Он отличный пионер для нас в Ташкенте. Право, мне кажется, что Ваши ученики поддержат Вас» [Розен–Ольденбург 2004: 282 и 292]. В результате активной «пионерской» деятельности Бартольда в Ташкенте (когда из-за несчастья с ногой он вынужден был там перезимовать) у него на долгие годы завязались живые связи с краеведами и востоковедами Средней Азии.

После Октябрьской революции его научно-организационная деятельность еще более расширилась. Он был постоянным председателем Коллегии востоковедов АН, участвовал в подготовительных работах по учреждению Среднеазиатского государственного университета в Ташкенте, выполнял многие правительственные поручения по созданию кафедр истории Востока, научных библиотек, рукописных хранилищ и музеев в республиках Востока. В 20-х годах Бартольд продолжал педагогическую работу в высших учебных заведениях Петрограда – Ленинграда. Он являлся руководителем Тюркологического кружка им. В.В. Радлова (с 1918 г.), а затем руководителем Тюркологического кабинета (1928–1930 гг.), который – после смерти его жены Марии Алексеевны Бартольд – был размещен в двух комнатах его квартиры и которому он предоставил в пользование свою личную библиотеку.

Возвращаясь к ситуации, сложившейся в русском востоковедении рубежа XIX–XX вв., подчеркнем особое значение научно-организаторской роли великих личностей, и в их числе **В.Р. Розена** и **С.Ф. Ольденбурга**, их мудрой, умело и настойчиво проводи-

мой кадровой политики – вопреки личным антипатиям. Воспользуемся свидетельствами переписки этих двух выдающихся ученых.

Осенью 1893 г. В.Р. Розен был назначен деканом факультета восточных языков. 19.IX/1.X.1893 г. он пишет С.Ф. Ольденбургу: «Спешу благодарить Вас за теплое отношение к моему назначению (кстати сказать, вчера подписанному министром)» [Розен–Ольденбург 2004: 256].

Широкий взгляд на отечественное востоковедение заставляет обоих ученых заботиться о новых кадрах и для китайского разряда. С.Ф. Ольденбург в письме к В.Р. Розену от 17–18/29–30.XII.1893 г. сообщает: «С [Д.М.] Позднеевым⁵ виделся несколько раз. Мне показалось, что это большая рабочая сила, неглупый человек, с большими западными (в научном отношении) тенденциями, но семинарист с хитрецей <...>. Я не променял бы его на Бартольда, но если бы для него нашлось место, это было бы приобретение, и мне кажется, что и Ивановский (немного прибранный к рукам), и он могут отлично образовать переход к новому европейскому (в хорошем смысле) китайскому отделению» [Розен–Ольденбург 2004: 276]⁶. Ответ В.Р. Розена (письмо от 30.XII.1893/11.I.1894): «Позднеев [Д.М.] младший был у меня третьего дня и произвел на меня такое же выгодное впечатление, как и на Вас. Но Бартольда мы все-таки постараемся сохранить. Я думаю, что удастся их обоих пристроить так или иначе» [Там же: 279]. Будучи оставлен при С.-Петербургском университете «для подготовки к профессорскому званию по кафедре истории Востока», Бартольд в 1893 г. выдержал испытание на ученую степень магистра. В 1896 г., получив звание приват-доцента, он приступил к чтению лекций в С.-Петербургском университете. Одновременно он был привлечен к самой активной деятельности в редакции «Записок Восточного отделения РАО», о чем сообщает В.Р. Розену Ольденбург в письме от 9/21.VI.1896 г.: «Бартольд вошел в роль помощника редактора с полным рвением, и на него, я думаю, можно положиться»; 28–29.VI.1896 г. он извещает: «Я получил письмо от Бартольда, который, как видно, по уши в работе» [Розен–Ольденбург 2004: 304; 307].

Эти сведения С.Ф. Ольденбурга вносят дополнительный штрих в биографию В.В. Бартольда. Было известно, что с 1908 по 1912 г. он являлся «редактором “Записок Восточного отделения”», но тот факт, что Бартольда исподволь готовили к работе в должности главного редактора ЗВОРАО – в период, когда он выполнял функции «помощника редактора» (т.е. в современных терминах – заместителя главного редактора), оставался за пределами внимания биографов.

В письме от 6/19.II.1901 г. В.Р. Розен сообщает С.Ф. Ольденбургу о факультетских делах: «Медникова мы произвели в магистры 28 января. Надеюсь, что к Пасхе удастся его провести в и[сполняющего] д[олжность] профессора. Мелиоранского диспут откладывается из-за [В.Д.] Смирнова. Летом попробую Бартольда и Мелиоранского провести в профессора. Тогда я считаю свою миссию более или менее оконченной и можно будет подумать об уходе из деканов <...>» [Розен–Ольденбург 2004: 324]. «Мелиоранского диспут откладывается из-за [В.Д.] Смирнова» – имеется в виду (преднамеренная?) задержка защиты Мелиоранским докторской диссертации («Араб филолог о турецком языке»), тем не менее защита, хотя и несколько позже, все же состоялась в 1901 г.

Поддержка В.Р. Розеном молодого, одаренного и целеустремленного тюрколога проявилась еще и в другом важном деле. Как писал Самойлович, именно турецкая часть (за исключением лексического отдела) упомянутого рукописного арабского сочинения о языках персидском, турецком и монгольском, «была списана еще в 1875 г. в Оксфорде

⁵ Д.М. Позднеев (1865–1937) – китаист и японовед, окончил факультет восточных языков в 1893 г., находился в научной командировке в Лондоне, Париже, Берлине (1893–1894), в Китае (1896–1904), Японии (1905–1910). В 1896–1898 гг. преподавал в С.-Петербургском университете.

⁶ А.О. Ивановский (1863–1903) – китаист, ученик В.П. Васильева, друг С.Ф. Ольденбурга. О том, как В.Р. Розен добился постановления факультета «поручить Ивановскому кафедре китайского языка», см. [Розен–Ольденбург 2004: 248–249].

бароном В.Р. Розеном, предоставившим затем издание и обработку этой рукописи П.М. Мелиоранскому. Не без влияния В.Р. Розена были предприняты П.М. Мелиоранским за границей и другие две работы: П.М. Мелиоранский списал большой отрывок из лондонской рукописи «Қысас ал-анбийә» Рабгузи (часть этого отрывка по четырем рукописям была напечатана в «Сборнике статей учеников проф. бар. В.Р. Розена») и исследовал в Лондоне же диван южнотурецкого поэта XIV в. Бурхан ад-дина Сивасского (отрывки напечатаны в «Восточных заметках»)» [Самойлович 2005: 128].

При несомненном содействии декана факультета восточных языков В.Р. Розена и Бартольд, и Мелиоранский в том же 1901 г. были назначены экстраординарными профессорами, а ординарными профессорами первый стал в 1906 г., второй – еще в конце 1905 г. Бартольд и Мелиоранский считали себя учениками Розена и поддерживали его прогрессивные начинания на факультете восточных языков.

Платон Михайлович Мелиоранский (1868–1906), первый отечественный лингвист-тюрколог, по своим научным воззрениям примыкал к школе неограмматиков. В 1891 г. Мелиоранский, блестяще окончив курс на факультете восточных языков С.-Петербургского университета, был оставлен при кафедре турецко-татарской словесности для подготовки к профессорской деятельности; в это же время он продолжал занятия у В.В. Радлова. В 1894 г., после четырехмесячной заграничной командировки, во время которой он был занят изучением средневековых рукописей в библиотеках Оксфорда, Лондона, Парижа, Берлина, Мелиоранский приступил к чтению лекций на факультете восточных языков.

В 1894 и 1897 гг. выходит двумя частями его «Краткая грамматика казак-киргизского языка», на базе тех полевых материалов автора, которые были собраны им летом 1890 г. во время студенческой экспедиции в Оренбургскую губернию и Тургайскую область. Это яркий пример того, как результаты первого в истории тюркологии исследования грамматики казахского языка, пользуясь словами автора, были «изложены научно, руководствуясь современными лингвистическими методами» [Мелиоранский 1900а: 0162–0163]. Как писал Самойлович, «<...> П.М. Мелиоранский, благодаря своим недюжинным дарованиям, большому трудолюбию и безграничному интересу к своему предмету, поразительно быстро стал на мало кем из тюркологов достигнутую высоту современных лингвистических методов и взглядов <...>» [Самойлович 2005: 129]. Самойлович отмечает глубокое постижение диалектного языка своим учителем, который, объясняя особенности языка киргизов (т.е. казахов) Оренбуржья, предложил новаторское для тюркологии понятие «переходные говоры»: «Оренбургская губерния представляет из себя весьма интересное поле наблюдения для тюрколога, так как в ее смешанном татаро-башкиро-киргизском населении можно знакомиться не только с этими тремя наречиями, но местами и с различными переходными говорами» (цит. по арх. ед. «Труды научные взгляды и заветы П.М. Мелиоранского»: РНБ. Ф. 671. Д. 149. Л. 18об. – по поводу рецензии Мелиоранского на «Грамматику киргизского языка» В.В. Катаринского).

Занимаясь изданием, лингвистической и историко-филологической обработкой таких памятников тюркского средневековья, как Отрывки из дивана Ахмеда Бурхан ад-дина Сивасского; Сказание о пророке Салихе (из Қысас ал-анбийә Рабгузи); «Араб филолог о турецком языке»; «Араб филолог о монгольском языке»; «Шейбани-наме», Мелиоранский полагал, что «издание и исследование всего Қысас-и Рабгузи стоит на переди». Более того, «П.М. оговорился, что сам намерен со временем заняться этим изданием» (арх. ед. «Труды, научные взгляды и заветы П.М. Мелиоранского», Л. 4).

«Памятник в честь Кюль-Тегина» (рунического письма) – текст, транскрипция, перевод и комментарии историко-этнографического и лингвистического характера – составили предмет его магистерской диссертации, защищенной в 1899 г. Объектом же докторской диссертации явилось сочинение «Араб филолог о турецком языке» (форма публикации та же [Мелиоранский 1900б]), защищена в 1901 г. Как писал В.В. Бартольд в некрологе П.М. Мелиоранского (а затем изложил с разъяснениями в письме к Самойловичу от 17.IX. <1906>), «для развития тюркологии одиннадцатилетняя деятельность

Мелиоранского была полезнее, чем сорокалетнее деятельность его предшественника по кафедре» – И.Н. Березина.

Безвременная кончина П.М. Мелиоранского нанесла ощутительный урон не только тюркологии, но и отечественному востоковедению в целом, нарушив, в частности, баланс противостоящих сил.

Во всяком случае, еще в 1901 г. (письмо С.Ф. Ольденбургу от 6/19.II.1901 г.) В.Р. Розен, развивая тему своего «ухода из деканов», вспоминает о противостоянии, с одной стороны, представителей научного востоковедения, которые при декане В.Р. Розене, по всей видимости, имели определенное влияние в существовавших тогда на факультете восточных языков «режиме» и «кабинете» (т.е. в административно-организационных структурах факультета), а с другой – их противников (которых Розен в своем письме обозначает условно: «старые - -»): «Большая, впрочем, вероятность в пользу того, что мы оба еще раньше или сойдем с ума, или будем побиты по постановлению сходки и с одобрения (негласного, конечно) гг. членов Совета. В обоих этих случаях мы будем избавлены от необходимости еще дальше плясать по дудке юных мерзавцев, постановляющих и приводящих в исполнение забастовку и обструкцию при аплодисментах старых - -⁷, мечтающих таким способом достигнуть перемены “режима” или “кабинета”!» [Розен–Ольденбург 2004: 324]. В этих условиях новая научная школа востоковедов и ее глава В.Р. Розен нуждались в поддержке, прежде всего – учеников (внутри факультета, см. слова С.Ф. Ольденбурга в письме Розену от 28.II/1.III.1894 г.: «Право, мне кажется, что Ваши ученики поддержат Вас») [Там же: 392].

Одним из тех, кому претила приверженность молодых русских востоковедов западному влиянию, их стремление уравнивать отечественную новую школу востоковедения с западноевропейской в отношении применяемых новых методов (как писал А.Н. Самойлович), был В.Д. Смирнов. Самойлович причислял его к школе Казем-бека, ученики которой и прежде всего И.Н. Березин оказались в тени, будучи слишком связаны «с отжившей эпохой – средневековьем нашей науки».

Василий Дмитриевич Смирнов (1846–1922) «в Астрахани окончил духовное училище, а семинарское образование получил в Перми, откуда в 1865 г. переехал в Петербург, следовательно, около 20 лет провел на границе Запада и Востока, прежде чем появился типичным бурсаком для получения высшего образования в наиболее европейском из городов России. Отец В.Д. был сначала сельским псаломщиком, а затем диаконом и умер, когда сыну было всего 8 лет. Только человек недюжинной воли, выдающихся способностей и высокого рвения к знанию и к лучшей жизни мог в положении неимущего сироты, каким был В.Д., преодолеть все трудности и невзгоды на пути от бедного материальными средствами, учителями и учебными пособиями Астраханского духовного училища до профессорской кафедры столичного университета» [Самойлович 1923].

«Как и Березин, В.Д. прошел исключительно русскую школу востоковедения в ту пору, когда она еще не сравнилась с западноевропейской в отношении научных методов. <...> до конца жизни <он> позволял себе с большей или меньшей серьезностью оспаривать положительное значение западноевропейских приемов филологических разысканий» [Самойлович 1923: 207].

Приведем также принципиально важные строки А.Н. Самойловича из некролога В.Д. Смирнова, где В.Д. и его «университетские товарищи» противопоставлены не столько по социальному происхождению, сколько по их принадлежности к различным школам отечественной ориенталистики: «Университетскими товарищами В.Д. были барон В.Р. Розен и К.Г. Залеман, впоследствии – академики, которые пришли на факультет восточных языков совершенно из другой среды, чем В.Д., и со значительно иной, чем он, подготовкой, которые смогли, в отличие от В.Д., усовершенствовать свое образование в Западной Европе и затем *основать на факультете новую школу научного*

⁷ Так в тексте письма (примечание Публикаторов).

исковедения, существующую ныне. В лице незабвенного В.Д. Смирнова сошел в могилу <...> последний богатырь, имеющий свои несомненные заслуги *старой школы российского востоковедения*, крупнейший из туркологов-османистов России, пользовавшийся известностью и в Западной Европе» [Самойлович 1923: 208] (курсив наш. – Г.Б.).

В.Д. Смирнов закончил факультет восточных языков в 1871 г. с золотой медалью. В 1873 г. защитил магистерскую диссертацию на тему «Кучибей Гёмюрджинский и другие османские писатели XVII века о причинах упадка Турции»; в том же году утвержден в звании доцента факультета восточных языков С.-Петербургского университета по кафедре турецко-татарской словесности, на которой в течение 49 лет преподавал турецкий язык, историю турецкой литературы и некоторое время историю Турции. В 1887 г. защитил докторскую диссертацию «Крымское ханство под верховенством Отоманской Порты до начала XVIII века». С 1884 г. назначен экстраординарным профессором, с 1888 г. – ординарным профессором турецко-татарской словесности, с 1898 г. – заслуженным ординарным профессором. Был секретарем Восточного отделения Русского Археологического общества (ВОРАО). Принято считать, что В.Д. Смирнов своими трудами создал в русской тюркологии самостоятельное турковедческое направление.

В своей преподавательской деятельности проф. Смирнов далеко не беспристрастно относился к своим ученикам и бывшим студентам, особенно к тем, кто мог бы каким-то образом вступить в конкуренцию с ним, например А.Н. Самойлович, – касательно чтения курса «турецко-татарская словесность». Об этом совершенно откровенно писал Самойловичу В.В. Бартольд в письме от 17.IX. <1906 г.>: «<...> Вы сами знаете, что в лице В.Д. Смирнова у Вас будет не слишком доброжелательный критик Ваших работ и что достоинство последних должно быть настолько очевидно, чтобы его поневоле должен был признать и самый придиричивый судья. Самолюбие В.Д. еще более чувствительно, чем прежде <...>».

«1912–1914 годы А.Н. Самойлович работает над <магистерской> диссертацией, защита которой, как известно, была осложнена отрицательным отношением к ней его непосредственного учителя – османиста проф. В.Д. Смирнова, давшего отрицательный отзыв и отказавшегося быть оппонентом» [Баскаков 1973: 87].

О роли В.Д. Смирнова Самойлович сообщил Гордлевскому (18.XI.1914 г.) лаконично: «28 марта <1914 г.> я подал на факультет свою диссертацию <...>, – и вот только 22 ноября, т.е. через 8 месяцев, факультет заслушает отзыв о ней проф. В.Д. Смирнова и делает соответствующее постановление. По слухам, отзыв будет “резко отрицательный”. <...> Отзывы академиков Радлова, Залемана, Бартольда, Коковцова – совершенно обратные Смирнову. Так разве тут разберешь что-нибудь?» [Баскаков 1973: 87]. В письме от 13.I.1915 г.: «Мой диспут назначен на воскресенье 18 января»; в письме от 20.I.1915 г.: «Благодарю за поздравление. Голосовало 6. Из них 2 воздержались (Жуковский и Иванов). Остальные (академики: Бартольд, Марр, Коковцов, проф. Щербатской) – за Смирнова не было. Всыпали здорово и поделом. Не побрезговали и опечатками» [Там же]. На защите присутствовал Н.А. Бобровников (1854–1921), приемный сын Н.И. Ильминского, продолживший его просветительскую деятельность; в письме от 19.I.1915 г. он поздравляет Самойловича «с удачной защитой Вами Вашей диссертации» и делится с ним впечатлениями о защите: «...хочу отметить, что Ваша сдержанная, мягкая манера обращения к преподавателям и ученым, у которых учились сами, весьма располагают в Вашу пользу. Я не дослушал диспута и не знаю, как окончилась речь частного оппонента. <...> В общем диспут произвел на меня тяжелое впечатление: он показал, как трагична у нас ученая работа, каких невероятных трудов требует получение ученых степеней» (ПФАРАН. Ф.782. Оп. 2. Д. 8).

А.Н. Самойлович не был злопамятен. В письме к С.Е. Малову, предположительно датированном нами осенью 1922 г. (Смирнов умер 25.V.1922 г.), он сообщал: «Сейчас пишу для “Востока” некролог незабвенного нашего Василия Дмитриевича <Смирнова>, с которым я в последние годы находился в самых дружеских отношениях». Одна из причин этого – происшедшее в старости «смягчение в его характере» [Самойлович 1923: 209].

Мотивы противостояния находят также в письмах молодого тогда арабиста И.Ю. Крачковского, ученика В.Р. Розена, за период 1905–1912 гг. И.Ю. Крачковский болезненно реагировал на критику факультета восточных языков, в которой «иногда бывает много дельного и справедливого» и прежде всего – по части консервативности практического преподавания восточных языков их носителями. В письме к Самойловичу от 23.VII. <1905 г.> он писал: «Я почему-то ужасно люблю наш факультет, а ведь сколько нападок приходится на него выслушивать! И добро, когда нападки бывают глупы и исходят от “черни непросвещенной” – плюнешь на них и успокоишься, а ведь иногда бывает много дельного и справедливого. Тогда-то и становится подчас обидно, особенно если сравнить с другими факультетами. Неужели же этого нельзя хоть несколько изменить, вдохнуть хоть немного “духа жива”? Воля Ваша, я с этим не желаю мириться и не желаю отказываться от надежды видеть Вас первым в этой области. В таком случае и всякие антропангелия⁸ не являются помехой, так как они придают только широту взгляда, которой подчас у многих из нас и наших му’аллимов не видно из-за многочисленных масдаров⁹».

В более позднем письме – от 26.VII.1911 г. – Крачковский пользуется «терминологией противостояния»: «Из нашего лагеря здесь теперь никого нет: Хащабы в конце концов уехали в половине июня, и имею от него открыточку из Александрии. Даже Медников и тот (в начале июля, правда!) кончил составлять обзор преподавания, на что была плохая надежда, и отбыл в Евпаторию». Лектора-сирийца Антония Феодуловича Хащаба Крачковский постоянно расспрашивал о Сирии, имея в виду предстоящую научную поездку в эту страну. Н.А. Медников был в науке, по оценке Крачковского, *homo unius libri* («человек одной книги») – всю жизнь «незаметно и настойчиво трудился над большим научным предприятием» (ПФАРАН. Ф. 1026. Оп. 1. Д. 322. Л. 1) – капитальным сводом «Палестина от завоевания ее арабами до крестовых походов»; Медников принадлежал к числу тех ученых, «у которых, к сожалению, книги выше их самих» (ПФАРАН. Ф. 1026. Оп. 1. Д. 322. Л. 16об.), цит. по [Долинина 1994: 35].

Характерно, что через три года – в письме к Крачковскому от 26.VI.1914 г. – Самойлович сообщает: «Раз был у Хащаба и сильно в том раскаиваюсь: видимо, в душе он нас, “приват-доцентов”, не выносит окончательно, а посему язвит невыносимо». Справедливость наблюдения А.Н. Самойловича вскоре подтвердилась (см. ниже).

17/30.V.1915 г. состоялась защита магистерской диссертации И.Ю. Крачковского по его монографии: «Абу-л-Фарадж ал-Вава Дамасский. Материалы для характеристики поэтического творчества» (Пг., 1914). Монография содержала критическое издание текста дивана с примечаниями и вариантами, полный перевод на русский язык и капитальное исследование, сочетавшее в себе традиционный филологический, историко-литературный и литературно-эстетический подходы к тексту, с выходом к общим вопросам теории литературы. Официальные оппоненты – А.Э. Шмидт и Н.А. Медников высоко оценили работу Крачковского. Шмидт особо отметил ее новаторство: Крачковский первым попытался применить к изучению одного из памятников арабской поэзии методы, выработанные европейской наукой, и тем самым вовлечь арабскую поэзию «в круг тех материалов, из которых должны быть построены общие законы эволюции поэтических форм»; столь же новаторским для отечественной арабистики было стремление соискателя исследовать творчество поэта в неразрывной связи с социальной средой и с развитием теоретической мысли, цит. по [Долинина 1994: 138].

Неожиданно резким диссонансом прозвучало выступление лектора арабского языка А.Ф. Хащаба. В.А. Крачковская вспоминает об этом эпизоде так: «Речь Хащаба звучала отнюдь не дружелюбно, несмотря на то, что за предшествующие годы товарищеские отношения диссертанта с оппонентом не прерывались. А.Ф. Хащаб очень резко и при-

⁸ Человеколюбие (благотворительность, меценатство).

⁹ Учителя (араб.). Масдары – вербоиды (нефинитные формы глагола), совмещающие некоторые черты и грамматические категории глагола с чертами именных частей речи (араб.).

страстно критиковал издание дивана аль-Вава, хотя И.Ю. в процессе подготовки в затруднительных случаях часто с ним советовался, и А.Ф. тоже не мог разобрать темные места. Недружелюбный тон особенно возмущал тех присутствующих, которые были знакомы с изданным текстом и вполне владели арабским языком. <...> Большая часть членов <Совета> факультета сохраняли полное спокойствие, но два маститых профессора относились явно одобрительно к выступлению А.Ф. Хащаба, утвердительно покачивая головами; это были сидевшие справа от стола В.А. Жуковский и В.Д. Смирнов». Совет факультета единогласно присудил Крачковскому степень магистра. Этой работой было положено начало русского арабистического литературоведения как самостоятельной дисциплины [Долинина 1994: 139–140, 141].

Игнатий Юлианович Крачковский (1883–1951) – сын известного этнографа Юлиана Фомича Крачковского, председателя Виленской археологической комиссии и Этнографического музея (1866–1896), директора Полоцкой учительской семинарии в 70-е годы и назначенного директором Ташкентской учительской семинарии в 1884 г. И.Ю. Крачковский был выпускником факультета восточных языков С.-Петербургского университета (декабрь 1905 г.) и оставлен при университете для подготовки к профессорской деятельности. До защиты магистерской диссертации был преподавателем и приват-доцентом (1910 г.) по специальности «арабская словесность», а впоследствии стал штатным доцентом факультета восточных языков, сотрудником Азиатского музея, членом ряда российских и зарубежных научных обществ. Доктор филологических наук (9.XI.1921 г., без защиты), профессор (12.VIII.1921 г.). В 1921 г. избран действительным членом Российской академии наук. Заведовал Арабским кабинетом (1916–1951 гг.), заведовал кафедрой арабской филологии восточного факультета ЛГУ. Издано около 500 его научных работ в различных областях арабистики – арабское языкознание, источниковедение, история арабской литературы средневековой и новой, художественной и научной, вспомогательные дисциплины, история арабистики.

Как писал А.Э. Шмидт И.Ю. Крачковскому к 25-летию его научной деятельности (октябрь 1929 г.), «<...> окончательно и по-настоящему наша русская арабистика выплыла из родного порта в широкое море мировой науки только благодаря Вашим трудам. <...> Вам за эти 25 лет, несмотря на многие отягчавшие работу условия, все же удалось работать, удалось двинуть вперед многие отрасли Вашей родной специальности. <...> Вы обросли кружком молодых научных сил, которые, надо надеяться, смогут все вместе продолжать Ваше дело <...>» (цит. по [Долинина 1994: 245]). И.Ю. Крачковский был признанным главой новой русской арабистической школы.

А.Н. Самойлович умел собирать вокруг себя одаренную молодежь различных специализаций. В числе таковых был и **Борис Яковлевич Владимирцов** (1884–1931), европейски образованный монголист, получивший широкую и систематическую подготовку – теоретическую и практическую. В 1904 г. он поступил на факультет восточных языков по китайско-монголо-маньчжурскому разряду; следующий – 1905–1906 учебный год – он обучался в Париже, посещал лекции и практические занятия в Школе живых восточных языков (L'École des langues Orientales Vivantes, ныне L'Institut national des langues et civilisation orientales), а также в Сорбонне (Парижский университет) и в Collège de France. Осенью 1906 г. он перешел на вновь открывшийся монголо-маньчжуро-татарский разряд факультета восточных языков, который окончил в 1909 г. Здесь, кроме обязательных курсов, слушал также лекции по истории русского языка у А.А. Шахматова, по общему языкознанию у И.А. Бодуэна де Куртенэ, по философии у А.И. Введенского; вместе с группой ориенталистов посещал занятия, проводившиеся В.В. Радловым на дому. Во время научной командировки в 1912 г. слушал в Париже лекции по общему языкознанию у А. Мейе, по синологии и монголистике у П. Пеллио и Э. Шаванна; летом того же года занимался в Британском музее (Лондон).

Б.Я. Владимирцов сформировался как полевой исследователь в самой широкой степени, начав с научных поездок еще студентом (1907 г. – Астраханский край; 1908 г. – Западная Монголия) и продолжая в последующие годы систематическую экспедиционную

деятельность. Степень магистра монгольской и калмыцкой словесности он получил в 1911 г. Осенью 1915 г. после утверждения в должности приват-доцента факультета восточных языков читал курс по монгольскому языку. Участвовал в организации Петроградского – Ленинградского института живых восточных языков (с 1927 г. – Ленинградский восточный институт). Руководил монгольской кафедрой и монгольским семинарием до конца своих дней. Научный сотрудник Азиатского музея – Института востоковедения АН СССР (1915–1931 гг.); членом-корр. избран в 1923 г., действительным членом АН СССР – в 1929 г.

Большому основному труду Владимирцова по монгольским языкам – «Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхасского наречия» – не пришлось увидеть завершения: появился первый том «Введение и фонетика» (Л., 1929); продолжением должны были стать разделы морфологии, синтаксиса и семантики. Как фольклорист Владимирцов известен книгами: «Монгольско-ойратский героический эпос» (Пг.; М., 1923) и «Образцы монгольской народной словесности (Северо-Западная Монголия)» (Л., 1926), как историк – монографией «Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм» (Л., 1934) и переведенной на французский, английский, турецкий языки научно-популярной книгой «Чингис-хан» (Берлин; Пг.; М., 1922); им были выпущены также книги и ряд статей по литературоведению. См. о нем как о тюркологе [Кононов 1984].

Сергей Ефимович Малов (1880–1957), ровесник и младший коллега Самойловича по факультету восточных языков, получил духовное образование, но после окончания Казанской духовной академии (1904 г.) поступил на арабско-перидско-турецко-татарский разряд факультета восточных языков.

Обстоятельства формирования молодого ученого в силу раннего осознания жизненной цели, а также других его качеств – складывались весьма своеобразно. «Занятия турецким языком и литературой под руководством видного османиста проф. В.Д. Смирнова <...> не вполне удовлетворяют Сергея Ефимовича: интересы его гораздо шире, чем то, что могла дать университетская программа» – «желание изучить тюркские языки, или как тогда называли, турецкие наречия, народов, живущих на необъятных просторах России» [Тенишев 2005: 72]. Своего «духовного учителя» Малов нашел в лице В.В. Радлова. Глава новой тюркологии обучал молодых тюркологов новым исследовательским методам и подходам к изучению тюркских языков, осознанно спланировал вокруг себя талантливую молодежь. Он, в частности, оказал решающее влияние на формирование полевой методики у Катанова, в своей «Автобиографии» тот писал: «у Радлова же я учился новой точной науке – тюркской фонетике, основание которой положил акад. О.Н. Бётлингк в труде “Об языке якутов”»; цит. по [Иванов 1973: 97]. С Маловым Радлов занимался преимущественно тюркскими языками Алтая. «Магистрант Малов» назван среди «лиц, собравшихся на квартире у академика Радлова, чтобы выслушать его сообщение о чувашском языке» (письмо Самойловича от 27.IX.1916 г.). «В этой благоприятной творческой среде складывался и развивался тот точный и отчетливый метод лингвистического анализа, который Сергей Ефимович блестяще применял в своих дальнейших работах» [Тенишев 2005: 72].

Говоря о формировании исследовательской методики Малова, нельзя не упомянуть о влиянии, которое оказал на него Н.Ф. Катанов. С.Е. Малов, учившийся в Казанской духовной академии, до конца дней своих сохранил записи лекций, которые слушал у Катанова (ПФАРАН. Ф. 1079. Оп. 3. Д. 121) [Кокова 1993: 60]. Здесь необходимо подчеркнуть, что полевая методика Катанова вырабатывалась во время его четырехлетней научной командировки в Восточную и Западную Сибирь, Северную Монголию, Джунгарию и Китайский Туркестан (1889–1892), как сам он пишет в Автобиографии, «благодаря точным и подробным указаниям, которыми снабдили меня мои руководители (В.В. Радлов, Н.И. Веселовский и И.Н. Березин)», цит. по [Иванов 1973: 97]. Сохранилось свидетельство А.Н. Самойловича, насколько он сам и П.М. Мелиоранский ценили выработанную Катановым методику: «Когда в 1902 году я отправился в первую на-

учную командировку к туркменам, мой учитель проф. П.М. Мелиоранский порекомендовал мне вместо программы познакомиться с "Письмами Н.Ф. Катанова из Сибири и Восточного Туркестана"» [Самойлович 1924].

Н.Ф. Катанов содействовал продвижению в печать среди многих других работ также раннего исследования С.Е. Малова (о мишарях) [Иванов 1973: 49]. В конце 1916 г., когда Малов возвращается в Казань, выдержав магистерские экзамены в С.-Петербургском университете, Катанов содействует его преподавательской работе в Казанском университете.

В.В. Радлов как председатель Русского комитета по изучению Средней и Восточной Азии сыграл особую роль в командировании Малова летом 1908 г. (т.е. еще в его студенческие годы) за счет комитета к шорцам и тувинцам Томской губернии, а сразу по окончании университета в Китай – в 1909–1911 гг. и в 1913–1915 гг. Видимо, как никто другой В.В. Радлов смог оценить деловые качества молодого ученого – его целеустремленность, беспримерное упорство в достижении поставленной цели, знание татарского, знакомство с языками и диалектами томских, чулымских, кузнецких татар и телеутов.

За годы двух научных экспедиций в Китай Малов собрал большой материал по языку, фольклору и этнографии желтых уйгуров, лобнорцев и хамийцев, а также саларов. Найденная им в 1910 г. уникальная уйгурская рукопись сутры «Алтын жарук» впоследствии была издана совместно В.В. Радловым и Маловым (1913–1917 гг., восемь выпусков, уйгурский шрифт).

С.Е. Малов прославился своими двумя экспедициями в Китай. «Материалы двух поездок его были так разнообразны и богаты, что обработкой их он занимался в течение всей своей жизни, вплоть до <...> 1957 г.» [Тенишев 2005: 74].

В 1917–1922 гг. Малов работал в Казани (нумизматический кабинет Казанского университета, Северо-Восточная консерватория, Восточный пединститут), а с 1923 г. – в Петрограде. Как можно видеть из Переписки «А.Н. Самойлович и С.Е. Малов», в трудоустройстве Малова на штатную преподавательскую должность в ПИЖВЯ (ЛИЖВЯ) ему очень помог Самойлович, который позаботился также о решении жилищного вопроса (Малов поселился в том же доме № 23 по Ропшинской ул., в котором жил А.Н. Самойлович с семьей). По-видимому, не без содействия Самойловича (см. его письмо к Малову от 24.III.1922 г.) в том же 1923 г. Малов занял должность профессора. Малов преподавал также в ИЛАЗВ, ЛВИ, в Институте кадров ГАИМК, Институте народов Севера, ИКП и ЛГУ. Доктор языковедения (1935 г.), профессор (1923 г.), научный сотрудник Института языка и мышления – Института языкознания АН СССР (1934–1957 гг.). Избран членом-корр. АН СССР в 1939 г.

И.Ю. Крачковский провидчески (первым!) углядел в А.Н. Самойловиче будущего лидера молодых. См. его письмо к Самойловичу от 2.VII.1905 г.: «Напрасно у Вас ёкает сердце от предстоящих экзаменов: раз можете писать по шести писем в вечер, значит, не утратили работоспособности, заставлявшей признать Вас "большой рабочей силой", а с ней Вы превзойдете не только все свойства фамилии Böhlingk'a, но и содержания его труда. Помните, что на Вас глядят если не 40 веков, то все старые и юные ориенталисты, из которых последние, быть может, возлагают на Вас больше надежд, чем их почтенные му'аллимы. Посему подбодритесь, если Вы и впрямь несколько "ослабели", и "не посрамите земли русской", так как именно теперь настает время настоящей борьбы со всякого рода инородческими элементами, которые мнят нас раздавить»; см. также следующее его письмо к Самойловичу – от 23.VII.1905 г.: «А Вы это напрасно, великий туркменист, начинаете что-то напирать на теорию "не первый и не последний"! Ведь так не трудно и по течению поплыть, до непротивления злу дойти, а в результате превратиться в одного из Смирновых, Медниковых etc. А это, знаете ли, слабо! Штука именно в том, чтобы стать первым (а последним тогда Вы уж ни в коем случае не будете) и доказать, что и здесь можно сделать то, что Вы думаете».

Характерно, что мысль о лидерстве А.Н. Самойловича высказывалась И.Ю. Крачковским еще при жизни первого лингвиста-тюрколога П.М. Мелиоранского. С безвре-

смертью этого учителя Самойловича существовавшее соотношение сил, «молдых» и «старых», в отечественном востоковедении нарушилось; появилась необходимость в новом лидере тюркологии. Объективно эти обстоятельства определяли лидера, подготавливали базу для выдвижения в качестве лидера А.Н. Самойловича – человека, умевшего мыслить теоретически, успевшего уследить за ходом востоковедной науки вообще и взаимоотношений ее отраслей (тюркологии, монголоведения, иранистики, арабистики). Чтобы стать лидером, нужно было обладать незаурядным творческим потенциалом (а он создавался благодаря большому массиву материала, самостоятельно собранного и самостоятельно проанализированного) и вместе с тем быть той «большой рабочей силой», которая умело сочетала бы в себе глубину и тщательность всесторонне продуманного исследования и научно-организаторские таланты. Нужна была большая творческая работа. В своих первых письмах Бартольд – от 1.IX.1906 г. и 8.XII.1906 г. – Самойлович фактически дает предварительный отчет о своей второй полевой экспедиции в Туркмению с перечнями разнообразных собранных им материалов (ср. подготовленные им в 1907 г. «Отчеты о поездках в Среднюю Азию. Автограф, чернилами и карандашом. 1906–1907»: РНБ. Ф. 671. Д. 31).

Научное творчество Самойловича характеризовалось тем, что он вел, можно сказать, параллельно исследования, с одной стороны, живых современных тюркских языков и диалектов (записывая попутно фольклорные материалы), а с другой – старинных рукописей среднеазиатско-тюркской литературы, общепризнанным знатоком которых он стал.

При изучении живых языков он опирался на «здоровые начала современного научного языкознания», которые в его время и по его словам еще недостаточно применялись в востоковедении не только России, но и Запада. Им составлены грамматики крымско-татарская, османско-турецкая (обе изданы, последняя переиздана репринтом [Самойлович 2002]) и узбекская (по-видимому, безвозвратно утрачена).

Систематическое исследование старинных рукописей, которое, по убеждению Самойловича, должно предшествовать переводу и изданию изучаемого текста, позволило ему разработать специальную комплексную методику. При использовании этой методики в его богатой эдиционно-исследовательской практике ученым заложена основа научного анализа средневекового тюркского текста и этим внесен существенный вклад в медиевистику в целом (см. [Самойлович 2005: 360]; см. еще [Благова 2000]). Все это в совокупности открывало выход к масштабной научной перспективе.

Можно предположить, что именно напряженная творческая, исследовательская работа помогла А.Н. Самойловичу ощутить себя способным на лидерство в востоковедении.

Самойлович был убежден, что «весьма важная часть деятельности ученого <...> состоит в организации научных сил и в использовании для научных целей возможно широкого круга лиц» [Самойлович 1925: 167].

Для Самойловича научная переписка с коллегами становится средством объединения востоковедов-единомышленников. Из его письма к В.А. Гордлевскому от 2.X.1908 г. становится известно, как завязалась переписка между этими двумя молодыми тюркологами. «Я получил Ваше письмо как раз на другой день после беседы, которую имел с Н.Н. Мартиновичем на ту же тему, что мне весьма желательно завязать прочные связи с московскими тюркологами, для какой цели я склонен был бы прямо проехать в Москву. Я с большим удовольствием, значит, узнал из Вашего письма, что желания наши встретились, и известие о Вашем скором приезде в Петербург меня очень обрадовало» [Баскаков 1973: 84]. Как писал Н.А. Баскаков, «приводимые ниже письма А.Н. Самойловича к В.А. Гордлевскому наглядно свидетельствуют о той готовности, с которой ученые информировали друг друга о своей работе, взаимно консультировались, стремясь к объединению усилий для развития отечественной тюркологии» [Баскаков 1973: 84].

Своей научной переписке Самойлович придавал огромное значение; в письме к Гордлевскому от 7.X.1915 г. он писал: «Вы не можете себе представить, какая у меня охота побеседовать с Вами. Ваше молчание вышибает целое звено в цепи моего обще-

ас туркологами, и тюркологический ток прерывается. Ведь этого не должно быть! Нас мало, и мы должны непрерывно держаться за руки! Откликнитесь же, дорогой коллега!» [Баскаков 1973: 90].

У Самойловича был свой «архив корреспонденции», который, судя по его письму к Н.И. Ашмарину от 9.III.1924 г., а также по высказыванию о его переписке с Н.Ф. Катановым [Самойлович 1924], он вел достаточно аккуратно: по крайней мере, все письма его респондентов были под рукой, и он мог сказать, сколько писем от того или иного ученого он получил и в какое время. На ряде писем его респондентов проставлена пометка «отвечено» и дата ответа. В своих письмах Самойлович откровенно пишет о своей текущей работе, своих творческих планах и ждет такого же откровенно заинтересованного ответа от респондента.

Летом 1913 г. Самойлович совершил первую научную поездку в Западную Европу – Будапешт, Вена, Берлин, Париж; особенно плодотворными были его изыскания в Парижской национальной библиотеке, где он открыл рукопись Дивана Бабура и рукопись «Хусрау ва Ширин» Кутба. На протяжении этой поездки Самойлович, по всей видимости, имел возможность широко и активно общаться с западноевропейскими востоковедами, и одним из его заветных мечтаний стала идея о конгрессе (съезде) тюркологов.

Сообщая в письме к В.А. Гордлевскому от 29.VIII.1913 г., что он ждет в гости нового знакомого «J. Depu из Парижа» (который, судя по письму Владимирцова к Самойловичу от 23.IX.1912 г. тогда «хотел бы войти в сношения» с Самойловичем), Самойлович приглашает к себе и Гордлевского с тем, чтобы совместно обсудить вопрос о конгрессе: «В середине сентября жду в гости J. Depu из Парижа <...>. Вам бы тоже было хорошо прикатить в Питер, устроили бы репетицию конгресса тюркологов, о конгрессе я мечтаю, <...> идея которого встречает сочувствие на Западе» [Баскаков 1973: 88]. Как писал Н.А. Баскаков, «по-видимому, после посещения Петербурга французским тюркологом Ж. Дени и беседы с ним мысль о созыве международного конгресса тюркологов была отложена: “Моя мысль о съезде тюркологов, можно сказать, пока полу-шутка. Depu прогостил у меня неделю и уехал к родоплеменникам в Киев” (7 октября 1913 г.)»; по мнению Н.А. Баскакова, «создание международного объединения тюркологов не удалось реализовать, скорее всего, из-за вспыхнувшей в 1914 г. войны» [Там же].

Через десятилетие – уже после Октябрьской революции и фактически в другой стране – в советской России – Самойлович вновь вернется к идее тюркологического съезда, который, естественно, будет иметь и другой статус (не международный, а всесоюзный), и совершенно иные, новые целевые установки.

Пока же А.Н. Самойлович прилагает усилия, чтобы реализовать другую давнишнюю свою идею, связанную с объединением отечественных тюркологов. «Давнишняя моя идея объединить русских тюркологов начинает, по-видимому, осуществляться: по моей инициативе 12 сентября основан на квартире Радлова частный кружок “алтаистов” (турецко-монгольско-маньчжурский); его задачи: объединение научной работы, установление планомерности, подведение итогов, выработка программ, коллективная разработка вопросов, превышающих единичные силы. Были: Радлов, Котвич, Руднев, Штернберг, Владимирцов и я» (14.IX.1915 г.); «Завтра третье заседание кружка алтаистов. Пригласил к нам еще Бартольд. Будем разбирать работу Рамстедта о монгольском местимени. <...> Предполагается издание справочника о русских монголистах, тунгусистах и тюркологах (без различия национальностей и пр.). Радлов страшно увлекается кружком и недоволен, что редко собираемся (1 раз в месяц) (8.XI.1915)» [Баскаков 1973: 88, 89].

Само существование кружка алтаистов способствовало распространению «духа жива» в русском востоковедении и сплочению «молодых» сил. Как писал Самойлович 8.XI.1915 г.: «Факультет оживает все сильнее и сильнее, живем дружно кругом “молодых” разных возрастов» [Там же: 89]. После смерти В.В. Радлова кружок алтаистов, которым он был так увлечен, был преобразован в Радловский кружок [Кононов 1970б: 16–17], его председателем стал В.В. Бартольд.

К началу 20-х годов судя по высказываниям в письмах Самойловича и к Бартольд, и к Крачковскому, а также по заявлениям в печати, в отечественном востоковедении завершилось становление и утверждение новой, теоретическо-научной школы. В «Записке об учреждении Института живых восточных языков» [Справочные сведения 1920–1923 гг.: 56], где излагалась предыстория учреждения «школы практического востоковедения» (ПИЖВЯ, позднее ЛИЖВЯ), речь шла о «создании Института живых восточных языков при самом *рассаднике теоретическо-научного востоковедения в России*, т.е. при Факультете восточных языков Первого Петроградского университета» (курсив наш. – Г.Б.). Самойлович писал Крачковскому: «<...> Петроград остается конечной моей целью, пока он является единственным серьезным центром Российского востоковедения» [из письма Самойловича Крачковскому от 26.I.1921 г.]; позднее – в письме к Бартольду: «А я свылся с мыслью, что Петроград является единственной в мире по мощности твердыней ориентализма, и только в силу этого убеждения решительно отвергал и отвергаю настойчивые и в некоторых отношениях заманчивые предложения перебраться из этого города <...> в иные места» [из письма Самойловича Бартольду от 20.XI.1923 г.]. В свою очередь, Бартольд выражает заботу об «авторитете нашей <научной> школы»: «Думаю, однако, что неудачная рекомендация москвича не очень повредит авторитету нашей школы, хуже было бы, если бы оказался несостоятельным кто-нибудь из получивших научное образование у нас» [из письма Бартольда Самойловичу от 9.IX.1927 г.].

В начале 20-х годов идея объединения тюркологов, равно как и идея укрепления и консолидации новой школы «молодых» представителей этой специальности, которые, видимо, не оставляли Самойловича, подвигли его заняться трудоустройством С.Е. Малова в Петрограде, приглашением В.А. Гордлевского также переехать в Петроград для занятия кафедры покойного В.Д. Смирнова. «Делаю Вам настоящее предложение, следовательно, от имени всех своих коллег и с их ведома. Все мы были бы бесконечно рады, если бы Вы еще теснее слились с нами на поприще востоковедения» (письмо от 1.XI.1922 г.) [Баскаков 1973: 90].

Повышенный интерес Самойловича к Гордлевскому, возможно, объясним тем, что этот последний был, по определению Н.К. Дмитриева, «востоковед особого типа, который формально являясь питомцем ЛИВЯ <Лазаревского института>, фактически перерос его уже с самого момента его окончания и пошел по своему индивидуальному научному пути», «среди московских востоковедов В.А.Г. давно уже занимает центральное место» [Дмитриев 2001б: 193]. Судя по той доверительности, открытости, с которой написаны письма Самойловича к нему, можно думать, что Гордлевский выказывал сочувствие к передовым идеям коллеги.

Владимир Александрович Гордлевский (1876–1956), приехав в 1895 г. в Москву, поступил в Специальные классы Лазаревского института восточных языков (ЛИВЯ), закончил их в 1899 г. и в том же 1899 г. поступил на словесное отделение историко-филологического факультета Московского университета, где вполне овладел методом научной филологии. После окончания университета в 1904 г. по представлению Вс.Ф. Миллера Гордлевский был оставлен при Лазаревском институте для подготовки к профессорской деятельности и был командирован для усовершенствования в восточных языках на Восток (в Турцию и Сирию, где пробыл два года, изучая турецкий и арабский языки). Третий год командировки он провел в Париже, где, как отметил в своей автобиографии, «слушал лекции в Collège de France и занимался на дому у профессора Ecole Pratique des Hautes Etudes Жозефа Халеви» [Базиянц 1979: 10].

Овладев живым турецким языком свободно, Гордлевский прилагал методы научной филологии к исследованию собираемого им фактического материала. Творческий путь В.А. Гордлевского, по словам Н.К. Дмитриева, «в методическом отношении последовательно проходит следующие этапы: этнография – фольклор – литературоведение», среди которых свое место нашли «фольклористика этнографического направления» и «фольклористика литературного направления» [Дмитриев 2001б: 194, 199, 201]; перечисляемые Дмитриевым «лингвистические моменты», например, в работе Гордлевско-

го «Из наблюдений над турецкой песней», подводят его к понятию «фольклористика лингвистического направления» [Там же: 201 и сл.].

По возвращении из первых научных командировок в Турцию Гордлевский начал преподавательскую деятельность (1907–1948) в Лазаревском институте (позднее – Московском институте востоковедения), а научную, кроме того, в Этнографическом отделе Общества любителей естествознания, антропологии, этнографии (ОЛЕАЭ) при Московском университете. Активно участвует в печатном органе отдела – журнале «Этнографическое обозрение»; здесь он основывает и ведет отдел Турции и Ближнего Востока. С 18.XII.1913 г. Гордлевский стал председателем Комиссии по народной словесности при Этнографическом отделе ОЛЕАЭ. Активное участие Гордлевский принимал в работе Московской Восточной комиссии под руководством акад. Ф.Е. Корша и ее печатного органа «Древности Восточные», «видя в ней возможный центр для будущего московского востоковедения на научных основах» [Дмитриев 2001б: 196].

В.А. Гордлевский помещал свои труды, помимо изданий ЛИВЯ, журналов «Этнографическое обозрение» и «Древности Восточные», также в петербургских – «Живая старина» и «Мир ислама»; после революции – в журналах «Восток» и «Новый Восток», в «Записках Коллегии востоковедов», «Записках Института востоковедения АН СССР» (Л.), «Докладах АН СССР. Сер. востоковедения», «Известиях АН СССР» и др. Параллельно и его преподавательская и научно-исследовательская деятельность распространилась на ряд московских и отчасти ленинградских учреждений. В.А. Гордлевский стал признанным главой советских тюрковедческих кадров [Дмитриев 2001б: 196]. Ученую степень доктора литературоведения получил без защиты диссертации (1934 г.), профессор (1925 г.). Членом-корреспондентом избран в 1929 г., действительным членом АН СССР – в 1946 г.

Другим замечательным выпускником Лазаревского института тех лет был Н.И. Ашмарин. В письме от 18.IV.1930 г. Самойлович сообщил ему о своем давнишнем споре с А.Е. Крымским (во время Тюркологического съезда в Баку, март 1926 г.): «Крымский тогда хвастался тем, что в свое время основательно будто бы предпочел Гордлевского Вам в вопросе об оставлении при Лазаревском институте, а я ему возражал. Теперь, в Киеве, после подробного изучения Ваших творений он признал мою правоту»¹⁰. В письме к В.В. Бартольд от 20.XI.1923 г. Самойлович характеризует Н.И. Ашмарина («с его чувашским словарем») как «единственного, по моему крайнему разумению, специалиста по чувашелогии во всей России». В письме Ашмарину от 9.III.1924 г. Самойлович напоминает: «мы связаны между собою более чем только общей специальностью». Верный своей идее сплочения тюркологов, он предлагает «этому достойнейшему и скромнейшему человеку» «оживить наши сношения, и вот сегодня делаю почин в этом направлении» (из письма Самойловича Ашмарину от 9.III.1924 г.).

Николай Иванович Ашмарин (1870–1933), потомок ярославских крепостных крестьян (правда, дед прибыл в г. Ядрин уже офеней и открыл там свою торговлю), сын купца II гильдии; в его жилах текла и чувашская кровь (чувашкой была мать, по версии Н.А. Резюкова, его ученика и соратника, а по другой версии – бабушка [Гордлевский 1968]). Через чувашскую родительницу, а также из-за торговых дел отца, вращаясь в чувашской среде г. Курмыш, где жила их семья, в 13 лет овладел чувашским языком настолько, что мог свободно изъясняться на этом языке. По окончании Нижегородской классической гимназии поступил в Лазаревский институт восточных языков, который закончил в 1894 г. по 1-му разряду. Слушая лекции по турецкому языку в Лазаревском институте, не мог не подметить его сходства с чувашским и со студенческой скамьи стал собирать материал по этому мало изученному тогда языку [Егоров 1948].

¹⁰ Письма А.Н. Самойловича к Н.И. Ашмарину хранятся в Научном архиве Чувашского государственного института гуманитарных наук; из их числа два письма – от 5.II.1925 и 18.IV.1930 – были опубликованы нами в составе Приложения к статье [Благова 2002: 110–113].

В 1895–1899 гг. преподавал татарский язык в Казани в крещенотатарской школе и географию в инородческой учительской семинарии (до 1919 г.). В середине 90-х годов XIX в. Ашмарин работал в Казани над созданием грамматики чувашского языка. По его собственному признанию (цит. по [Кокова 1993: 67]), «Грамматика вышла довольно хаотичной и с большими недостатками, так как у меня не было навыка к научной работе, а руководителя я не имел. Как бы то ни было, покойный профессор Казанского университета Н.Ф. Катанов, которому я передал на рассмотрение свой труд, сказал мне, что он находит небесполезным напечатать мою грамматику и поэтому будет ходатайствовать о напечатании ее в “Ученых записках” <Казанского университета>. Таким образом, моей первой работе в области изучения чувашского языка очень посчастливилось»; в примечании Ашмарин сообщает: «В письме к Н.Ф. Катанову покойный венгерский академик Б. Мункачи назвал эту работу уже после ее напечатания “wichtig”»¹¹. Ашмарин первым предпринял научное обследование чувашского синтаксиса [Ашмарин 1903: Ч. 1; 1923: Ч. 2].

В письме к Ашмарину от 27.IX.1916 г. Самойлович пишет о заседании на квартире акад. Радлова, на котором было выслушано «его <т. е. Радлова> сообщение о чувашском языке, составленное главным образом по Вашим трудам». В этом же письме, а также в письме от 6.V.1917 г. Самойлович заботливо отвечает на запрос своего адресата: возможно ли ему «держать магистерский экзамен без государственного», и сообщает «новую магистерскую программу» в той ее части, которая относится к Ашмарину. Характерно для Самойловича, что он подчеркивает особо там же солидарность своих коллег в вопросе, интересующем Ашмарина: «Петроградские востоковеды весьма сочувствуют Вашему намерению».

Всю свою жизнь Ашмарин посвятил Поволжью, главным образом чувашам, их языку и фольклору. Именно Ашмарин доказал в 1902 г. ближайшее родство чувашского и болгарского языков; впоследствии те фонетические характеристики болгарского языка, которые были им намечены, подтвердил З. Гомбоц, исследовавший древнетюркские элементы в современном венгерском языке [Ашмарин 1902; Gombocz 1912].

С 1917 г. Ашмарин преподавал татарский и чувашский языки в Казани в Северо-Восточном археологическом и этнографическом институте (Восточная Академия – Восточный институт), позднее – в Симбирске в Чувашском институте народного образования, где он читал курс чувашского языка. Все это время он продолжал собирать материалы к своему чувашско-русскому словарю.

1923–1926 годами датируется жизнедеятельность Ашмарина в Баку, где он стал заведующим кафедрой тюркологии на восточном факультете Азербайджанского университета. В эти годы он занимается общетюркологической проблематикой, разворачивает исследовательскую работу по азербайджанской диалектологии – ему принадлежит «Программа и инструкция по сбору диалектного материала», а также монографическое описание нухинских говоров азербайджанского языка [Ашмарин 1926]. В 1925 г. ему присвоено звание доктора филологии.

В эти же годы Ашмарин выступает с инициативой составления «словаря тюркских народных говоров Азербайджана»; в результате реализации поставленной задачи в 1930 и 1931 г. вышли в свет два выпуска I тома этого словаря. По мнению М.Ш. Ширалиева, своими трудами, среди которых особое место занимает уникальное монографическое исследование «Общий обзор народных тюркских говоров гор. Нухи», Н.И. Ашмарин положил «начало подлинно научному изучению богатейших диалектов и говоров азербайджанского языка» [Ширалиев 1970: 76].

Вернувшись в Казань, Ашмарин работал в Восточном пединституте (до 1931 г.). С 1931 г. до конца жизни занимался изданием своего словаря.

Основной труд Ашмарина – «Словарь чувашского языка» [Ашмарин 1928–1950]; в 17 выпусках содержится около 50 тысяч слов, богато представлена фразеология, рас-

¹¹ *Wichtig* ‘важный’ ‘важно’ (нем.).

крывающуюся народную (крестьянскую) жизнь чувашей. В.В. Бартольд назвал этот труд «классическим», А.Н. Самойлович – «драгоценным словарем» (из его письма Ашмарину от 18.IV.1930 г.).

В другом письме к Ашмарину (без даты) Самойлович передает суждения других ученых: «Э.К. Пекарский шлет Вам глубокий привет и восхищение Вашим Словарем: “Читаю с большим удовольствием”; Д.К. Зеленин: “со словарем, так прекрасно составленным и с таким богатым материалом, нам легче работать”».

В последний казанский период жизни Ашмарина он часто выезжал в Чебоксары по вопросам печатания очередных выпусков своего Словаря. В этих вопросах ему неизменно помогал Н.А. Резюков, являвшийся редактором некоторых выпусков; после смерти составителя (в 1933 г.) он подготовил к печати выпуски 8–14.

А.Н. Самойлович причислял Н.И. Ашмарина к плеяде первых отечественных «теоретиков-лингвистов в области туркологии»: «Своих научно-подготовленных теоретиков-лингвистов в области туркологии Россия начала выдвигать только во второй половине XIX в. (Н.И. Ильминский, Ф.Е. Корш, К.Г. Залеман, П.М. Мелиоранский, Н.И. Ашмарин) <...>» [Самойлович 2005: 147].

В 1929 г. Н.И. Ашмарин был избран членом-корр. АН СССР. Похоронен на Арском кладбище в Казани.

Поливанов Евгений Дмитриевич (1891–1938) – российский востоковед широкого профиля: специалист по японскому, китайскому, тюркскому, алтайскому и общему языкознанию. Окончил в 1912 г. Петербургский университет – по славяно-русскому отделению историко-филологического факультета и Практическую восточную академию по японскому разряду. Совершенствовал знания в Японии. С 1914 г. – приват-доцент факультета восточных языков. Занимается исторической фонетикой японского языка, разрабатывает гипотезу о смешанном характере японского языка. За диссертацию «Психофонетические наблюдения над японскими диалектами» в 1915 г. ему присуждена ученая степень магистра. Преподаватель Петроградского университета (1915–1921). Профессор (1920 г.). В ноябре 1917 г. приват-доцент Поливанов занимал пост уполномоченного по иностранным делам [Долинина 1994: 131 и примеч. на с. 406].

В 1921 г., переехав в Ташкент, преподавал в САГУ, Туркестанском восточном институте (1921–1926). Быстро овладел узбекским языком и его диалектами, а также диалектами таджикского языка, ходжентским и самаркандским. Из письма Поливанова к Самойловичу от <1930 г.> видно, что им написан краткий предварительный очерк узбекских говоров Хорезма и составляется «Диалектологический словарь узбекского языка»; совместно с иранистом Виноградовым написаны статья «Ходжентский говор таджикского языка» и краткий очерк грамматики самаркандского говора таджикского языка. В этот период им были изданы «Краткий русско-узбекский словарь» [Поливанов 1926а] и «Краткая грамматика узбекского языка» [Поливанов 1926б].

В 1926–1929 гг. Поливанов преподает в Москве в КУТВ. Был председателем Лингвистической секции Института языка и литературы РАНИОН. После его участия в дискуссии по проблемам теоретического языкознания, когда он в своем докладе показал несостоятельность яфетидической теории Н.Я. Марра, ему пришлось принять приглашение Узбекского Наркомпроса и выехать для работы в Самарканд. Оставался заместителем председателя Государственного ученого комитета при Наркомпросе Туркестана (1926–1931 гг.), был научным сотрудником ВНИИ культурного строительства. Преподавал в вузах Ташкента, Самарканда, Фрунзе. Совместно с Ю. Яншансином составил «Граматику дунганского языка» [Поливанов 1935–1936]. По тюркологии в этот период им подготовлен целый ряд работ.

Концепция языка Е.Д. Поливанова, по мнению В.М. Алпатова, дошла до нас не полностью; наряду с марксизмом он обращался и к другим теориям. «Марксизм стимулировал изучение Евгением Дмитриевичем социальных проблем языка, отражения законов диалектики в языке, но собственно марксистской теории языка у него не было, и сама задача была невыполнимой» [Алпатов 2001]. Знаменателен вывод, что «фундамент

многих построенной современной типологии и исторической алтаистики воздвигался не без участия творческого гения Е.Д. Поливанова» [Насилов 2001].

Е.Д. Поливанов в 1937 г. был репрессирован, в 1938 г. расстрелян.

Дмитриев Николай Константинович (1898–1954) – один из наиболее ярких и талантливых тюркологов, пришедших в науку в середине 20-х годов. В 1920 г. он окончил историко-филологический факультет Московского университета по классическому отделению, одновременно изучая общее языкознание, южнославянские языки (особенно – болгарский и сербский) и овладевая на курсах иностранных языков Берлица в 1916–1918 гг. английским и итальянским языками (французский он усвоил в семье с детства [Тенишев, Дыбо 2001: 7–10]). Впоследствии на этих языках он писал тюркологические работы для зарубежных журналов.

В 1918 г. Дмитриев одновременно поступил и в Лазаревский институт восточных языков (с 1921 г. – Московский институт востоковедения: МИВ) сразу на три разряда: турецкий, арабский, персидский; изучал также пехлевийский, сирийский, а из тюркских – азербайджанский, башкирский, казахский. В 1922 г. Дмитриев окончил МИВ и по предложению крупного слависта А.М. Селищева предпринял исследование славянско-тюркских языковых отношений. Защитив кандидатскую диссертацию на тему «Элементы турецкого языка в сербском фольклоре»¹², он осенью того же 1925 г. по приглашению А.Н. Самойловича переезжает в Ленинград, где стал работать в ЛИЖВЯ (впоследствии – Восточный институт) сначала в должности доцента, с 1929 г. – профессора, с 1930 г. до закрытия института в 1937 г. – заведующим кафедрой турецкого языка.

Сохраняя связи с Москвой, Дмитриев работал в Московском университете с 1928 г. доцентом, с 1929 г. – профессором; с 1930 по 1939 г. руководил кафедрой тюркских языков. В 1940 г. он назначен заведующим кафедрой тюркской филологии филологического факультета МГУ; в 1944–1948 гг. параллельно заведовал кафедрой тюркской филологии восточного факультета ЛГУ. С 1949 г. он руководит Восточным отделением филологического факультета МГУ (являясь его фактическим руководителем с 1943 г.). С 1938 г. по 1954 г. Дмитриев был бессменным заведующим тюркским сектором Научно-исследовательского института языка и письменности АН СССР (в 1950 г. реорганизованного в Институт языкознания АН СССР). Член-корр. АН СССР (1943), действительный член АПН (1945 г.), Н.К. Дмитриев вырастил целую школу тюркологов-лингвистов, а также методистов.

Ученый-теоретик, проникший в глубины тюркских языков, Н.К. Дмитриев был ученым «полевого склада»: «благодаря своим исключительным способностям вел одновременное исследование ряда тюркских языков – турецкого, азербайджанского, гагаузского, туркменского, крымско-татарского, башкирского, татарского, кумыкского, и эти обширные познания сделали его особенно ценным работником всесоюзного масштаба пользующимся заслуженной известностью и среди зарубежных тюркологов» (из архивного отзыва А.Н. Самойловича).

В результате многочисленных научных экспедиций, которые им возглавлялись и подготовку к которым он производил тщательнейшим образом (это явствует из его архивных материалов), Дмитриев сформировался как организатор особой школы тюркской диалектологии, он создал основной научный фонд для исследования различных тюркских языков и диалектов, прежде не изучавшихся или малоизученных. Автор первых научных грамматик кумыкского и башкирского языков [Дмитриев 1940; 1948], его грамматические труды см. также: [Дмитриев 1962] (грамматика азербайджанского языка, подготовленная к печати Дмитриевым, утрачена издательством во время войны).

¹² В связи с этим исследованием И.Ю. Крачковским был написан «Отзыв о научно-литературной деятельности Н.К. Дмитриева», который в сокращении приведен в сборнике, посвященном 100-летию со дня его рождения [Николай Константинович Дмитриев: К 100-летию: 2001: 26–28].

Опираясь на созданный им фонд языковых данных, Н.К. Дмитриев заложил научные основы сравнительной грамматики тюркских языков, которая была создана коллективом тюркологов Института языкознания АН СССР под его руководством и при его участии.

Насколько высоко А.Н. Самойлович ценил Дмитриева, свидетельствуют архивные материалы, связанные с подготовкой планировавшегося «II востокведного съезда». По мысли Самойловича, «на предстоящем в 1936 г. всесоюзном востокведном съезде мы должны заслушать и обсудить доклад о том, как у нас организовано изучение анатолийско-турецкого языка, что в этой области сделано за советское время и каковы планы на ближайшее будущее». Черновая рукопись доклада под заглавием «Изучение анатолийско-румелийско-турецкого языка» хранится в архивном фонде ученого (РНБ. Ф. 671. Д. 132, 70 листов чернилами, без даты). Излагая замыслы обследования современного турецкого языка во всем объеме диалектов, Самойлович предполагал во главе этого научного предприятия поставить Н.К. Дмитриева, «талантливого и энергичного ученика проф. В.А. Гордлевского»: «Я считаю нужным особо отметить широко развернувшуюся в послеоктябрьских условиях научную деятельность Н.К. Дмитриева, который приобрел своими трудами по анатолийско-турецкому языку и международную известность, и право на руководящую роль в этой лингвистической области у нас в Союзе. На него, таким образом, естественно падает и обязанность организовать как следует изучение в СССР анатолийско-турецкого языка во всем его обширном объеме, объединить для этого дела соответствующих специалистов и соответствующие научные учреждения Ленинграда, Москвы, Украины, Закавказья» (РНБ. Ф. 671. Д. 132. Л. 31, 66–67).

По объективным причинам «II Всесоюзный востокведный съезд» не состоялся ни в 1936 г., ни в последующие годы. Доклад А.Н. Самойловича, как и его планы выдвинуть Н.К. Дмитриева на руководящую роль в деле «изучения в СССР анатолийско-турецкого языка во всем его обширном объеме» надолго остались в недрах архива.

Как любил говорить своим ученикам Н.К. Дмитриев, «новое – это хорошо забытое старое». Введение в научный оборот забытых или не востребуемых идей А.Н. Самойловича о двух школах в тюркологии, размежевавшихся по методологическому критерию в период «смены средневековья нашей науки новой историей» – при опоре на кардинальное расширение источниковой базы – открывает широкие перспективы для системных историографических исследований в области отечественной тюркологии. «<...> погребать под спудом забвения документы, ценные для науки, есть невнимание к науке <...>» [Самойлович 2005: 142].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алпатов 2001 – В.М. Алпатов. Марксистская концепция языка Е.Д. Поливанова // Е.Д. Поливанов и его идеи в современном освещении. Сб. научн. статей, посвященный 110-й годовщине со дня рождения Е.Д. Поливанова. Смоленск, 2001.
- Ашмарин 1902 – Н.И. Ашмарин. Болгары и чуваша: К вопросу о волжских болгарях и их отношении к нынешним чувашам. Казань, 1902.
- Ашмарин 1903: Ч. 1; 1923: Ч. 2 – Н.И. Ашмарин. Опыт исследования чувашского синтаксиса. Ч. 1. Казань, 1903; Ч. 2. Симбирск, 1923.
- Ашмарин 1926 – Н.И. Ашмарин. Общий обзор народных тюркских говоров гор. Нухи. Баку, 1926.
- Ашмарин 1928–1950 – Н.И. Ашмарин. Словарь чувашского языка. Вып. 1–17. Казань; Чебоксары, 1928–1950.
- Ашнин 1978а – Ф.Д. Ашнин. Александр Николаевич Самойлович // ТС 1974. М., 1978.
- Ашнин 1978б – Список трудов А.Н. Самойловича (с указанием рецензий на них) и литература о нем / Сост. Ф.Д. Ашнин // ТС 1974. М., 1978.
- Ашнин, Алпатов 1996 – Ф.Д. Ашнин, В.М. Алпатов. Архивные документы о гибели академика А.Н. Самойловича // Восток. 1996. № 5.
- Ашнин, Алпатов, Насилов 2002 – Ф.Д. Ашнин, В.М. Алпатов, Д.М. Насилов. Репрессированная тюркология. М., 2002.

- Базиянц 1979 – *А.П. Базиянц*. Владимир Александрович Гордлевский. М., 1979.
- Бартольд 1963 – *В.В. Бартольд*. Соч. Т. I. М., 1963.
- Бартольд 1976 – *В.В. Бартольд*. Соч. Т. IX. М., 1976.
- Баскаков 1973 – *Н.А. Баскаков*. А.Н. Самойлович в письмах к В.А. Гордлевскому // СТ. 1973. № 5.
- Благова 2000 – *Г.Ф. Благова*. Эдиционно-исследовательская методика в трудах А.Н. Самойловича // Rocznik Orientalistyczny. 2000. Т. LIII. Z. 1.
- Благова 2002 – *Г.Ф. Благова*. История среднеазиатско-тюркских литератур и история литературных языков в трудах А.Н. Самойловича послеоктябрьского периода // ВЯ. 2002. № 2.
- ВИ 2004. № 2 – Вопросы истории. 2004. № 2.
- Гордлевский 1968 – *В.А. Гордлевский*. Памяти Н.И. Ашмарина (К 85-летию со дня рождения) // В.А. Гордлевский. Избр. соч. Т. IV. М., 1968.
- Дмитриев 1940 – *Н.К. Дмитриев*. Грамматика кумыкского языка. М.; Л., 1940.
- Дмитриев 1948 – *Н.К. Дмитриев*. Грамматика башкирского языка. М.; Л., 1948.
- Дмитриев 1962 – *Н.К. Дмитриев*. Строй тюркских языков. М., 1962.
- Дмитриев 2001а – *Н.К. Дмитриев*. Восточная филология в Московском университете/Публ. и коммент. Г.Ф. Благова // Николай Константинович Дмитриев: 100-летие со дня рождения. М., 2001.
- Дмитриев 2001б – *Н.К. Дмитриев*. В.А. Гордлевский как фольклорист и этнограф/Публ. и коммент. Г.Ф. Благова // Николай Константинович Дмитриев: 100-летие со дня рождения. М., 2001.
- Долинина 1994 – *А.А. Долинина*. Невольник долга. СПб., 1994.
- Егоров 1948 – *В.Г. Егоров*. Ашмарин как исследователь чувашского языка (К 75-летию со дня рождения). Чебоксары, 1948.
- Иванов 1973 – *С.Н. Иванов*. Николай Федорович Катанов (Очерк жизни и деятельности). 2-е изд. М., 1973.
- Кокова 1993 – *И.Ф. Кокова*. Н.Ф. Катанов. Документально-публицистическое эссе. Абакан, 1993.
- Кононов 1970а – *А.Н. Кононов*. В.В. Бартольд – выдающийся востоковед (К 40-летию со дня смерти) // СТ. 1970. № 6.
- Кононов 1970б – *А.Н. Кононов*. Тюркское языкознание в Ленинграде. 1917–1967 // ТС 1970. М., 1970.
- Кононов 1972 – *А.Н. Кононов*. В.В. Радлов и отечественная тюркология // ТС 1971. М., 1972.
- Кононов 1973 – *А.Н. Кононов*. П.М. Мелиоранский и отечественная тюркология // ТС 1972. М., 1973.
- Кононов 1982 – *А.Н. Кононов*. История изучения тюркских языков в России. Дооктябрьский период. 2-е изд., доп. и испр. Л., 1982.
- Кононов 1984 – *А.Н. Кононов*. Борис Яковлевич Владимирцов – тюрколог // СТ. 1984. № 4.
- Кононов 1989 – Библиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период. 2-е изд., перераб., подг. А.Н. Кононов. М., 1989.
- Мелиоранский 1894: Ч. I и 1897: Ч. II – *П.М. Мелиоранский*. Краткая грамматика казак-киргизского языка. Ч. I. Фонетика и этимология. СПб., 1894; Ч. II. Синтаксис. 1897.
- Мелиоранский 1900а – *П.М. Мелиоранский*. Рец.: L. Bonelli. Elementi di grammatica turca osmanlı // ЗВОРАО. 1900. Т. XII.
- Мелиоранский 1900б – *П.М. Мелиоранский*. Араб филолог о турецком языке / Араб. текст издал и снабдил переводом и введением П.М. Мелиоранский. СПб., 1900.
- Насилов 2001 – *Д.М. Насилов*. «Языковой строй» в трудах Е.Д. Поливанова // Сб.: Е.Д. Поливанов и его идеи в современном освещении. Смоленск, 2001.
- Неизвестные страницы. II. 2004 – Неизвестные страницы отечественного востоковедения. Вып. II. М., 2004.
- Николай Константинович Дмитриев: К 100-летию: 2001 – Николай Константинович Дмитриев: К 100-летию со дня рождения. Сб. статей. М., 2001.
- Петросян 2002 – *Ю.А. Петросян*. Традиции Азиатского музея и их хранители // Петербургское востоковедение. Вып. 10. СПб., 2002.
- Петрушевский 1963 – *И. Петрушевский*. Академик В.В. Бартольд (биографическая справка) // В.В. Бартольд. Соч. Т. I. М., 1963.
- Поливанов 1926а – *Е.Д. Поливанов*. Краткий русско-узбекский словарь. Ташкент, 1926.
- Поливанов 1926б – *Е.Д. Поливанов*. Краткая грамматика узбекского языка: В 2-х ч. Ташкент, 1926.

- Поливанов 1933 – *Е.Д. Поливанов*. Узбекская диалектология и узбекский литературный язык. Ташкент, 1933.
- Поливанов 1935–1936 – *Е.Д. Поливанов*. Грамматика дунганского языка. Учебник для начальной школы. Ч. I–II. Фрунзе, 1935–1936. (Соавтор Ю. Яншансин; на дунганском яз.).
- Радлов 1866–1872 – *В.В. Радлов*. Наречия тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи. I отделение. Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи. Ч. I–IV. Собраны В.В. Радловым. СПб., 1866–1872.
- Розен–Ольденбург 2004 – Переписка В.Р. Розена и С.Ф. Ольденбурга (1887–1907) / Публ., коммент. и примеч. И. Смилянковой и др. // Неизвестные страницы отечественного востоковедения. II. 2004.
- Самойлович 1923 – *А.Н. Самойлович*. Памяти профессора В.Д. Смирнова // Восток. М., 1923. Кн. 3.
- Самойлович 1924 – *А.Н. Самойлович*. Профессор Н.Ф. Катанов – первый ученый из абаканских турков // Жизнь Бурятии. 1924. № 6 (Верхнеудинск).
- Самойлович 1925 – *А.Н. Самойлович*. И.Н. Березин как турколог (1818–1918) // Записки Коллегии востоковедов. Т. I. Л., 1925.
- Самойлович 2002 – *А.Н. Самойлович*. Краткая учебная грамматика османско-турецкого языка. М., 2002.
- Самойлович 2005 – *А.Н. Самойлович*. Тюркское языкознание. Филология. Руника. М., 2005.
- Справочные сведения 1920–1923 гг. – Справочные сведения по Петроградскому институту живых восточных языков (1920–1923 гг.). Л., 1924.
- Тенишев 2005 – *Э.Р. Тенишев*. Памяти С.Е. Малова // Эдгем Рахимович Тенишев. Жизнь и творчество 1921–2004. М., 2005.
- Тенишев, Дыбо 2001 – *Э.Р. Тенишев, А.В. Дыбо, Н.К. Дмитриев* // Николай Константинович Дмитриев: 100-летие со дня рождения. М., 2001.
- Ширалиев 1970 – *М.Ш. Ширалиев*. Н.И. Ашмарин и развитие азербайджанской диалектологии (К 100-летию со дня рождения) // СТ. 1970. № 6.
- Gombocz 1912 – *Z. Gombocz*. Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache // Mémoires de la Société Finno-ougrienne. 1912. Bd. XXX.
- Radloff 1882–1883 – *W. Radloff*. Vergleichende Grammatik der nördlichen Türksprachen. I: Phonetik der nördlichen Türksprachen. Leipzig, 1882–1883.
- Radloff 1884 – *W. Radloff*. Aus Sibirien. Bd. I. Leipzig, 1884.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- АПН – Академия педагогических наук
 АРАН – Архив РАН
 ГАИМК – Государственная академия истории материальной культуры
 ЗВОРАО – Записки Восточного отделения Русского археологического общества
 ЗКВ – Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее Российской АН (АН СССР)
 ИКП – Институт книги, документа, письма
 ИЛЯЗВ – Институт сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока им. А.Н. Веселовского
 КУТВ – Коммунистический университет трудящихся Востока
 ЛВИ – Ленинградский восточный институт
 ЛИВЯ – Лазаревский институт восточных языков
 ЛИЖВЯ – Ленинградский институт живых восточных языков (см. ПИЖВЯ)
 МИВ – Московский институт востоковедения
 ПИЖВЯ – Петроградский институт живых восточных языков
 ПФАРАН – Санкт-Петербургский филиал Архива РАН
 РАНИОН – Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук
 САГУ – Среднеазиатский государственный университет
 ТС – Тюркологический сборник

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

© 2007 г. В.Б. КРЫСЬКО

**РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ (XI–XVII вв.):
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

В статье предпринята попытка критически рассмотреть опыт более чем 150-летнего развития русской исторической лексикографии, с позиций современной науки оцениваются достоинства и недостатки «Материалов для словаря древнерусского языка» И.И. Срезневского, Словаря русского языка XI–XVII вв., Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.), рассматривается влияние общественно-политических и личностных факторов на развитие историко-словарного дела, описываются трудности современного этапа развития исторической лексикографии, намечаются перспективы дальнейшей работы.

*К 150-летию со дня рождения
создателя Картотеки Древнерусского словаря
академика Алексея Ивановича Соболевского
(1856/1857–1929)*

Русская историческая лексикография имеет уже более чем полутора столетнюю историю: срок достаточный, чтобы судить о ней *sub specie aeternitatis* – без гнева, пристрастия и лицемерия¹.

9 февраля 1849 г. молодой славист Измаил Иванович Срезневский выступил на годовичном торжественном собрании Санкт-Петербургского университета с речью «Мысли об истории русского языка», которая и положила начало нашей науке. Среди других задач, стоящих перед исторической русистикой, ученый назвал, в частности, создание словарей отдельных памятников письменности, а затем, на их основе, и общего исторического словаря [Срезневский 1959: 80–81]. В дальнейшем, ознакомившись с неисчерпаемым богатством восточнославянских источников XI–XIV вв.² и едва подступившись к поистине необозримому корпусу более поздних текстов (XV–XVII вв.), Срезневский, очевидно, понял, что задача интенсивной лексикографической обработки материала, т.е. создания, «при сличении лучших списков», «особенно полного и подробного слова-

¹ Далее речь идет только об изданиях, охватывающих древнерусский (XI–XIV вв.) и среднерусский (XV–XVII вв.) периоды либо весь период с XI по XVII в.; словари хронологически более ограниченные и словари к отдельным памятникам в статье не рассматриваются.

² В начале XX в. А.И. Соболевскому было известно более 500 древнерусских рукописей [Соболевский 1907: 5]; в настоящее время их количество определяется в пределах 1000 [Столярова 2000: 13, 37].

ря» «каждого из старых памятников языка» [Срезневский 1959: 80], – невыполнима. Не только в середине XIX в., но и сейчас наука не располагает публикациями древних памятников, которые в полной мере отвечали бы максималистским требованиям ученого, и востокское издание Остромирова евангелия [Востоков 1843] до сих пор остается во многом непревзойденным, хотя никакой речи о «сличении лучших списков» даже в этом образцовом издании нет. Перед исторической русистикой стояла дилемма – накапливать, в соответствии с первоначальными начертаниями Срезневского, исчерпывающий материал по отдельным памятникам (что даже и в благоприятных для историко-лингвистической науки условиях Российской империи лишь в немногих случаях увенчалось выдающимися результатами³) или перейти к экстенсивным изысканиям – без предварительного филологического анализа и публикации отразить в общем историческом словаре лексику как можно более широкого круга текстов – либо по рукописям, либо на основе уже имеющихся изданий, далеко не всегда удовлетворительных. Такой экстенсивный путь заведомо вел к недостаточно высокому уровню лексикографической обработки материала, но в то же время обеспечивал исследователей отдельных памятников по крайней мере общими сведениями о том, какие лексемы и в каких значениях фигурировали в древней письменности.

Именно по этому пути и пошел сам И.И. Срезневский. Представив в ряде работ обзор обширного рукописного наследия Древней Руси [Срезневский 1863; 1867–1881; 1882], он параллельно собирал материал для словаря древнерусского языка и вплоть до самой смерти систематизировал и комментировал контексты из памятников, которые должны были послужить основой словаря. Ученый скончался в возрасте 67 лет, 9 февраля 1880 г., в годовщину произнесения им речи «Мысли об истории русского языка», не завершив титанической работы над словарем и не оставив последователей, сопоставимых с ним по знаниям и трудолюбию. Карточки, выписанные Срезневским из рукописей, а членами его семьи и учениками – из указанных им публикаций, и составили, будучи распределенными по значениям и хронологии, то, что младшие Срезневские, Ольга Измайловна и Всеволод Измайлович, издали в 1893–1912 гг. как «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Труд И.И. Срезневского». Принимая решение об издании далеких от завершения материалов, Второе отделение Императорской академии наук выразило желание «не слишком затруднять приведение Словаря в порядок различными требованиями его улучшения» [Срезневский 1893, I: VIII]. В результате историческая русистика получила относительно полный, от А до Я, лексикографический справочник, отражающий в первую очередь словарный состав древнейших источников – XI–XIV вв.; тексты более позднего периода представлены в «Материалах» крайне спорадически. Сейчас, по прошествии стольких лет, отдавая всю дань уважения и признательности нашему второму Далю, создавшему действительно монументальное творение, без которого до сих пор не может обойтись ни один славист, следует все же признать, что многое в словаре Срезневского – или, точнее, в том труде, который Академия наук опубликовала под именем Срезневского, – соответствует донучному уровню русского исторического языкознания. В самом деле: главные работы по истории русского языка – «Очерки», «Лекции», многочисленные статьи А.И. Соболевского [Соболевский 1884; 1888; 1907] (см. также [Соболевский 2006]) и исследования А.А. Шахматова [Шахматов 1885–1895; 1903; 1915] (см. также [Шахматов 1957]) – т.е. те труды, на которых, собственно, и основывается историческая русистика как наука и как часть сравнительно-исторического славянского и индоевропейского языкознания, – вы-

³ Имеются в виду, помимо упомянутого издания Остромирова евангелия, публикация Новгородских служебных миней И.В. Ягичем [Ягич 1886], новгородских и двинских грамот – А.А. Шахматовым [Шахматов 1885–1895; 1903], Ефремовской кормчей – В.Н. Бенешевичем [Бенешевич 1906–1907], а также «Александрия» В.М. Истрина [Истрин 1893], «Повесть об Акире Премудром» А.Д. Григорьева [Григорьев 1912] и нек. др. (при том что ни одно из этих изданий не сопровождается словарем или даже словоуказателем).

шла в свет практически одновременно с печатанием «Материалов», но не оказала на словарь абсолютно никакого влияния. «Не затрудняясь улучшением» того, что сам Срезневский отнюдь не считал готовым к печати, издатели сохранили все недостатки его лексикографических материалов, обусловленные самим уровнем развития нашей молодой науки в 60–70-е гг. XIX в., – и прежде всего неопределенность источниковедческой базы и невыверенность приводимых данных. Хотя техника подачи цитат в словаре Срезневского – с распределением по значениям, хронологии, с более или менее точной адресацией – представляет собой огромный шаг вперед по сравнению со «Словарем церковнославянского языка» А.Х. Востокова [Востоков 1858–1861] и «Лексиконом» Ф. Миклошича [Miklosich 1862–1865], где далеко не всегда приводятся контексты, нет ссылок на конкретные места цитируемых рукописей, а порой даже и вообще отсылки к источникам, иллюстративный материал Срезневского все же во многих случаях остается неверифицируемым: либо повторяются глухие отсылки Востокова (при том что сверка цитаты, например, из Лествицы XII в. – имеется в виду рукопись РГБ, Рум. 198 – практически невозможна без сплошного просмотра всего более чем 400-страничного кодекса), либо указывается только название сочинения без каких-либо данных о рукописи (ср. цитату из некоего «Григ. пап.» в статье **станице** или пример из «Жития Александра Македонского» s. v. **въдылѣ** [вместо **въдыле**], который лишь после долгих поисков удалось обнаружить – причем с иным написанием заглавного слова – в «Александрии» в составе Хронографа по списку XVII в. [РГБ, Рум. 456, л. 185], см. [Кузнецов, Иорданиди, Крысько 2006: 100]). Недостаток знаний по исторической грамматике и фонетике, накопившихся главным образом в эпоху после Срезневского, в ряде случаев обусловил некорректную – с точки зрения современной науки – подачу заголовочных слов, в частности, реконструкцию неверных инфинитивов (**измълѣсти** вместо **измълѣсти**, **върпѣсти** вместо **врѣти**, **сопѣсти** вместо **сопѣти**, **чърѣсти** вместо **чрѣти** и т.п.), ошибочную вставку **ь** в прилагательные и существительные, у которых исконно суффикс **-н-** был безъеревым (**рѣсьнота**, **тѣсьныи**, **асьныи**), «раздвоение» лексем, претерпевших фонетические изменения (ср. **смѣти** и **сѣмѣти**), вынесение в заголовок не нормализованных форм, а встречающихся в письменности орфографических вариантов (**авѣствыиѣ** вместо **авѣствыиѣ**). Наконец, при всей обширности материала, включенного в словарь, он не отражает, видимо, и половины реального корпуса древнерусских письменных источников XI–XIV вв., не говоря уже о памятниках XV–XVII вв., в принципе не подвергавшихся сколько-нибудь последовательной лексикографической обработке. Но даже и тот материал, который нашел отражение в словаре, далеко не всегда представлен адекватно: отчасти – по той причине, что большинство памятников этого времени как были, так и остаются неизданными, отчасти – потому, что издания XIX в., на которые опирался в своих выписках Срезневский, в основном находятся ниже всякой критики (и графика, и орфография чаще всего упрощены, конъектуры издателей, нередко произвольные, не оговорены и тем самым выдаются за подлинный древнерусский текст), отчасти – потому, что переводной характер подавляющего большинства древнеславянских сочинений, дошедших до нас в рукописях XI–XIV вв., требовал сверки переводов с греческими (иногда латинскими) оригиналами, каковая, естественно, далеко не всегда проводилась в момент выписки цитат из рукописей. В качестве иллюстрации того, насколько ненадежным, к сожалению, может быть материал «Материалов», приведем одну цитату из статьи **срѣдохръстьныи**: **Ѡ** понедѣльника срѣдохръстьныи нѣ до патка, ище блаженномъ пожмомъ, възимаѣтъ Ѡ съсоудохранилница крѣ и полагаѣтъся въ цркви и по покланѣнии абик възимаѣтъся. *Уст. XII в. 5.* Найти этот контекст по отсылке довольно трудно: судя по современному научному изданию Студийского устава конца XII в. [Пентковский 2001: 242], он представлен не на л. 5, а на л. 15об.; при сверке же оказывается, что около 15 букв (подчеркнутых нами) воспроизведены неверно, пунктуация произвольна, а часть текста опущена без обозначения пропуска; в действительности фраза выглядит следующим образом: **Подобаѣтъ** **въдѣти**. **Ѡ** **понеѣлнѣи**. **тоѡ** **срѣдохръстьныи** **нѣ**. **до** **патѣ**. **по** **коньчѣнии** **деватѣ** **чѣ**. **ище** **блѣнномъ** **пожмомъ**. **възимаѣтъ** **Ѡ** **съсоудохранилница** **крѣтъ**. и **полагаѣтъ** **въ** **црви**. и **по** **покланѣнии** **абик** **възимаѣтъ**. Попут-

не обнаруживается, что на той же странице словаря 29 цитат (т. е. подавляющее большинство) приведены без указания листов рукописей – в лучшем случае с отсылкой к главе и стиху библейской книги (например, *Иез. XII. 2 (Упыр.)* или *Числ. XIV. 44. Волог. сб. XV в.*) либо к году летописной записи, в худшем – с отсылкой к словарю Востокова, по которому далеко не всегда можно установить даже рукопись.

В итоге историческая русистика, бурно развивавшаяся именно в 1880–1910-е гг., обрела такое лексикографическое пособие, которое уже не соответствовало ее требованиям и достижениям, хотя, разумеется, и предоставляло в распоряжение исследователей массу нового, но нуждающегося в перепроверке материала. Нетрудно понять корифеев отечественного языкознания, не решавшихся взять на себя сизифов труд создания нового словаря до тех пор, пока не будут расчищены авгиевы конюшни исторической грамматики и текстологии. Основное внимание Алексея Ивановича Соболевского, Алексея Александровича Шахматова и их учеников в предреволюционные годы было направлено на научную обработку памятников с фонетической, грамматической и общелингвистической точки зрения: необходимо было уяснить хронологию языковых изменений, определить и объяснить диалектные особенности в древнерусском языке, ввести в научный оборот новые важные источники (в том числе грамоты) – и лишь тогда можно было приступить к созданию качественно нового исторического словаря.

Однако период расцвета русского исторического языкознания закончился в 1917 году. Надорвавшийся от непосильных – и отнюдь не ученых – трудов академик А.А. Шахматов, который был вынужден делить свои часы между переноской тяжестей и хлопотами об арестованных или голодающих коллегах, скончался в 1920 г. Лучший знаток рукописей, академик А.И. Соболевский, в 1918 г. провел несколько месяцев в заключении в ожидании расстрела [Робинсон 2004: 28] и по освобождении нашел свою квартиру разграбленной, а «громадный и заботливо составленный архив» – уничтоженным [Алексеев 1980: 3]. Не было счастья, да несчастье помогло: оставшись без десятилетиями собиравшихся выписок из рукописей, ученый приходит к мысли о необходимости заново расписывать памятники и создавать новые исторические словари, в частности существенно дополненный словарь древнерусского языка и словарь языка Московской Руси, и обращается в Академию наук с докладной запиской о составлении словарей древнерусского и старорусского языка [Соболевский 1960; 2006: 413–414]. Во все более сгущающейся атмосфере притеснений доживающее свои последние годы Отделение русского языка и словесности Академии наук (ОРЯС) создает Комиссию по собиранию материалов по древнерусскому языку (1925 г.), которую и возглавил Соболевский, объединив вокруг себя группу высококвалифицированных филологов и историков. Сам он расписал и переслал из Москвы в Ленинград более 100 тысяч карточек [Словарь 2001: 209], которые и сейчас еще, в подреставрированном виде, сберегаются в Картотеке Древнерусского словаря (КДРС) – подсобной картотеке Словаря русского языка XI–XVII вв.: это узенькие полоски бумаги, вырезанные из официальных бланков исчезнувших после революции учреждений и организаций, со сверхкраткими контекстами. В 1927 г. было упразднено ОРЯС, Комиссия превратилась в подкомиссию, перспективы словаря становились все более туманными. В 1929 г. Соболевский умер, и сменивший его академик Михаил Несторович Сперанский продолжал работу над сбором выписок, но в 1934 г. был арестован как глава мифической «Русской национальной партии», лишен звания академика и через четыре года, в годовщину ареста, скончался [Ашнин, Алпатов 1994: 100]. Вместе с ним были репрессированы видные ученые, достойные преемники Соболевского и Шахматова, в том числе непосредственно участвовавшие в создании Древнерусской картотеки Д.И. Абрамович, И.А. Виноградов, В.Ф. Ржига, А.Д. Седельников, А.М. Селищев, Н.Л. Туницкий. Одни, как В.Н. Бенешевич, Н.Н. Дурново, Г.А. Ильинский, Н.Л. Туницкий, погибли, пав жертвами чекистского Молоха, кто-то остался в живых, но был надломлен. Никто из проходивших по «делу славистов» и аналогичным «делам», даже те, кто дожил до 60–70-х годов, так и не вернулся к лингвистическому изучению древних памятников: наступило время, когда даже рукописи давно покойного историка-фонетиста Л.Л. Васильева, сохранявшиеся в его семье,

из страха уничтожались – «упоминания Евангелия, Апостола, Псалтыри, рассматривание церковнославянской лексики могло быть воспринято властями как состав преступления» [Отцы 2004: 300].

Неудивительно, что в цитадели «марксистского» (на самом деле марриетского) языкознания – Ленинграде – продолжение работы по формированию словарной картотеки и созданию словаря, руководство которой перешло теперь к Борису Александровичу Ларину, *volens nolens* должно было сопровождаться заклинаниями о необходимости «провести... принципы нового учения о языке», «чтобы вскрыть стадильные отношения в семантике слова» [Словарь 2001: 23]. Широкие планы Соболевского подвергаются забвению: коль скоро палеорусисты ликвидированы («иных уж нет, а те далече») – все древнерусское (не говоря уже о церковнославянском) становится подозрительным, и усилия молодых лексикографов, собравшихся вокруг Б.А. Ларина, сосредоточиваются на «обиходном языке» московского периода, с далекими выходами в XVIII и даже XIX век⁴. Из русской исторической лексикографии устранены специалисты с опытом изучения древних рукописей, новое высшее образование, призванное выкорчевать в молодом поколении воспоминания о проклятом прошлом с его лженауками, – все эти «словесные отделения ГИИИ», «этнолого-лингвистические факультеты» etc. – просто не в состоянии дать основательные историко-лингвистические знания, и в центр лексикографической работы на десятилетия становится расписка изданий памятников, что, с учетом далеко не всегда высокого уровня этих изданий⁵, не могло не снижать качества словарных разработок. Примечательно, что разраставшаяся из года в год картотека (к 1940 г. она включала уже более 900 тыс. карточек [Словарь 2001: 29]) практически, за небольшими исключениями, не пополнялась богатейшим материалом ленинградских рукописных собраний, который – от Сийского евангелия до Палеи Александро-Невской лавры, от Толстовского сборника до Паренесиса Ефрема Сирина – до сих пор остается *terra incognita* в исторической лексикографии. В 1940 г. академик С.П. Обнорский, один из выживших могикан старой школы, не прекращавший занятий историей языка – хотя и с неизбежными реверансами новой идеологии, настоял на возвращении к первоначальному плану словаря, который «должен явиться нормальным изданием... со всей полнотой отражая лексическое состояние русского языка за период с XI до второй половины XVIII в.» [Словарь 2001: 29]. Однако последующие тяжелые годы были нелегкими и для русской исторической лексикографии: в 1948 г. состояние работы в Группе Древнерусского словаря было признано «неблагополучным» [Словарь 2001: 33], в 1949 г. член-корр. АН УССР Б.А. Ларин был заменен членом-корр. АН СССР С.Г. Бархударовым, в 1952 г. составление словаря вообще было приостановлено, а картотека, превысившая к этому времени миллион карточек, перевезена в Москву. В 1958 г. работа над словарем, со Степаном Григорьевичем Бархударовым в качестве главного редактора, возобновилась в новообразованном Институте русского языка АН СССР.

Не говоря уже об организационных трудностях, связанных с переносом историко-словарной работы из Ленинграда в Москву (исчезновение ряда ящиков, отсутствие на новом месте подсобной библиотеки текстов), «новое начало» в русской исторической лексикографии в принципе не могло быть особенно многообещающим. Гальванизация историко-лингвистических исследований, предписанная свыше после знаменитой дискуссии 1950 г., не могла воскресить Дурново, Селищева и Ильинского и восстановить

⁴ Поздним отголоском этого этапа в развитии русской исторической лексикографии стал выход основанного на принципах 1940-х гг. и вполне студенческого по исполнению «Словаря обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII веков» (Вып. 1. СПб., 2004), см. [Крысько, Романова, Чернышева 2006]; ср., впрочем, публикацию пяти положительных рецензий на выпуск в сборнике, изданном редактором и «научным координатором» словаря [Русское слово 2005].

⁵ Последними достижениями дореволюционной эдиционной школы стали трехтомное издание Хроники Георгия Амартола, осуществленное В.М. Истриным, буквально времени вопреки, в 20-е годы [Истрин 1920–1930], и издание Русской Правды [Карский 1930].

прерванную связь времен. Историко-словарную работу возглавили не ученики Шахматова, выжившие в годы марристско-чекистских репрессий, – В.В. Виноградов и С.П. Обнорский, а новая, уже советская генерация ученых, специализировавшихся по современному литературному и диалектному языку и не имевших никакого опыта работы с памятниками. Если в течение ста лет составление исторических словарей осуществлялось или по крайней мере координировалось крупными специалистами в области истории русского языка и письменности, то теперь этой работой стал руководить функционер, получивший свою единственную ученую степень кандидата филологических наук без защиты диссертации, не написавший ни одной научной книги, автор статей вроде «Новая эра в языкознании» и «Сталинский этап в развитии советского языкознания» [Словарь 2001: 70–71]. Еще более неблагоприятной стала «кадровая ситуация»: московская молодежь, пришедшая в коллектив С.Г. Бархударова, получила высшее образование после долгой эпохи марристского безвременья, когда русская филология была обескровлена, когда само понятие истории языка подменялось псевдосоциологическим бредом, когда курс старославянского языка изгонялся из университетских программ, когда образование новых лидеров науки ограничивалось «неофициальным посещением специальных курсов и семинариев» и экстернатурой «за курс литературного отделения этнологического факультета» [Отцы 2004: 354].

Личностный фактор сыграл свою роль и в отказе от идеи о едином историческом словаре русского языка. Параллельно с возобновлением работы над словарем XI–XVII вв. в том же Институте русского языка по инициативе и под руководством члена-корр. АН СССР Рубена Ивановича Аванесова стала интенсивно составляться картотека принципиально нового словаря, охватывающего более узкий, древнерусский период (XI–XIV вв.). Главные отличия задуманного Аванесовым Словаря древнерусского языка [СДРЯ] и от «Материалов» Срезневского, и от судорожно создававшегося с 30-х годов словаря Ларина – Бархударова состояли в следующем: а) был задан строго определенный корпус источников; б) значительная часть этих источников подвергалась сплошной расписке; в) на основе сплошной выборки устанавливалась статистика употреблений; г) в противоположность постоянно менявшимся в зависимости от конъюнктуры принципам словаря XI–XVII вв. новый древнерусский словарь должен был основываться на строго унифицированной системе подачи форм и цитат; д) заглавная форма слова ориентировалась не на позднейшие фиксации, а на «морфемный и фонемный состав слова в древнейший из охватываемых словарем период» [СДРЯ, I: 11]. Основу картотеки должны были составить собственно древнерусские памятники, расписанные во всей полноте, – грамоты, летописи, надписи, записи в рукописных книгах, жития русских святых, памятники древнерусского права, а также ряд церковно-книжных источников, которые со времен известной работы А.И. Соболевского [Соболевский 1897] считались по происхождению восточнославянскими переводами либо даже оригинальными сочинениями (например, Изборник 1076 г., Хроника Георгия Амартола, Пандекты Никона Черногорца, Житие Феодора Студита и нек. др.). Особенно существенным вкладом в историческую русистику было введение в научный оборот значительного массива рукописей, до той поры почти или совершенно не исследованных: Студийского устава, Ярославского молитвенника, Огласительных поучений Феодора Студита, Жития Варлаама и Иоасафа, прологов, ряда сборников.

Следует признать, однако, что в целом основательно продуманный план Р.И. Аванесова заключал в себе внутренние противоречия. С одной стороны, словарь был призван отражать лексику памятников древнерусской письменности восточнославянского происхождения, с другой стороны – в число его источников включались памятники, которые уже и в 50-е гг. едва ли могли рассматриваться как автохтонные, например, Ефремовская и Рязанская кормчие, Пандекты Антиоха по Троицкому сборнику XII–XIII вв. (почему-то не по списку XI в., с которого переписывался Троицкий), Слова Григория Богослова, Закон судный людям – т.е. тексты инославянского, чаще всего болгарского происхождения. Фиксируя лексику древнерусских надписей и записей (впервые столь полно представленных в лексикографическом описании), летописей и житий, словарь

игнорировал тот факт, что эти тексты могут включать цитаты из Св. Писания и отцов церкви, восходящие к тем же южнославянским переводам, на которых основывались изъятые из корпуса источников богослужебные и богословские книги. Ограничение хронологических рамок словаря началом XV в., продиктованное ориентацией на фонетико-грамматические особенности, привело к тому, что целый ряд древних текстов заведомо (или вероятно) восточнославянского происхождения, дошедших до нас в списках XV–XVII вв., оказался вне описываемого «древнерусского языка» (например, Хождение игумена Даниила, Моление Даниила Заточника, переводы Жития Андрея Юродивого, «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия и др.). Статистическая презентация материала, сама по себе весьма похвальная, была ограничена тем, что многие источники (прежде всего сборники) расписывались все же не полностью, а выборочно.

Обоснованная критика проекта нового словаря [Словарь 1966], прозвучавшая в 1968 г. со страниц «Вопросов языкознания» в статье безусловно крупнейшего русиста послереволюционного периода – В.В. Виноградова [Виноградов 1968], к сожалению, прошла втуне, а сам Виноградов в том же году был свергнут с поста директора Института русского языка. Вывод статьи: «Составление древнерусского словаря требует основательной историко-литературной подготовки, глубокого знакомства с исторической лексикологией и семасиологией и широкого этимологического кругозора» [Виноградов 1968: 22] – остался в числе desiderata русской исторической лексикографии. Дальнейшее ее развитие происходило, как ни печально, в условиях научного и внеучного соперничества двух словарей – XI–XVII вв. и XI–XIV вв., не только не взаимообогащавших друг друга, но, можно сказать, взаимно отталкивавшихся⁶, – и говорить об этом приходится сейчас невзирая на лица, титулы и заслуги, поскольку учиться на ошибках прошлого можно лишь вскрыв и проанализировав эти ошибки.

В действительности ни у того, ни у другого словаря не было оснований для притязаний на исключительность или превосходство. Оба были больны одной и той же болезнью, имя коей – незрелость. Юные сотрудники, вчерашние студенты московских и периферийных вузов, пришедшие в спешно создававшиеся словарные коллективы, должны были совмещать каторжную (что в принципе естественно и хорошо известно со времен Скалигера) словарную работу с подготовкой диссертаций: активность в одном направлении тормозила работу в другом (показательно, что большинство докторов наук, начавших свою ученую карьеру с расписывания карточек и составления словарных статей, защитили диссертации уже после ухода из словарей). Поскольку, как уже говорилось, историко-лингвистическое образование в 50-е годы возрождалось из руин, многое из того, что было само собой разумеющимся до революции, оказалось бесследно утраченным. В первую очередь это относится к необходимому для историко-словарной работы знанию средневековой культуры, зиждившейся на христианстве. Создатели исторических словарей, призванных заменить «Материалы» Срезневского, в силу господства атеистической идеологии не знали ни Св. Писания, ни творений отцов церкви, не могли распознать библейские цитаты и аллюзии, не понимали византийских и древнерусских реалий. С другой стороны, многолетнее выкорчевывание сравнительно-исторического языкознания, с его точным исследовательским инструментарием и опорой на позитивное знание, привело к тому, что новое поколение историков-лексикографов как бы вернулось на уровень до Срезневского⁷, а порой даже и к довостоковскому языкознанию: не было редкостью неумение реконструировать редуцированные или ять, восстанавливать инфинитив или парадигму настоящего времени, правильно склонять существительные или местоимения. Наконец, обращение к рукописным источникам – систематическое в словаре Аванесова, sporadическое в словаре Бархударова – выявило

⁶ Ср., например, совмещение откровенной саморекламы Словаря XI–XVII вв. с едва завуалированной критикой по адресу СДРЯ в двух очерках, вошедших в книгу [История 1998: 503–522].

⁷ Примечательно публичное заявление одной – ныне покойной – коллеги (1994 г.): «У Срезневского тоже были ошибки, а он – великий ученый».

существенные трудности при словоделении, т.е. при распознавании слов, следствием чего стало возникновение в словарях целого ряда лексем-призраков, обязанных своим существованием только неверной выписке.

Все недостатки, все проблемы роста стали немедленно обнаруживаться по мере выхода словарей в свет. С существенным опережением начал издаваться – не в последнюю очередь благодаря незаурядным менеджерским способностям руководителей – Словарь русского языка XI–XVII вв., хотя за время, прошедшее от перемещения картотеки в Москву до выхода 1-го выпуска, концепция словаря дважды менялась: сначала, в условиях отсутствия «опытных лексикографов, способных работать над историческим словарем», группа взялась за составление «Словаря старорусского языка XV–XVII вв.» в двух томах, потом приступила к созданию «Малого древнерусского словаря XI–XVII вв.» (МДРС) в трех томах, и наконец было решено считать МДРС не малым, а «нормальным академическим словарем» под названием «Словарь русского языка XI–XVII вв.» (сокращенно СлРЯ XI–XVII вв.) [Словарь 2001: 40, 43, 45]; впрочем, и в процессе издания словаря представления о его объеме, структуре и назначении продолжали время от времени изменяться.

Первые четыре выпуска словаря, вышедшие один за другим поистине стахановскими темпами в 1975–1977 гг., до такой степени удивили научную общественность, прежде всего зарубежную, что в одной из вышедших на Западе рецензий библиотекарям было всерьез рекомендовано снабжать издание предупредительным знаком, указывающим на «вредность» (*injurious*) его для пользователей [Keenan 1978: 20], в другой рецензии словарь был расценен как «скандально плохой» и «ненадежный на всех уровнях» [Lunt 1979: 920]⁸. И в самом деле, не мог не вызвать изумления словарь, в котором, например, слово *азъ* в, казалось бы, всем известной – и тем не менее не отождествленной – цитате «Азъ есмь алфа и омега» (Откр 1.8) определялось как «название буквы славянского алфавита»; оставляли желать лучшего и многие другие толкования (см. [Исаченко 1976: 68–75]). Хотя в качестве заголовка словарной статьи была выбрана форма, отражавшая фонемный облик слова в конце описываемого периода (XVII в.), это обстоятельство, на первый взгляд облегчавшее работу лексикографов и освобождавшее их от необходимости восстановления первоначальных форм по поздним фиксациям, к сожалению, не предоохранило авторов и редакторов от ошибок в употреблении *я* и в установлении правильных начальных форм глаголов и существительных. Так, например, статья *ащера*, ж. *Язва* в действительности содержит форму существительного мужского рода *ащерь* ‘змея, ящер’ [Исаченко 1976: 70]; в заголовках статей *безмень*, *бессемейный*, *бестелесный*, *бестление*, *братоненавидение*, *брезгъ*, *вѣриорадетельный*, *вестоватый*, *взгребатель*, *взгребати*, *вздремати*, *взлетание*, *взлетати*, *влетати*, *возлегание*, *возлегати*, *возленитися* подчеркнутые нами *е* следовало бы заменить на *ѣ*, а в статьях *вечероѣдѣние*, *видѣць*, *возвѣргъ*, *возвѣрзъ*, *возлежѣние* – наоборот, *ѣ* на *е*; отсылочная статья *влѣти* вообще не имеет права на существование, так как основа *влѣ-* представлена только в настоящем времени глагола *влияти*; формы глагола *воздаяти* помещены под *воздати* и наоборот, формы глагола *воздѣти* – под *воздѣвати*, *воздѣяти* – под *воздѣти*; вместо *взволочитися* заголовок должен был бы иметь вид *взволочися*, вместо *взместися* – *возмятися* и т.д.

⁸ Заметим, правда, что и сами рецензенты в пылу критического задора не всегда были в состоянии удержаться от ошибок, порой такого же уровня, какой инкриминировался словарю. Так, А.В. Исаченко, упрекая составителей словаря в незнании истории, не затруднился заявить, что в документе 1695 г. «речь идет о прусском короле Фридрихе III» [Исаченко 1976: 71], тогда как бранденбургский маркграф и курфюрст Фридрих III стал прусским королем (под именем Фридриха I) только в 1701 году. Г. Лант, возражая против определения в статье *въшитися*, при котором собственно глагол (‘быть одетым’, букв. ‘зашиться’) остается без толкования, ничто же сумняшеся соотнес этот глагол со словом *въшь* и приписал ему значение ‘завшиветь, быть зараженным вшами’ [Lunt 1979: 922], ср. контекст: казанцы... обогатѣша, тому не ходити имъ во овчиняхъ кожахъ вшивѣшимися, но въ красныхъ ризахъ... (Казанский летописец: 230).

«Организационная» реакция на критику последовала лишь в 1980 г., когда С.Г. Бархударова на посту главного редактора словаря сменил директор Института русского языка член-корр. АН СССР Ф.П. Филин; затем этот пост занял академик Д.Н. Шмелев, а с 1989 по 2003 г. словарь возглавляла доктор филологических наук Г.А. Богатова (выступавшая как редактор словаря начиная с 1-го выпуска).

Отрадно констатировать, что примерно с 10-го выпуска научный облик словаря стал меняться. Связано это с накоплением знаний и опыта многими сотрудниками словаря, с появлением молодых и квалифицированных работников, с переходом – к сожалению, непоследовательным – к тому, что можно было бы назвать монографическим редактированием: в идеальном случае за том отвечает один квалифицированный редактор, который обеспечивает унифицированность в подаче материала (ср. выпуски 10, 11 и 22, отредактированные А.Н. Шаламовой). Принципиально изменилось отношение к цитатам из переводных памятников: с каждым новым томом расширяется круг источников, к которым удалось установить греческие, латинские, немецкие и т. д. оригиналы, а следовательно – более доказательным становится толкование слова, выяснение исконного или заимствованного характера тех или иных его значений. Расширился и корпус древнерусских источников словаря: хотя в картотеке, насчитывающей теперь более 2 млн. карточек, на долю памятников XI–XIV вв. приходится всего 50 тыс. [Словарь 2001: 42], цитаты из многих древнерусских памятников, изданных в последние десятилетия, включаются в словарь непосредственно, минуя картотеку, на основе словоуказателей, приложенных к изданиям. Правда, на этом пути есть свои подводные камни: к сожалению, не все издания древних памятников, вышедшие после отмены табу на церковные книги, отвечают элементарным требованиям к публикациям подобного рода – достаточно вспомнить объемистый «Успенский сборник XII–XIII вв.», который включает по преимуществу сочинения, переведенные с греческого, но издан как целиком оригинальное славянское произведение, без каких-либо указаний на греческие оригиналы⁹ и без попыток соотнести словоделение славянского текста с греческим. Результатом такого небрежного отношения к эдической деятельности являются досадные ошибки, один перечень которых составляет почти 70 страниц [Носк 1986: 102–169]¹⁰ и которые, по верному замечанию А.В. Исаченко, свидетельствуют о том, что «издатели памятника просто не справились с элементарной грамматической интерпретацией текста, превратив ряд простейших форм» [Исаченко 1976: 68]. Задача лексикографов состоит не только в том, чтобы извлечь форму из словоуказателя к изданию, но и в верификации этой формы: так, например, словосочетание *избитии рода*, обнаруживаемое в издании и отраженное в словоуказателе [Успенский сборник 1971: 427, 580, 683], на проверку оказывается формами *избити* и *Ирода*, относящимися к разным словосочетаниям [Носк 1986: 128, 150; Крысько 1994: 107], тогда как три слова, выделенные в издании: *четырь днь на* [Успенский сборник 1971: 425, 558, 740], – в действительности представляют собой одно сложное прилагательное *четырьдньна* 'четырехдневного' (о Лазаре, воскрешенном через 4 дня после смерти, см. Ин 11.17) – кальку греч. *тетραήμερον* [Носк 1986: 118, 166; Крысько 1994: 23]¹¹; даже извлечение лексемы из словоуказателя к Успенскому сборнику порой весьма затруднительно: так, читатель, ищущий в памятнике слова *зълоть* и

⁹ См. их новейший сводный список в статье [Alberti 2005].

¹⁰ Ошибки в этом издании продолжают обнаруживаться: ср., например, словоделение *и коньскыи образъ* вместо *иконьскыи* [Кривко 2005: 263].

¹¹ Любопытно, что эта трактовка, очевидная не только с точки зрения греческого оригинала и евангельских реалий, но и с точки зрения славянской грамматики, все же была подвергнута сомнению Э. Кленин [Klenin 1997: 116], которая предпочла *jurari in verba magistrae*, отстаивая слово-раздел, предложенный издательницей текста, – даже как «hash» («испорченное место») – под тем предлогом, что прилагательное *четырьдньнъ* неизвестно; между тем композиты со второй частью *-дньнъ* нетрудно обнаружить при обращении к [Indeks 1968: 184]: *повседньныи, вседньныи, великъдньныи, единопдньныи, шестдньныи*, – а следовательно, и образование *четырьдньнъ* не представляет собой ничего необыкновенного.

зълоба, на основе словоуказателя может прийти к выводу об отсутствии их в рукописях; на самом же деле эти лексемы в сборнике есть, но в указателе они запрятаны под леммами *злоби* (!) и *злоба*. Впрочем, ошибки встречаются и в изданиях, казалось бы, более «легких» среднерусских текстов: например, знаменитый *маиштукъ*, вычлененный публикаторами «Грамоток» конца XVII в. из последовательности *зъ Вма иштуками = съ двѣма иштуками* [Грамотки 1969: 197, 347], удостоился особой статьи в СлРЯ XI–XVII вв.

Смутные времена нашей истории (закончившиеся ли?) прошли для словаря под знаком поиска, однако не столько научного, сколько организационно-финансового. Стал активно муссироваться вопрос о переводе картотеки и словаря на электронные носители, однако поиски и у нас, и за границей щедрых и бескорыстных изготовителей микрофиш, сканированных копий карточек и т.п. обычно заводили в тупик. Приводимый в [Словарь 2001: 50–51] отчет об экспериментах с «копированием и распространением материалов Картотеки ДРС» вызывает по меньшей мере недоумение (ср.: «микрофиш до сих пор нет», «Теперь ни аппаратов для чтения, ни фирмы “Pentacta” нет», «Институт не имеет средств заплатить за эту работу»). Между тем, как утверждается в той же публикации, ЮНЕСКО 10 лет назад предоставила отделу специальную аппаратуру для сканирования карточек – однако электронная база так и не была создана. Мало практической и еще меньше научной пользы принесла череда конференций и сборников, подготовка которых, даже сопровождавшаяся скудными грантами, не очень способствовала улучшению словарной работы, но скорее отвлекала и распыляла силы небольшого коллектива. Замедлился выход очередных выпусков, что, однако, диктовалось не повышением требований к качеству словаря, а участием сотрудников в мероприятиях и проектах, имеющих лишь косвенное отношение к словарю. Венцом этой деятельности стала затянувшаяся на несколько лет подготовка 27 выпуска, разделенного между едва ли не дюжиной авторов и редакторов, без учета их квалификации и опыта, вследствие чего том пришлось на протяжении 2003–2005 гг. снова и снова доделывать и редактировать, даже после представления в издательство.

Для Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.) этапным стал 1963 год, когда завершился отбор источников и было закончено составление картотеки, включившей около 2 млн. карточек. Сотрудники словаря приступили к авторской и редакторской работе. Выход пробного выпуска [Словарь 1966] свидетельствовал, по-видимому, о том, что издание словаря должно начаться в ближайшие годы, и породил надежды на долгожданное появление «надежного исторического словаря» (ср. [Исаченко 1976: 63, 76, 80]). Однако временной интервал между подготовкой томов к печати и публикацией оказался на редкость продолжительным. В 1982 г. скончался инициатор словаря Р.И. Аванесов (впрочем, давно отошедший от редакторской работы), на посту главного редактора его сменил доктор филологических наук А.И. Горшков, потом доктор филологических наук И.С. Улуханов (1986 г.) – и лишь затем, в 1988 г., вышел I том. За ним последовали еще три тома (1989–1991 гг.), а вскоре рухнула страна и вместе с ней традиционное книгоиздательство. К концу 90-х гг. был найден новый издатель (издательский центр «Азбуковник»), однако к этому времени стало ясно, что словарь, отражающий уровень источниковедческих и лингвистических знаний начала 60-х гг., не соответствует современному развитию науки. За более чем 30 лет, прошедших от создания картотеки, ситуация в палеорусистике изменилась радикальным образом: так, если к 1963 г. в корпус источников словаря вошли чуть более 400 берестяных грамот, к концу тысячелетия их количество более чем удвоилось, а их научная интерпретация, благодаря в первую очередь работам А.А. Зализняка, значительно продвинулась; были опубликованы сотни новых древнерусских надписей (С.А. Высоцкий, А.А. Медынцева, Т.В. Рождественская, В.Л. Янин), и хотя лингвистическое качество публикаций, особенно издание надписей Софии Киевской, порой оставляло желать лучшего, они требовали лексикографической обработки. Существенно углубились представления о происхождении древнерусских текстов, для многих из них были установлены греческие источники. Кроме того, при сплошном просмотре вышедших четырех томов обнаружилось, к сожалению, весь

ма многочисленные погрешности (ср. [Крысько 1998]): достаточно сказать, что более 420 заголовочных слов оказались ошибочными, около 200 статей следовало вообще снять, более 160 – ввести; были вскрыты – и продолжают вскрываться все новые – неточности в толкованиях, словоделении и цитировании. Приведем некоторые наиболее разительные примеры: статья **възбороти** основана на ошибочном соединении предлога *въ* с последующим существительным *съборъ* (*въ зборѣ*); на месте одной статьи **гвоздь** должно быть три – **гвоздь**, **гвоздие** и **гвоздин**, вместо **гнетати** – **гъноути**, вместо **инощъ** ‘за глаза’ – **иношда** ‘в другой раз’¹², вместо местоимения **кажьнии** ‘каждый’ – причастие **кажнень** ‘казненный’; в древнерусском языке не было существительных **дагъ** и **семига** (статья **дагъ**) – при правильном словоразделе на месте сочетания «да [в дагомь?] же семига» появляется группа **дажесем ига** (ζυγοῦ ἰσόντι, ср. Ис 5.18: «ремня ми колесничными»), с двумя существительными среднего рода – **даго** и **иго**; должна быть снята и статья **кдиносъпасьнии**, а приведенный в ней пример (с уточненным словоделением: **кдино** сп(с)нок) следует перенести в статьи **кдинъ** и **съпасьнии**; статья **извѣцѣти** на самом деле включает цитату с предлогом *из* + род. пад. *сѣцѣцѣ* (от *сѣцѣца*); прозвища *коуница* в материале нет – форма *о куницѣ* относится к слову *куникъ*, т.е. ‘киник, сторонник учения киников’; не существовало и прилагательного **кърмъчневъ**, зато правильное словоделение *кърмчи* *въглась* позволяет выявить прилагательное *въглась* ‘знающий, опытный’ – кстати, правильно выделенное именно в данном контексте И.И. Срезневским; два слова со значением ‘ложка’ оказались в разных местах словаря, соответственно **ложька** (вместо правильного **лъжька**) и **лъжица**; при подведении греческой параллели – εὐσεβέστατον – обнаруживается, что существительное **благочътьць** означает не ‘чтец духовных произведений, поучительной литературы’, а ‘благочестивый человек’; слово *бровсть*, представленное в грамоте XIII в., не могло означать ‘старший пастор лютеранской церкви’, так как Мартин Лютер родился только в 1483 г.

Трудное и откровенное обсуждение недостатков словаря, проходившее на заседаниях словарного коллектива и редколлегии, завершилось принципиальным решением о необходимости скорейшего опубликования всех исправлений к вышедшим томам¹³ и внесении существенных коррективов в устаревшие принципы словаря начиная с VI тома (2000 г.). В частности, было решено расширить корпус источников за счет грамот, прежде всего берестяных, изданных после 1963 г., новооткрытых надписей, записей и вообще всех собственно древнерусских источников, введенных в научный оборот в последние десятилетия (например, Жития Андрея Юродивого [Молдован 2000]). На современный уровень источниковедческих знаний ориентируется теперь датировка памятников, уточненная согласно новейшим достижениям археографии и истории (работы В.А. Кучкина, А.А. Турилова, В.Л. Янина и др.). Существенно укрепилась византинологическая составляющая издания: ко всем цитатам из переводных памятников стали систематически подводиться греческие параллели, а начиная с VII тома указываются так же источники библейских цитат.

В 2003 г. два отдела Института русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук, занимавшиеся изданием исторических словарей, были объединены в Отдел исторической лексикографии и исторической грамматики русского языка; обновлены редколлегия словарей, оба словаря возглавляются теперь одним редактором. За истекшие три года вышли из печати VII том СДРЯ (буква П) и 27 выпуск СлРЯ XI–XVII вв. (буква С). Наши усилия направлены на интеграцию двух лексикографических проектов, предполагающую в то же время максимальное развитие тех черт каждого из словарей, которые обеспечивают ему особое место в русской исторической лексикографии. Так,

¹² Заметим, что в издании Троицкого сборника XII–XIII вв. [Popovski, Thomson, Veder 1988: 177] словораздел не такой, как в словаре, но тоже неправильный: *и ношъ да*.

¹³ Пользователи СДРЯ, обращаясь к I–VI тт., должны непременно сверяться с V и VII томами, где помещены списки исправлений (в V томе соответствующий список занял более 50 страниц).

перед СДРЯ стоит задача дальнейшей интенсификации словарных изысканий, т.е. как можно более исчерпывающей подачи материала памятников, образующих корпус словаря (при ежегодном расширении этого корпуса за счет новых находок берестяных грамот), углубления семантической разработки слов, при необходимости – подробного комментирования сложных случаев (ошибок перевода, смешения лексем и т.п.). Выправление главного недостатка словаря – отказа от учета богослужебных памятников, составлявших основу книжно-письменного языка Древней Руси, – на нынешнем этапе, когда словарь дошел до середины буквы П, очевидно, нереально; представляется, однако, и желательным, и возможным отчасти восполнить это упущение, как можно более тщательно фиксируя и идентифицируя в тексте словаря цитаты из Св. Писания вместе с их греческими оригиналами.

Словарь XI–XVII вв., напротив, призван и далее развиваться по экстенсивному пути, т.е. неизменно расширять круг описываемых источников. Принципиальная открытость словаря, ориентация его на отражение как можно большего числа памятников восточнославянской письменности XI–XIV вв. и русской письменности XV–XVII вв. обуславливает возможность привлечения все новых текстов, прежде всего русско-церковнославянских. Несмотря на то, что в последних выпусках используется целый ряд дополнительных источников, СлРЯ XI–XVII вв. все еще продолжает оставаться словарем по преимуществу старорусского языка, в особенности XVII в.: крен в сторону памятников народно-разговорного языка Московской Руси, столь осязаемый в картотеке, сохраняется и в словаре. Между тем огромный массив русско-церковнославянских рукописей по-прежнему ожидает лексикографического отражения. Это относится прежде всего к богослужебной литературе, отличающейся необыкновенным лексическим богатством, которое, с одной стороны, конечно, воспроизводит словесное изобилие византийских песнопевцев, но, с другой стороны, свидетельствует о словообразовательных потенциях церковнославянского языка. Включение этой лексики в СлРЯ XI–XVII вв. полностью оправданно: будучи в основном списками с южнославянских оригиналов, богослужебные тексты столетиями бытовали на Руси, впитывали некоторые черты восточнославянской речи и иногда даже включали восточнославянскую лексику (см., например [Крысько 2003]), их словарный состав служил к обогащению развивавшегося древнерусского литературного языка, заимствовался и осваивался древнерусскими писателями. До самого недавнего времени, правда, тексты Св. Писания и памятники гимнографического жанра издавались крайне скудно. Однако в условиях активизации медиэвистических исследований постепенно совершенствуется и лексикографическая обработка евангельских и минейных текстов [Апракос 1983; Архангельское евангелие 1997; Christians 2001; Новгородская служебная минея 2003; Ильина книга 2005], которые с каждым новым томом все шире представлены в Словаре XI–XVII вв. Работа по включению церковнославянских памятников, в том числе неизданных, в корпус источников словаря активно проводится и будет продолжаться (см., в частности, список новых источников в 27 выпуске). Такое расширение материала должно способствовать не только обогащению наших представлений о развитии языка русской церкви и русской духовной культуры, но и реконструкции исходного состояния древнеславянского литературного языка, сохранившегося, несмотря на инославянское происхождение большинства текстов, главным образом в восточнославянской письменной традиции.

Актуальной задачей обоих словарей является повышение степени надежности представляемого в словарных статьях материала, развитие филологического подхода к цитатам, т.е., с одной стороны, максимальное обращение непосредственно к рукописным источникам (подразумевающее, в частности, сверку цитат из недостаточно авторитетных изданий и из словарей Востокова и Срезневского¹⁴), а с другой стороны – внесение в лексикографическую работу элементов критики текста с учетом рукописной тради-

¹⁴ См. замечания о «фантомных» лексемах в словарях XIX в. и в изданиях, помещенные в предисловиях к ряду выпусков Словаря XI–XVII вв.

ции бытования текстов (с этой целью, например, в группе СДРЯ составлены сводные таблицы структурных соответствий между различными списками Пролога, а также Пандектов Никона Черногорца и Слов Григория Богослова). Постоянно расширяется и углубляется работа над иноязычными источниками переводных произведений: помимо традиционного для обоих словарей подведения параллелей из византийской литературы (поиск которых существенно интенсифицировался в последнее время благодаря приобретению допуска к электронному корпусу греческих текстов – *Thesaurus Linguae Graecae* [<http://stephanus.tlg.uci.edu>]), в Словаре XI–XVII вв. все большее значение приобретает поиск западноевропейских источников, например, для Вестей-Курантов (см. [Maier 1997; 2006]); неоценимую роль играет при этом развитие международных связей Отдела исторической лексикографии и исторической грамматики, проявившееся, не в последнюю очередь, во включении в редакционные коллегии обоих словарей ряда ведущих европейских специалистов. Новым в практике издания СДРЯ и СлРЯ XI–XVII вв. стало редактирование (а не просто выборочный просмотр) всего текста каждого из готовящихся к печати томов главным редактором – причем редактирование как минимум двухкратное. Помимо редакторов – штатных сотрудников словарей более активное участие в редактировании принимают теперь члены редколлегий – специалисты по языкознанию, древнерусской литературе, истории, литургике.

К сожалению, общая неопределенная ситуация, сложившаяся в Академии наук и вокруг нее, не позволяет смотреть в завтрашний день с уверенностью. Старение коллектива словарников и недостаточный приток молодых сил приводят к замедлению темпов работы над словарями: в настоящее время трудно говорить об издании следующих томов чаще чем раз в два года, и на нынешнем этапе это означает, что путь от середины буквы С до конца буквы Я в СлРЯ XI–XVII вв. и от середины П до А – в СДРЯ потребует как минимум десяти лет неустанных трудов. Все сотрудники заняты подготовкой текущих томов, и это затрудняет как обращение к уже вышедшим выпускам с целью их исправления и пополнения, так и работу с длительной перспективой, т.е. составление и редактирование статей по последним буквам алфавита. Тем не менее определенное продвижение в обоих направлениях очевидно. Вслед за СДРЯ, где из тома в том стали печататься списки поправок к первым томам и продолжается сбор дополнений, Словарь XI–XVII вв. тоже приступил к «работе над ошибками»: первый список поправок и дополнений – к буквам А–Б – печатается в приложении к 27 тому, а также в качестве отдельной тетради, и решено издавать такие списки и в дальнейшем. В перспективе эта работа должна увенчаться выходом второго, исправленного и существенно дополненного издания обоих словарей, по крайней мере их первых томов (для СДРЯ – т. I–V, для СлРЯ XI–XVII вв. – вып. 1–9); речь при этом идет об издании не только в печатном виде, но и на электронных носителях¹⁵. (Заметим в скобках, что предполагавшееся в прошлом стереотипное переиздание, т.е. новое тиражирование прежних ошибок, признано недопустимым.) В целях максимально более полного учета лексики памятников, опубликованных со словоуказателями, в СлРЯ XI–XVII вв. начата работа по созданию сводного словоуказателя ко всем изданиям подобного рода¹⁶. Все шире используются в лексикографической практике электронные ресурсы Интернета, прежде всего созданные в Удмуртском университете и в Институте русского языка РАН базы данных по некоторым древнерусским источникам (<http://mns.udsu.ru/mns>), а также помещенные в Сети тексты древнерусских памятников – в частности, наборные тексты рукописей XI в. (проект софийских русистов: <http://mime.hf.ntnu.no/SofiaTrondheimCorpus>) и фотокопии рукописей Троицкого собрания (на сайте Свято-Троицкой Сергиевой Лавры: <http://www.stsl.ru/>

¹⁵ Первым шагом на этом пути должно стать «Создание электронной информационно-поисковой системы с реализацией доступа на базе Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)» (грант РГНФ, 2006).

¹⁶ Проект «Создание электронного сводного словника древнерусских памятников для дополнения базы данных Словаря русского языка XI–XVII вв.» (грант РГНФ, 2005).

manuscripts). Возобновление работа по сканированию Картоотеки СлРЯ XI–XVII вв. – на сей раз собственными силами, без помощи своекорыстных доброхотов.

Исторические словари русского языка XI–XVII вв. стали своеобразным индикатором общественно-духовного состояния России XIX–XXI столетий, отражением ее трагической истории. Завершая эту статью, не хотелось бы впасть ни в пессимизм мрачных прогнозов, ни в оптимизм беспочвенных упований: проявив осторожный и здравый скептицизм, поставим в конце два знака – восклицательный для указания на проблемы и вопросительный – для обозначения дальних перспектив¹⁷.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алексеев 1980 – А.А. Алексеев. Предисловие // А.И. Соболевский. История русского литературного языка / Изд. подгот. А.А. Алексеев. Л., 1980.
- Апракос 1983 – Апракос Мстислава Великого / Изд. подгот. Л.П. Жуковская, Л.А. Владимировна, Н.П. Панкратова. М., 1983.
- Архангельское евангелие 1997 – Архангельское евангелие 1092 года: Исследования. Древнерусский текст. Словоуказатели / Изд. подгот. Л.П. Жуковская, Т.Л. Миронова. М., 1997.
- Ашнин, Алпатов 1994 – Ф.Д. Ашнин, В.М. Алпатов. «Дело славистов»: 30-е годы. М., 1994.
- Бенешевич 1906–1907 – В.Н. Бенешевич. Древнеславянская кормчая XIV титулов без толкований. Т. 1. Вып. 1–3. СПб., 1906–1907.
- Виноградов 1968 – В.В. Виноградов. Чтение древнерусского текста и историко-этимологические каламбуры // ВЯ. 1968. № 1.
- Востоков 1843 – Остромирово евангелие 1056–57 года. С приложением греческого текста Евангелий и с грамматическими объяснениями, изд. А. Востоковым. СПб., 1843.
- Востоков 1858–1861 – А.Х. Востоков. Словарь церковнославянского языка. Т. 1–2. СПб., 1858–1861.
- Грамотки 1969 – Грамотки XVII – начала XVIII века / Изд. подгот. Н.И. Тарабасова, Н.П. Панкратова. М., 1969.
- Григорьев 1912 – А.Д. Григорьев. Повесть об Акире Премудром: Исследование и тексты. М., 1912.
- Ильина книга 2005 – Ильина книга. Рукопись РГАДА, Тип. 131: Лингвистическое издание, подгот. греческого текста, коммент., словоуказатели В.Б. Крысько. М., 2005.
- Исаченко 1976 – А. Исаченко. – R Ling. 1976. V. 3. Рец.: Словарь русского языка XI–XVII вв. ... Вып. 1... М., 1975; Словарь русского языка XI–XVII вв. Указатель источников... М., 1975.
- История 1998 – История русской лексикографии. СПб., 1998.
- Истрин 1893 – В.М. Истрин. Александрия русских хронографов: Исследование и текст. М., 1893.
- Истрин 1920–1930 – В.М. Истрин. Книги временные и образные Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Т. 1. Пг., 1920; Т. 2. Пг., 1922; Т. 3. Л., 1930.
- Карский 1930 – Е.Ф. Карский. Русская Правда по древнейшему списку. Л., 1930.
- Кривко 2005 – Р.Н. Кривко. Теория критики текста и эдичионная практика: к выходу в свет нового издания Повести временных лет // R Ling. 2005. V. 29. № 2.
- Крысько 1994 – В.Б. Крысько. Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М., 1994.
- Крысько 1998 – В.Б. Крысько. Поправки к I–IV томам Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.) // R Ling. 1998. V. 22. № 2.
- Крысько 2003 – В.Б. Крысько. Русско-церковнославянские рукописи XI–XIV вв. как источник по истории старославянского и древнерусского языков: новые данные // Славянское языкознание. XIII Международный съезд славистов. Докл. рос. делегации. М., 2003.

¹⁷ Работа выполнена в рамках коллективного проекта «Русская историческая лексикография (XI–XVII вв.)», поддержанного Отделением историко-филологических наук РАН (Программа фундаментальных исследований «Русская культура в мировой истории»). Предварительная версия статьи опубликована как доклад в сборнике материалов конференции: Актуальные вопросы исторической лексикографии и лексикологии. СПб., 2005. С. 3–19.

- Крысько, Романова, Чернышева 2006 – В.Б. Крысько, Г.Я. Романова, М.И. Чернышева. Русск. яз. в научн. освещении. 2006. № 2. Рец.: Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII веков. Вып. 1: А–Бязь / Под ред. О.С. Мжельской. СПб., 2004.
- Кузнецов, Иорданиди, Крысько 2006 – А.М. Кузнецов, С.И. Иорданиди, В.Б. Крысько. Прилагательные. М., 2006 (Историческая грамматика древнерусского языка / Под ред. В.Б. Крысько; Т. III).
- Молдован 2000 – А.М. Молдован. Житие Андрея Юродивого в славянской письменности. М., 2000.
- Новгородская служебная минея 2003 – Новгородская служебная минея на май, XI век (Путятинна минея): Текст, исследования, указатели / Подгот. В.А. Баранов, В.М. Марков. Ижевск, 2003.
- Отцы 2004 – Отцы и дети Московской лингвистической школы: Памяти Владимира Николаевича Сидорова. М., 2004.
- Пентковский 2001 – А.М. Пентковский. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М., 2001.
- Робинсон 2004 – М.А. Робинсон. Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 – начало 1930-х годов). М., 2004.
- Русское слово 2005 – Русское слово в историческом развитии (XIV–XIX века). СПб., 2005.
- СДРЯ – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. I–VII. М., 1988–2004.
- Словарь 1966 – Словарь древнерусского языка XI–XIV вв.: Введение, инструкция, список источников, пробные статьи / Под ред. Р.И. Аванесова. М., 1966.
- Словарь 2001 – Словарь русского языка XI–XVII вв. Справочный выпуск: История картотеки. Авторский состав. Указатель источников. Словник (обратный). М., 2001.
- СЛРЯ XI–XVII вв. – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–27. М., 1975–2006.
- Соболевский 1884 – А.И. Соболевский. Очерки из истории русского языка. Киев, 1884.
- Соболевский 1888 – А.И. Соболевский. Лекции по истории русского языка. Киев, 1888.
- Соболевский 1897 – А.И. Соболевский. Особенности русских переводов домонгольского периода // Тр. IX археол. съезда в Вильне, 1893. Т. II. М., 1897 (то же в кн.: Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. СПб., 1910. [Сб. ОРЯС; Т. 88. № 3]).
- Соболевский 1907 – А.И. Соболевский. Лекции по истории русского языка. 4-е изд. М., 1907.
- Соболевский 1960 – Докладная записка А.И. Соболевского о составлении словарей древнерусского и старорусского языка // ВЯ. 1960. № 2.
- Соболевский 2006 – А.И. Соболевский. Труды по истории русского языка. Т. 2: Статьи и рецензии / Сост., подгот. текста, предисл., коммент. и указ. В.Б. Крысько. М., 2006.
- Срезневский 1863 – И.И. Срезневский. Древние памятники русского письма и языка (X–XIV веков): Общее повременное обозрение. СПб., 1863.
- Срезневский 1867–1881 – И.И. Срезневский. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках // Сб. ОРЯС. 1867, 1874, 1876, 1879, 1881. Т. 1, 12, 15, 20, 22.
- Срезневский 1882 – И.И. Срезневский. Древние памятники русского письма и языка (X–XIV веков): Общее повременное обозрение. 2-е изд. СПб., 1882.
- Срезневский 1893–1912 – И.И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. I–III и Дополнения. М., 1893–1912.
- Срезневский 1959 – И.И. Срезневский. Мысли об истории русского языка. М., 1959.
- Столярова 2000 – Л.В. Столярова. Свод записей писцов, художников и переплетчиков древнерусских пергаменных кодексов XI–XIV веков. М., 2000.
- Успенский сборник 1971 – Успенский сборник XII–XIII вв. / Изд. подгот. О.А. Князевская, В.Г. Демьянов, М.В. Ляпон. М., 1971.
- Шахматов 1885–1895 – А.А. Шахматов. Исследование о языке новгородских грамот XIII и XIV века // Исследования по русскому языку. СПб., 1885–1895. Т. I.
- Шахматов 1903 – А.А. Шахматов. Исследование о двинских грамотах XV в. СПб., 1903.
- Шахматов 1915 – А.А. Шахматов. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915.
- Шахматов 1957 – А.А. Шахматов. Историческая морфология русского языка. М., 1957.
- Ягич 1886 – И.В. Ягич. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь: В церковнославянском переводе по русским рукописям 1095–1097 г. СПб., 1886.
- Alberti 2005 – A. Alberti. Il Codice Uspenskij: Analisi della struttura e riflessioni critiche // Studi slavistici. 2005. V. II.

- Christians 2001 – Wörterbuch zum Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember slavisch – griechisch – deutsch nach ostslavischen Handschriften des 12. und 13. Jahrhunderts mit einem Glossar griechisch – slavisch / Bearb. von D. Christians. Wiesbaden, 2001.
- Hock 1986 – W. Hock. Das Nominalsystem im Uspenskij Sbornik. München, 1986.
- Indeks 1968 – Indeks a tergo do Materiałów do słownika języka staroruskiego I.I. Srezniewskiego. Warszawa, 1968.
- Keenan 1978 – E.L. Keenan. – Kritika: A review of current Soviet books on Russian history. 1978. V. XIV. № 1. Rec.: S.G. Barkhudarov et al. (eds.). Slovar' russkogo iazyka XI–XVII vv.: Fasc. I–IV, Index of Sources.
- Klenin 1997 – E. Klenin. – RLing. 1997. V. 21. № 1. Rec.: В.Б. Крысько. Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М., 1994.
- Lunt 1979 – H.G. Lunt. – Language. 1979. V. 55. № 4. Rec.: Slovar' russkogo jazyka XI–XVII vv. ... Vypusk 3...; Vypusk 4... М., 1976, 1977.
- Maier 1997 – I. Maier. Verbalreaktion in den «Vesti-Kuranty» (1600–1660): Eine historisch-philologische Untersuchung zur mittelrussischen Syntax. Uppsala, 1997.
- Maier 2006 – I. Maier. Verbalreaktion in den «Vesti-Kuranty» (1600–1660). T. 2: Die präpositionale Reaktion. Uppsala, 2006.
- Miklosich 1862–1865 – F. Miklosich. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862–1865.
- Popovski, Thomson, Veder 1988 – J. Popovski, F.J. Thomson, W.R. Veder. The Troickij sbornik (Cod. Moskva, GBL, F. 304 (Troice-Sergijeva lavra) № 12): Text in transcription // Полата књигописњна. 1988. № 21–22.

РЕЦЕНЗИИ

M. Tomasello. Constructing a language: a usage based theory of language acquisition. Cambridge: Harvard university press. 2003. 388 p.

Книга М. Томаселло посвящена усвоению языка. Это одна из первых книг об усвоении языка, созданная в рамках теории грамматики конструкций. Автор сравнивает генеративный подход, в традициях которого написано большинство современных работ, посвященных овладению языком, с функциональным подходом, одной из ветвей которого является грамматика конструкций. На примерах из разных областей он показывает, что функциональный подход лучше объясняет наблюдаемые явления, чем генеративный. Монография состоит из девяти глав, каждая из которых решает свою задачу.

В первой главе М. Томаселло спорит с известным положением Н. Хомского, согласно которому абстрактные принципы генеративной грамматики слишком сложны для того, чтобы дети могли усвоить их, только слыша и анализируя речь родителей. Н. Хомского данное предположение приводило к выводу, что существуют универсальные правила языка, заложенные глубинно, а ребенок, изучающий язык, только выясняет, какие установки параметров действуют в том языке, который он изучает. С момента возникновения теории универсальной грамматики появилось много новых психологических и лингвистических исследований, показывающих, что многие из предположений, лежащих в основе теории универсальной грамматики, оказались неверными. В частности стало ясно, что дети способны овладеть языком, только основываясь на информации, поступающей извне, и гипотеза об универсальной грамматике необязательна. Новые положения можно свести к двум основным тезисам: 1) дети имеют в своем распоряжении более мощные механизмы изучения языка, чем ассоциации и бездумная индукция, 2) существуют лингвистические теории, которые описывают язык таким образом, что конечная цель процесса усвоения языка, оказывается куда более легкой достижимой.

У детей есть способности, о которых не подозревали Н. Хомский и бихевиористы. Первая из них – это возможность понимать цель говорящего (*intention-reading*), которая включает в себя:

- способность следить за фокусом внимания другого человека в рамках конкретной ситуации;
- способность следить за фокусом внимания и жестами других людей по отношению к предметам и ситуациям, не включенным в ситуацию общения;
- возможность привлекать внимание к удаленным объектам, показывая на них и используя другие нелингвистические способы;
- способность, используя все перечисленные выше возможности, понять и изучить коммуникативные цели говорящих, лежащие в основе их высказываний.

Вторая из важных способностей ребенка – это способность к категоризации, то есть:

- способность формировать категории «похожих» объектов;
- способность использовать статистический анализ при восприятии вербальных и невербальных последовательностей;
- способность использовать новые элементы по аналогии с другими уже известными элементами, входящими в тот же класс.

Грамматической теории Н. Хомского М. Томаселло противопоставляет группу теорий, которые он называет когнитивно-функциональными теориями. Их сторонники считают, что языковые выражения состояются из грамматических конструкций, таких как пассивная конструкция или конструкция прошедшего времени с показателем *-ed* в английском языке. Использование другой лингвистической теории позволяет М. Томаселло избежать того противоречия, которое приводило Н. Хомского к постулированию врожденной универсаль-

ной грамматики. Действительно, согласно теории Н. Хомского, язык представляет собой набор формальных правил и, соответственно, изучение языка сводится к изучению этих правил. Однако поскольку невозможно представить, чтобы ребенок был способен изучить такие формальные правила, приходится предположить, что эти правила врожденные. В то же время, если вслед за М. Томаселло считать, что язык устроен как набор конструкций, то можно допустить, что ребенок изучает конструкции одну за другой, начиная с самых простых, и потом обобщает свой опыт на каждом этапе.

Во второй главе, посвященной проблемам отличия человеческого языка от систем коммуникации животных, автор утверждает, что основное отличие человеческого языка состоит в том, что он погружен в социальное окружение. Человек отличается от животного возможностью понимать и разделять цели и желания другого человека, а это в свою очередь ведет к тому, что он стремится влиять на цели и желания другого посредством социальных контактов. Таким образом, собственно генетические изменения не вовлечены в происхождение языка. Эта точка зрения противопоставлена традиционной генеративной точке зрения, где, как известно, предполагается, что человек в процессе эволюции приобрел генетически передающуюся универсальную грамматику.

Автор рассматривает основные отличия языка человека от языка его ближайших родственников в животном мире – приматов. Не всегда легко выделить, какие именно свойства являются уникальными для человеческого языка. Например, обезьяны вервет используют три различных предупреждающих сигнала, оповещающих о появлении хищников, змей и орлов. Такая детализированность сигналов напоминает обладающие референцией знаки человеческого языка. Однако специалисты по приматам считают, что приматы не пользуются языком так же, как человек использует язык: обезьяны не употребляют коммуникативные сигналы, чтобы передать информацию или обозначить предмет, или чтобы обратить внимание слушающих на него – они используют сигналы, чтобы непосредственно повлиять на поведение и реакции других членов сообщества. Те же сигналы умеют издавать обезьяны, выросшие в изоляции от других особей. В отличие от обезьян, человек не может изучить слова в отрыве от других людей, языковые сигналы человеческого языка существуют только в рамках социума. Таким образом, социальное окружение и социальная культура, согласно М. Томаселло, являются основными образующими факторами для зарождения человеческого языка.

В третьей главе автор рассматривает несколько современных теорий, объясняющих, как происходит изучение слов у детей на той стадии, когда они еще мало знакомы с синтаксисом, и синтаксис не может им помочь в определении части речи и приблизительного значения слова. Первой он разбирает теорию ассоциативного изучения, которая предполагает, что дети усваивают слова, соотнося определенный набор звуков с некоторыми событиями в окружающем мире. Многие полагают, что эта теория, основанная на бихевиористском видении мира, давно никем не поддерживается, как и сам бихевиоризм, однако оказывается, что у нее и сегодня есть много сторонников. Между тем, данная теория не объясняет многих аспектов усвоения языка, например, каким образом ребенок вычленяет те звуки, которые соответствуют каждому конкретному понятию, или почему овладение языком начинается в возрасте одного года, хотя механизмом ассоциации ребенок овладевает гораздо раньше.

Второй обсуждаемый в книге подход к объяснению того, как ребенок усваивает слова, утверждает, что в языковом аппарате ребенка действуют ментальные ограничения. Данный подход [Markman 1989; 1992] объясняет, каким образом ребенок выбирает, какую часть ситуации обозначает то слово, которое он слышит. Ведь если считать, что усвоение слов происходит при помощи ассоциативного изучения, то ребенок, слыша каждое новое слово, оказывается в ситуации, описанной Куайном, когда носитель языка показывает человеку, находящемуся в незнакомой языковой среде, на бегущего кролика и произносит: «Гавагай». При этом непонятно, к чему относится данное слово – к кролику, действию «бежать», лапе кролика или какому-либо другому элементу этой ситуации. Предполагается, что при усвоении слов действуют два важных ограничения: (1) дети склонны рассматривать новое существительное как относящееся к целому предмету, а не его части, и (2) каждому предмету на начальном этапе усвоения языка соответствует одно и только одно слово. Эта теория объясняет некоторые свойства процесса овладения языком, но, сконцентрировавшись на разрешении одних вопросов, совершенно оставляет за бортом другие интересные проблемы. Например, она объясняет, каким образом происходит усвоение существительных, но это рассуждение невозможно перенести на другие классы слов. Другой проблемой является вопрос о том, как ребенок соотносит определенный набор звуков с конкретным значением. Но самое главное состоит в том, что данная теория не объясняет, почему процесс усвоения языка начинается в возрасте одного года, при том, что она

же предполагает, что ограничения, необходимые ребенку для усвоения языка, даны ему с рождения.

Как альтернативу первой и второй М. Томаселло рассматривает третью теорию овладения лексиконом, которую он называет социально-прагматической [Bruner 1983; Nelson 1985; Tomasello 1992]. Сторонники данной теории считают, что и ассоциативная теория, и теория ментальных ограничений недооценивают количество информации, доступное ребенку в том окружении, в котором он изучает язык. Социально-прагматическая теория делает акцент на двух важных аспектах процесса овладения словами. Во-первых, этот процесс происходит в мире, структурированном социально, в котором постоянно происходят регулярно повторяющиеся действия, разыгрываемые по привычным социальным сценариям (кормление, купание, прогулки, игры). Во-вторых, дети обладают социально-когнитивными способностями, которые позволяют им понимать, на чем сконцентрировано внимание взрослого и каковы намерения взрослого в данной коммуникации.

Эта теория имеет несколько преимуществ. Прежде всего она подтверждается фактами. Дело в том, что в начальном словаре ребенка слова, служащие для социальной коммуникации, доминируют со существенным перевесом: для сравнения приведем данные о процентном содержании разных классов слов в словаре ребенка в период от полутора до двух с половиной лет [Caselli et al. 1995]. В начале значительную часть детского словаря (до 65% от общего словарного запаса) составляют слова и фразы, используемые для социальной коммуникации (приветствия, прощания и т. п.), затем их доля значительно уменьшается и достигает 10% – к тому моменту, когда объем словаря ребенка доходит до 600 слов. Количество предикатов в его речи изменяется противоположным образом: их очень мало в начале (менее 5%) и гораздо больше к концу периода (до 25%). Существительные же составляют около 25% в начале периода и до 50% к двум с половиной годам. Кроме того, социально-прагматическая теория, в отличие от первых двух, способна объяснить, почему процесс усвоения языка начинается именно в возрасте одного года. Это происходит потому, что до начала усвоения языка ребенок должен овладеть социальными навыками, позволяющими следовать за фокусом внимания говорящего и понимать цели говорящего. Появление этих способностей психологи относят к возрасту 9–12 месяцев, а раз с точки зрения социально-прагматической теории они необходимы для овладения языком, то без них усвоение языка просто не мо-

жет начаться. Следовательно, появление первых слов в возрасте одного года логичным образом вытекает из данной теории.

Глава 4 посвящена первым синтаксическим конструкциям, появляющимся в речи ребенка. М. Томаселло выделяет три основные стадии развития речи, которые ребенок проходит на раннем этапе усвоения речи. Сначала ребенок осваивает однословные высказывания (голофразы) вроде *Kitty* 'Киса', *More* 'Еще'. Затем дети овладевают двухсловными высказываниями *More juice* 'Еще сока', *More grapes* 'Еще винограда', *Juice gone* 'Сока нет', *Mummy gone* 'Мамы нет' (этот этап также называют этапом *pivot*-грамматик). На следующей стадии дети абстрагируются от конкретных высказываний и начинают использовать конструкции, в которых некоторые элементы остаются неизменными: *Draw X on Y* 'нарисовать X на Y-е', *Draw X for Y* 'нарисовать X для Y-а' и т.п.

Автор объясняет, что теория, описывающая усвоение языка через такие конструкции, лучше объясняет имеющиеся данные, чем теория, основывающаяся на формальном синтаксисе. Если рассмотреть фразы, которые дети слышат, то с точки зрения формальных синтаксических теорий в них должны проследиваться синтаксические конструкции языка, который дети изучают. Однако исследования показывают, что статистический анализ тех предложений, которые произносят родители, не приводит к желаемому результату. Так в [Cameron-Faulkner, Lieven, Tomasello 2003] подсчитано количество разных типов фраз в речи родителей. По их данным среди 5000–7000 высказываний, которые англоязычные дети слышат каждый день:

- более одной четверти составляют вопросы;
- около 20% составляют неполные предложения (чаще всего фрагменты, представляющие собой именные и предложные группы);
- одну четверть составляют императивы и высказывания, содержащие связку;
- только 15% имеют канонический порядок SVO, причем в более 80% из них подлежащим является местоимение.

Таким образом, совершенно неясно, например, каким образом дети могут установить, что стандартным для английского языка является именно порядок SVO, а не какой-либо другой: ведь частотность фраз с таким порядком слов очень низкая. С другой стороны, подсчеты повторяющихся слов и фраз показали, что 65% всех фраз, произносимых родителями, можно свести к 156 конструкциям с фиксированными

элементами, таким как *Are you..., I'll..., It's..., Can you..., Here's..., Let's..., Look at..., What did...* и т.п. Причем дети используют ту или иную конструкцию с частотой, коррелирующей с той, с которой эту конструкцию используют их родители. Это исследование показывает, что, во-первых, спонтанная речь, а особенно спонтанная речь, обращенная к ребенку, значительно отличается от письменной речи. То есть, описывая усвоение языка, мы не можем опираться на знания взрослого носителя языка, потому что то, что слышат дети, качественным образом отличается от привычного взрослому носителю языка распределения конструкций. Важно и то, что в речи, обращенной к детям, встречается много постоянно повторяющихся конструкций. Поэтому дети имеют возможность обнаруживать эти конструкции в речи взрослых и пользоваться ими.

В пятой главе обсуждается, каким образом дети усваивают конструкции более высокого уровня абстракции. М. Томаселло указывает на следующие факторы, которые помогают ребенку перейти от конструкций, содержащих отдельные слова, к полностью абстрактным конструкциям вида $NP_{nom} V NP_{acc} to NP_{dat}$:

- 1) конструкции хорошо усваиваются, так как они частотны;
- 2) обобщение не происходит, если ребенок слышит конструкцию, противоречащую его ожиданиям;
- 3) парадигматические классы, которые позволяют ребенку предсказать поведение новых слов, формируются на основе слов, уже известных ребенку.

Здесь особого интереса заслуживает пункт 2, который находится в противоречии с известным постулатом Н. Хомского об отсутствии отрицательных примеров в речи взрослых. Н. Хомский строит свою аргументацию на том факте, что ребенок не получает отрицательного лингвистического опыта, то есть взрослые очень редко говорят ребенку: «так говорить неправильно, правильно говорить вот так». М. Томаселло показывает, что класс случаев, когда ребенок все же получает завуалированное сообщение о том, что та или иная фраза была неправильной, все же существует. Например, можно представить себе такой диалог:

Ребенок: *She giggled me.* 'Она меня засмеяла'

Взрослый: *Oh! She made you giggle, did she* 'А! Она тебя рассмешила, да?'

Ребенок получает информацию, что взрослый вместо того, чтобы употребить *giggle* в ка-

узативной конструкции, использовал *to make giggle*. Таким образом, точное употребление и значение абстрактной конструкции калибруется, когда ребенок сопоставляет свои ожидания с речью окружающих.

В шестой главе М. Томаселло обсуждает овладение грамматическими морфемами. Он показывает, что то, как дети изучают грамматические показатели языка, противоречит предсказаниям модели двойственных процессов – самой популярной модели, используемой для описания этого процесса. Эта модель описывает усвоение показателей как двойственный процесс, в котором дети на первой стадии только запоминают и повторяют оформленные показателем словоформы, а на следующей стадии усваивают основное правило и обобщают его даже на те случаи, в которых оно неприменимо, а затем изучают исключения из этого правила отдельным списком [Marcus et al. 1992; Pinker, Prince 1988; 1991; Marcus, Brinkmann, Clahsen, Wiese, Pinker 1995]. Так как данная теория родилась в Америке, основным материалом для нее послужили данные английского языка, и основным явлением, которое она описывала, было усвоение единственного нетривиального глагольного показателя английского языка *-ed*. Эта модель хорошо описывала картину, наблюдающуюся в усвоении *-ed*: в более раннем возрасте дети употребляли правильные формы неправильных глаголов, вроде *went* и *got*, потом происходило усвоение правила, и оно использовалось, в том числе и для неправильных глаголов, то есть появлялись такие формы, как *goed* и *geted*, которые впоследствии исчезали.

Слабые места этой теории, как и большинства теорий, построенных на данных одного языка, проявлялись при попытке применения к другим языкам. Выяснилось, что данная теория неприменима к таким случаям усвоения показателей, когда в парадигме присутствует несколько равноправных по частотности граммем. Например, дети, усваивающие показатели множественного числа в немецком языке, где возможно употребление одного из пяти суффиксов (*-n, -s, -e, -er, Ø*), согласно предсказаниям модели двойственных процессов, должны усваивать в качестве основного показателя окончание *-s*. Этот аффикс выбирается, несмотря на то, что он не является самым частотным из окончаний множественного числа в немецком языке, благодаря тому, что он употребляется в различных фонологических контекстах, то есть минимально ограничен фонологическим выбором. Слова, использующие остальные окончания, соответственно данной модели должны быть усвоены как исключения. Однако исследования показывают,

то реальная картина противоречит предсказаниям: немецкие дети сразу начинают использовать все показатели множественного числа, некоторые показатели практически без ошибок, другие с ошибками вплоть до 40%.

Другой интересный случай – усвоение показателя генитива в польском языке. Как и в русском, там окончание генитива варьируется в зависимости от склонения, которое в свою очередь тесно связано с родом существительного: для среднего и женского родов есть основной вариант показателя, а для мужского рода нельзя сказать, что одно из окончаний наиболее частотно. Исследования Дабровской [Dabrowska 2001] показывают, что польские дети очень рано (до двух лет) усваивают окончания генитива и делают очень мало ошибок.

Бывает такое, что ребенок использует один показатель во всех случаях. Модель двойственных процессов предсказывает, что в таком случае будет выбран либо показатель женского рода, либо показатель среднего рода, так как и в обоих случаях имеется только один вариант окончания. Вопреки модели, дети, изучающие польский язык, если и выбирают единственный показатель для всех употреблений генитива, то используют в этом случае один из показателей мужского рода.

Эти два примера хороши тем, что они имеют картину распределения, несовпадающего с дистрибуцией английского аффикса *-ed*. Польские окончания – это система, в которой имеется несколько вариантов, среди которых есть показатели, использующиеся по умолчанию. Немецкое множественное число – это случай, в котором варианта по умолчанию нет. Усвоение и тех и других показателей расходится с предсказаниями модели двойственных процессов. М. Томаселло, вслед за Дж. Байби [Bybee 1985; 1995], предлагает использовать модель, объясняющую усвоение грамматических показателей при помощи однонаправленного процесса. Она учитывает, что дети одновременно используют информацию о семантическом и фонологическом сходстве слов (т.е. способны использовать то же окончание для слов, похожих по форме и по смыслу) и частотность того или иного показателя (т.е. число лексем, с которыми он используется). Такой подход объясняет, почему в немецком дети выбирают в качестве показателя по умолчанию чаще всего окончание *-n*: оно наиболее частотно. Более того, и взрослые носители немецкого языка, если их просить образовать множественное число от несуществующих слов, чаще всего будут использовать именно показатель *-n*. Объясняется и употребление наиболее частотного из показателей польского генитива в качестве основного. Таким образом, функциональная

теория, базирующаяся на частотности грамматических показателей и семантической и фонологической схожести лексем, делает более правильные предсказания, чем модель двойственных процессов.

В седьмой главе М. Томаселло обсуждает усвоение сложных конструкций – сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Все генеративные теории, описывающие, как происходит этот процесс, используют предположение, что ребенок обладает теми же глубинными структурами, что и взрослый. Так, сторонники генеративной теории считают, что при овладении сложными предложениями ребенок оперирует категориями вроде приводящихся у С. Пинкера [Pinker 1994] в правиле, описывающем употребление сложных конструкций: «присоединить X в качестве соседней вершины к предикату», «создать лексический вход для предиката, который оформляет основное высказывание» и т.п.

В рамках функционализма была сформулирована гипотеза, которая объясняет усвоение сложных предложений в рамках грамматики конструкций. Х. Диссель [Diessel 2004] считает, что дети до трех лет используют сложные конструкции только в рамках конструкций с фиксированными элементами. То есть, дети научаются хорошо использовать конструкции вроде:

- (1) NP wanna/hafta/gotta/VERB
- (2) See/look/remember NP VERB-ing
- (3) NP think/know/guess that/Ø CLAUSE
- (4) NP see/tell/wonder if CLAUSE
- (5) NP see/look/know what/how/when CLAUSE

Это значит, что знание об использовании сложных конструкций, которыми дети овладевают в возрасте от трех до пяти лет, не возникает ниоткуда. Сначала ребенок использует сложные предложения с ограниченным набором предикатов, а затем учится употреблять такие конструкции в более общих случаях.

В двух последних главах М. Томаселло обращается к усвоению языка с точки зрения биологических процессов. Самая известная теория, касающаяся роли биологии в развитии языка, это гипотеза Н. Хомского, согласно которой основные грамматические параметры передаются генетически. Часть мозга, отвечающая за развитие языка, содержит не специфические для языка механизмы обучения или предпочтения в восприятии явлений, а непосредственно лингвистические правила (универсальную грамматику).

М. Томаселло обсуждает основные доказательства, которые сторонники генеративной теории приводят в пользу гипотезы о существовании врожденной универсальной грамма-

тики, а именно генетические нарушения речи, образование креольских языков, критический период в изучении неродного языка и так называемый «аргумент о недостаточности данных». В принципе, М. Томаселло отрицает достоверность всех этих доводов, однако его аргументация не для всех из них выглядит убедительной. В частности, он, обсуждает одну семью в Англии, члены которой на протяжении нескольких поколений подвержены нарушениям речи, разрушающим грамматическую морфологию языка (см. подробнее [Fisher et al. 1998; Lai et al. 2001]). Заболевание распространено среди членов семьи и считается генетическим, на этом основании многие ученые (см., например [Gornik, Crago 1991]) делают вывод, что морфологическая информация в мозгу передается генетически. В качестве контраргумента по отношению к данной гипотезе М. Томаселло использует то обстоятельство, что среди членов той же семьи распространена речевая апраксия, затрудняющая произнесение звуков, и таким образом, все дефекты их речи могут быть объяснены как недостатки произношения, а не глубинных языковых структур. С этим выводом автора трудно согласиться. Дело в том, что последние исследования, проведенные на гораздо более обширном материале разных языков (включая русский), показали, что такие нарушения речи не связаны напрямую ни с интеллектуальными отклонениями, ни с дефектами произношения. Таким образом, пока факт существования лингвистических заболеваний, передающихся генетически, не свидетельствует непосредственно о врожденности языковых правил, но, безусловно, требует дальнейшего изучения.

Есть и еще один аргумент сторонников Н. Хомского в пользу теории универсальной грамматики, которому М. Томаселло уделяет недостаточное внимание. Это свойства пиджинов. Дело в том, что все пиджины, образованные в самых различных точках планеты на базе различных, не связанных между собой языков, обладают в значительной мере общими свойствами, а именно: имеют одинаковый порядок слов, используют неопускаемое подлежащее, выражают большинство грамматических значений аналитически, имеют тенденцию к семантической регулярности при присоединении грамматических значений и т.п. Сторонники генеративной теории объясняют данные совпадения тем, что носители креольских языков имеют недостаточно информации от взрослых, так как те разговаривают на неполноценном языке – пиджине. В результате, дети, усваивающие такой язык, «достаивают» недостающие элементы, пользуясь внутренней универсальной грамматикой, и это объясняет,

с точки зрения теории Н. Хомского, схожесть между всеми пиджинами. Получается, что их структура – это универсальная грамматика, в которой все возможные параметры используются по умолчанию¹. М. Томаселло замечает, что при изучении пиджинов недооценивается роль влияния родных языков родителей, и цитирует исследования, которые показывают, что дети, овладевшие креольским языком, находятся в куда более тесном контакте с естественным языком, чем предполагают сторонники генеративной теории [Samarin 1984; Seuren 1984]. Однако, даже если это так, причина структурного сходства всех пиджинов между собой остается невыясненной: ведь если структура пиджина была бы обусловлена языками, на основе которых он построен, то разные пиджины имели бы различные структуры. Таким образом, здесь аргументация М. Томаселло пока не дает однозначного ответа на вопрос о существовании универсальной грамматики.

С другой стороны, замечания автора по поводу самого знаменитого свидетельства в пользу универсальной грамматики, выдвинутого Н. Хомским, заслуживают особого внимания. Речь идет о так называемом аргументе о недостаточности данных (*poverty of the stimulus argument*). Этот аргумент рассматривался Н. Хомским на двух основных примерах: теории связывания и общих вопросах в английском языке. Материал второго из этих примеров и разбирает М. Томаселло. Анализируя пары примеров вроде *He is cold* и *Is he cold?*, дети могут прийти к двум различным правилам, описывающим, каким образом формируются да/нет вопросы в английском языке: 1) при вопросе самый левый из вспомогательных глаголов выносится вперед; 2) при вопросе вспомогательный глагол основной предикации выносится вперед. В большинстве случаев оба правила дают одинаковый результат. Разница

¹ Здесь мне хотелось бы отметить, что существуют также сходные параметры в структуре пиджинов, которые никаким образом не могут быть объяснены с точки зрения генеративного синтаксиса. Например, все пиджины стремятся к использованию очень простой консонантной системы и системы гласных из пяти элементов (самой распространенной в языках мира). Этот факт невозможно объяснить, исходя из теории универсальной грамматики, в которой используются только параметры с двумя возможными значениями, даже если включить в универсальную грамматику параметры, описывающие фонетическую систему языка.

между ними проявляется в предложениях, в которых перед вспомогательным глаголом основной клаузы расположена зависимая клауза, в которой также есть вспомогательный глагол.

- (6) Those who are leaving early can sit near the door.
(7) Are those who _ leaving early can sit near the door?
(8) Can those who are leaving early _ sit near the door?

По утверждению Н. Хомского, среди фраз, которые дети могут услышать от взрослых, не встречается примеров, по которым дети могли бы выяснить, что в английском языке используется второе правило, а не первое. Но раз носители английского языка строят да/нет вопросы правильным образом, значит этот параметр им известен заранее. Однако М. Томаселло приводит результаты корпусного анализа [Pulium 1996], которые показывают, что нет никакой нужды предполагать, что правила построения общих вопросов не могут быть извлечены детьми непосредственно из окружающей их речи.

Все сказанное приводит М. Томаселло к выводу, что гипотеза о врожденных грамматических структурах не обоснованна в достаточной степени. Многие ее положения, такие как только что рассмотренный аргумент о недостаточности данных или предположение о непрерывности (сторонники которого считают, что ребенок изначально обладает теми же грамматическими структурами, что и взрослый), заведомо неверны. Предположение о том, что сначала ребенок изучает достаточное количество лексики, чтобы выяснить, каким образом устанавливаются параметры в языке, противоречит неязыковым теориям об обучении ребенка (то есть получается, что этот механизм уникален для изучения языка).

М. Томаселло заключает, что гораздо правдоподобнее была бы гипотеза о том, что у людей есть врожденный механизм, позволяющий изучить язык, основываясь на статистическом анализе. Он указывает и на то, что сами основания генеративной теории не учитывают многие когнитивные способности, которыми дети, как доказано, обладают. Эти способности включают в себя:

- Возможность понимать намерения говорящего, и обучение внутри культурно структурированного окружающего мира, пронизанного культурными шаблонами, которые помогают детям конструировать первые лингвистические знаки.
- Способности к схематизации и аналогии, которые позволяют детям создавать аб-

страктные лингвистические конструкции на базе конкретных употреблений, которые они слышат.

- Закрепление навыков и корректировку усвоенного на основе неоправдавшихся ожиданий, которые объясняют, каким образом происходит переход от конкретных конструкций к абстрактным.
- Функционально-дистрибутивный анализ, который объясняет, как дети формируют лингвистические парадигматические категории.

И наконец, М. Томаселло формулирует свой ключевой вопрос: если мы можем объяснить усвоение языка, не используя врожденной универсальной грамматики, – зачем она нам нужна? Он считает, что альтернативный подход к этой проблеме – с точки зрения конструкций – имеет много существенных преимуществ перед теорией универсальной грамматики: он согласуется с психологическими теориями о механизмах обучения, он объясняет, почему дети начинают говорить примерно в возрасте одного года, он объясняет, каким образом происходит усвоение первых лингвистических знаков, как происходит обобщение конкретных конструкций и переход к абстрактным и каким образом происходит разграничение на парадигматические классы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Bruner 1983 – *J. Bruner*. Child's talk. New York, 1983.
- Bybee 1985 – *J. Bybee*. Morphology: A study of the relation between meaning and form. Amsterdam, 1985.
- Bybee 1995 – *J. Bybee*. Regular morphology and the lexicon // *Language and cognitive processes*. 10. 1995.
- Cameron-Faulkner, Lieven, Tomasello 2003 – *T. Cameron-Faulkner, E. Lieven, M. Tomasello*. A construction-based analysis of child directed speech // *Cognitive Science*. 27. 2003.
- Caselli et al. 1995 – *Caselli et al.* A cross linguistic study of early lexical development // *Cognitive Development*. 10. 1995.
- Dabrowska 2001 – *E. Dabrowska*. Learning a morphological system without a default: the Polish genitive // *Journal of child language*. 28. 2001.
- Diessel 2004 – *H. Diessel*. The acquisition of complex sentences in English. Cambridge, 2004.
- Fisher et al. 1998 – *S.E. Fisher et al.* Localization of a gene implicated in a severe speech and language disorder // *Nature Genetics* 18(2). 1998.

- Gopnik, Crago 1991 – M. Gopnik, M.B. Crago. Familial aggregation of a developmental language disorder // *Cognition*. 39. 1991.
- Lai et al. 2001 – C.S. Lai et al. A forkhead-domain gene is mutated in a severe speech and language disorder // *Nature*. 413. 2001.
- Marcus et al. 1992 – G.F. Marcus et al. Overregularization in language acquisition // *Monographs of the Society for research in child development*. 57. 1992.
- Marcus, Brinkmann, Clahsen, Wiese, Pinker 1995 – G.F. Marcus, U. Brinkmann, H. Clahsen, R. Wiese, S. Pinker. German inflection: The exception that proves the rule // *Cognitive psychology*. 29. 1995.
- Markman 1989 – E. Markman. *Categorization and naming in children*. Cambridge (Mass.), 1989.
- Markman 1992 – E. Markman. Constraints on word learning: Speculations about their nature, origins, and word specificity // M. Gunnar, M. Maratos (eds.). *Modularity and constraints*

- in language and cognition. Hillsdale (New Jersey), 1992.
- Pinker 1994 – S. Pinker. *The language instinct*. New York, 1994.
- Pinker, Prince 1988 – S. Pinker, A. Prince. On language and connectionism: Analysis of parallel distributed processing model of language acquisition // *Cognition*. 28. 1988.
- Pullum 1996 – G. Pullum. Learnability, hyperlearning, and poverty of the stimulus // *Proceeding of the Berkeley linguistic society*. 22. 1996.
- Samarin 1984 – W. Samarin. Socioprogrammed linguistics // *Behavioral and brain sciences*. 7. 1984.
- Seuren 1984 – P. Seuren. The bioprogram hypothesis: Fact and fancy // *Behavioral and brain sciences*. 7. 1984.
- Tomasello 1992 – M. Tomasello. The social bases of language acquisition // *Social development*. 1. 1992.

Ю.Л. Кузнецова

W. Wildgen. The evolution of human language: Scenarios, principles, and cultural dynamics. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins publishing company, 2004. xii + 227 pp. + index.

Книга В. Вильдгена ставит своей целью анализ происхождения и последующей эволюции языка в широком философско-семиотическом контексте. Поскольку язык является одной из форм знакового поведения, познать его можно, по мнению автора, лишь в сопоставлении с другими формами знакового поведения – искусством, наукой, изготовлением орудий и т.д. Автор стремится исследовать «все поле языковых и символических способностей и их (причинные) связи с физической эволюцией человека, с экологическими изменениями и эволюцией человеческих сообществ» (с. 2), вскрыть механизмы формирования знакового поведения и проследить роль творчества в этом процессе, а также найти в ныне существующих языках следы наиболее ранних этапов языковой эволюции.

Уже в первой главе («Introduction») автор очерчивает временные рамки происхождения языка: самое начало этого процесса относится ко времени расхождения линий человека и шимпанзе (7 млн. лет назад); появление языка, обладающего специфически человеческими чертами, датируется временем существования *Homo erectus* (2 млн. лет назад), и, наконец, полное развитие языковой способности связывается с временем существования «митохондриальной Евы» (400–200 тыс. лет назад), когда формируется вид *Homo sapiens*.

Во второй главе («Basic scenarios and forces in the evolution of human language») рассматриваются четыре основных сценария возникновения человеческого языка. Первый из них предполагает, что определенные свойства, изначально предназначенные для чего-то другого, впоследствии оказались полезны для языка. В качестве таких свойств В. Вильдген рассматривает когнитивные и психические (расширение памяти, способность к подражанию, способность к планированию последовательности действий), моторные (контроль за движениями рук и органов артикуляции), сенсорные (новое устройство внутреннего уха), анатомические (понижение гортани, увеличение размеров коры больших полушарий головного мозга). Это, конечно же, далеко не полный перечень предпосылок, необходимых для появления языка (не названа, например, способность к тонкому контролю дыхания), но он дает возможность автору сформулировать вывод – вполне справедливый, – что одних предпосылок такого рода для объяснения глоттогенеза недостаточно.

Второй сценарий – сценарий «бутылочного горлышка»: небольшая группа, оказавшись отрезанной от основной популяции, попадает в такие экологические условия, которые способствуют закреплению определенных черт с одновременной утратой того разнообразия вариантов, которое было присуще исходной попу-

яляции в целом; исходная же популяция при этом вымирает.

Согласно третьему сценарию, основной движущей силой происхождения языка был половой отбор – преимущество получали особи, обладающие большими когнитивными возможностями, выразить которые можно, по мнению автора, только при помощи развитого языка.

Четвертый сценарий отводит языку роль универсального символического посредника.

Рассмотрение этих сценариев приводит автора к следующим предварительным выводам: ни один из сценариев сам по себе не может объяснить происхождения языка. Необходимо соединить разные сценарии, а кроме того, рассмотреть язык в комплексе с другими компонентами культуры – технологией, искусством, ритуалом, религией и т.д.

В третьей главе («Expression and appeal in animal and human communication with special consideration of laughter») автор упоминает некоторые аспекты коммуникации животных (не всегда, увы, ссылаясь на необходимые работы) и делает вывод, что хомскианские идеи о врожденной Универсальной Грамматике крайне интуитивны в биологическом контексте. Говоря о комическом, автор отмечает, что это понятие наполнялось разным содержанием в разных странах, в разные эпохи и т.д., и ограничивает себя рассмотрением семиотического статуса комического. Главное в комическом то, что оно вызывает смех. Далее В. Вильдген рассматривает классические теории комического от Аристотеля до Канта и Новалиса и приходит к выводу о дочеловеческих основах смеха.

Главной функцией языка автор считает сообщение правдивой информации о ментальном состоянии с тем, чтобы сородичи знали о знаниях особи, ее представлениях о мире, желаниях и т.п.

В четвертой главе («The evolution of cognitive control in tool-making and tool-use and the emergence of a theory of mind») В. Вильдген рассматривает происхождение языка в контексте производства орудий. Сами по себе орудия не имеют коммуникативной функции, но они говорят о социальном развитии, кроме того, изготовление орудий «на будущее» – свидетельство долговременного планирования, своего рода синтаксис материальных действий. Автор усматривает общность когнитивных принципов каузации, лежащих в основе как орудийного поведения, так и языка.

Важное значение для развития языка имеет «теория ума» (иначе «теория сознания», англ. *theory of mind*, – знание о знаниях другой особи): без нее не может развиваться язык как сред-

ство влияния на умы окружающих. Становление «теории ума» автор рассматривает, проецируя на эволюцию гоминид стадии развития детского сознания, выделяемые Ж. Пиаже (прежде всего, стадию анимизма).

Пятая глава («The evolution of pre-historic art and the transition to writing systems») посвящена такой форме знакового поведения, как искусство. Зачатки искусства обнаруживаются в слоях более чем двухсоттысячелетней древности (см., например [Шер, Вишняцкий, Бледнова 2004: 66–68]), но В. Вильдген ограничивается рассмотрением ориньякского и более позднего искусства: один из главных факторов возникновения искусства (и языка), по его мнению, – это взаимодействие и взаимообогащение целой сети локальных культур, сложившейся в Европе около 40 тыс. лет назад.

Схематизацию пещерных росписей автор сравнивает с грамматикализацией. Совмещение на одном рисунке (пещера Фон-де-Гом) реалистического изображения бизона и некоторой схематической фигуры приводит автора к мысли, что язык мог эволюционировать от однословных высказываний к двусловным, где одно из слов было более референциальным, а другое – более грамматическим.

В этой главе предлагается несколько возможных семиотических интерпретаций пещеры, высказываются гипотезы о причинах возникновения и угасания пещерной живописи. Довольно подробно прослеживается развитие письма – от ранних иероглифических систем до алфавитов.

Автор отмечает, что желание рисовать на скалах (и других подобных поверхностях, вплоть до заборов и вагонных окон) сохраняется у человека и поныне, и это дает ключ к универсальной семиотической способности человека.

Продолжается тема творчества и в шестой главе («Symbolic creativity in language, art, and science and the cultural dynamics of symbolic forms»). Автор обращается к живописи Леонардо да Винчи и Вильяма Тёрнера, скульптуре Генри Мура. Великий художник-новатор задает новый канон не только для искусства, но и для повседневной жизни, и язык, по мнению автора, был изобретен тем, кто первым сказал предложение. Подчеркивается важность того, чтобы достижения гения были приняты обществом, а это, по мнению В. Вильдгена, возможно только при наличии языка.

Примером креативности в языке служат для автора лексические инновации, поскольку другие инновации не дают возможности проследить роль индивида. В качестве прототипа лексической инновации В. Вильдген, носитель немецкого языка, рассматривает композиты –

в них могут быть «свернуты» достаточно длинные пропозиции. Пример креативности в науке – переход от геоцентрической модели мира к гелиоцентрической.

Автор рассматривает развитие языка как увеличение словаря от 3–4 сигналов до 50 (на этом этапе появляется композиционность основ) и последующий переход от пятидесяти выкриков к пяти тысячам лексем (что дает возможность составлять большое число предложений).

В седьмой главе («Fossils» of evolution in the lexicon of HAND and EYE (mainly in German, English and French)) автор пытается обнаружить «ископаемые» свидетельства эволюции языка в современном словаре: здесь основой для рассуждений о глоттогенезе служит лексика (и базовый синтаксис) живых языков (практически исключительно английского, немецкого и французского), более конкретно – фразеологизмы с использованием названий «руки» и «глаза». Концепты «рука» и «глаз» являются, по мнению автора, источником глубинно-синтаксических структур: в частности, когда рука осмысливается как посредник между человеком (агеном) и объектом внешнего мира (пациентом), – то, чем можно касаться, хватать, бросать и т.п., – а затем в этой же функции начинают выступать орудия, возникает синтаксическая роль инструмента.

Кульминацией книги является восьмая глава («The form of a "protolanguage" and the contours of a theory of language evolution»), суммирующая взгляды автора на происхождение и дальнейшую эволюцию языка. В центре внимания здесь оказывается схема хватания (описываемая с позиций семантической «теории катастроф» Р. Тома), которая представляет собой двухвалентное действие и тем самым является когнитивной преадаптацией к появлению валентностей.

Грамматика протоязыка базировалась, по мнению В. Вильдгена, на следующих трех иерархически организованных уровнях классификации: стабильные сущности (протосуществительные и протоприлагательные), изменения (протоглаголы) и двухвалентная схема хватания. Важная роль в организации грамматики принадлежала семантике, поскольку одни сочетания слов семантически возможны, а другие – нет.

Построение теории происхождения языка автор находит невозможным без подробной информации о биологической эволюции (в особенности мозга, уха и органов артикуляции, причем на всех стадиях гоминизации), генетической информации, релевантной для языковой способности, знания эволюционных преимуществ языка. Доязыковую коммуникацию

он предполагает восстанавливать на основе анализа орудий и искусства; история письма может быть использована как ключ к пониманию культурной динамики символических систем. Успехи языковой типологии и теории языковых изменений должны помочь реконструировать язык, относящийся к периоду 10–12 тыс. лет назад. Но пока, констатирует автор, всеми этими знаниями наука не обладает, и поэтому теории глоттогенеза нет.

Девятая глава («Symbolic forms, generalized media, and their evolution») основывается на касиреровской «Философии символических форм» (обнаруживающихся в звучащей речи, мифе, искусстве, технологии и чистом знании), которые служат посредниками между человеком и внешним миром. В этой же главе рассматриваются социологические модели семиотических жанров, автор выделяет (вслед за Н. Луманном) такие четыре универсальных посредника между Эго и Другим, как истина / язык, любовь, обладание / искусство и власть / закон. Любое социальное взаимодействие имеет, по мнению автора, семиотическую природу.

На с. 196 приводится последовательность появления форм знакового поведения – от коммуникативных систем, имеющих у приматов и предположительно имевшихся у их общего с людьми предка, – через накопление звуковых сигналов (до 2 млн. лет назад – стадия пре-протоязыка), стабилизацию и усложнение протоязыков (2–1 млн. лет назад), дифференциацию и соперничество между первобытными культурами (700–200 тыс. лет назад), развитие полного репертуара символических форм, базирующихся на полной языковой способности (после 200 тыс. лет назад), сеть взаимодействующих локальных культур (после 40 тыс. лет назад) – вплоть до нынешней глобализации.

Развитие высказанных в этой главе идей должно, по мнению автора, лечь в основу новой книги – о будущем человеческой коммуникации.

В десятой главе («Consciousness, linguistic universals, and the methodology of linguistics») происхождение языка описывается в виде следующих стадий:

1. Базовый уровень – способность к движению и целенаправленному воздействию на окружающий мир (уже 2 млн. лет назад).
2. Формирование системы артикуляции, базовых принципов фонологии – возможность этого обуславливается «зеркальными нейронами», развитие (в соответствии с теорией Р. Данбара) связывается с такой функцией языка, как обеспечение социального комфорта (этой стадии достиг *Homo erectus* 1,6–1 млн. лет назад).

[Дерягина 2003: 159–161]. Кроме того, традиция изготовления орудий «на будущее» едва ли может возникнуть в сообществе с жесткой иерархией (наподобие сообщества шимпанзе): особи-доминанты склонны присваивать себе плоды трудов подчиненных особей. Все это говорит о том, что для ранних гоминид более вероятно сообщество с развитыми дружескими связями, подобное сообществу бонобо. В таком сообществе требования к коммуникативной системе повышаются, поскольку для дружбы необходима более тонкая нюансировка отношений, чем для простого доминирования (возможно, с этим связаны большие, нежели у шимпанзе, успехи бонобо в так называемых «языковых проектах» – опытах по обучению обезьян человеческому языку). Таким образом, прогресс в развитии орудий свидетельствует о развитии не только социальности, но и коммуникативной системы (заметим, впрочем, что отсутствие прогресса не свидетельствует об обратном: весьма примитивные орудия изготавливались кое-где даже в XIX в. – людьми, говорившими на вполне обычном человеческом языке).

К идее о недостаточности перечисляемых автором предпосылок для возникновения языка можно добавить, что сам подход – сначала появление тех или иных черт и только потом их применение (например, для языка) – не вполне верен: во многих случаях имеет место коэволюция, основанная на положительной обратной связи (см., например [Deacon 1997]). В работе Т. Дикона (известной автору, но процитированной лишь однажды и по другому поводу) можно найти вполне убедительное обоснование того, что врожденной Универсальной Грамматикой, как и отдельного «языкового органа», не может быть по чисто техническим причинам (см. по этому поводу также [Пинкер 2004]).

Вообще, приходится констатировать, что, хотя идей в книге В. Вильдгена высказывается очень много (и поэтому любой пересказ неизбежно оказывается неполным), ссылок на работы, где эти идеи были впервые выдвинуты и обоснованы, до обидного мало, – так что тем, кто хотел бы ознакомиться с темой более подробно, придется самостоятельно разыскивать нужную литературу (о происхождении языка см., в частности [Givón, Malle 2002; Christiansen, Kirby 2003; Tallerman 2005 с литературой]); о до-человеческих основах смеха см., например [Козинцев, Бутовская 1996] и т.д.). Автор оперирует теориями Аристотеля, Кассирера, Канта и др., но мало ссылается на современные работы. Так, размышляя над тем, был ли язык изначально жестовым или звуковым, В. Вильдген упоминает Кондильяка, но совершенно

3. Расширение словарного запаса (во время миграции *Homo erectus*).

4. Появление синтаксически и текстуально сложных языков (у архаичных *Homo sapiens*).

Завершается книга формулировкой некоторых выводов, касающихся лингвистической методологии. Во-первых, В. Вильдген говорит о необходимости интегрирования эволюционной составляющей в общую лингвистическую теорию. Во-вторых, особое место в лингвистической теории должна занять «тополого-динамическая семантика», предложенная Рене Томом, – с ее помощью можно объяснить многие аспекты эволюции языка. Далее, необходимо изучать и описывать язык не только в его полном виде, поскольку такие явления, как нарушение языковой способности при афазии, креолизация пиджинов и т.п., проливают свет на процесс создания языка. При рассуждении о ранних этапах эволюции языка необходимо учитывать биологические и экологические изменения, накладывавшие ограничения на использование звукового языка. Заключительный вывод автора состоит в том, что «если объяснительная сила лингвистических теорий и моделей не может быть существенно увеличена, придется оставить лингвистику как научное предприятие» (с. 208).

Цели и задачи, которые ставит перед собой автор, весьма масштабны, объем же книги сравнительно скромный. Вследствие этого многие мысли, высказываемые В. Вильдгеном, остаются нераскрытыми. Например, вполне справедливая идея о том, что производство орудий (в особенности, добавим, орудий для производства орудий) свидетельствует о развитой социальности, на наш взгляд, заслуживает в контексте происхождения языка большего, нежели быть просто высказанной. Действительно, для того, чтобы делать орудия, необходимо, во-первых, время, которое вместо этого могло бы быть потрачено на поиски пищи, выяснение иерархических отношений и т.д., во-вторых, сосредоточенность на этом процессе. Таким образом, делать орудия может только тот, кто уверен, что с ним, в случае надобности, поделятся пищей, его предупредят об опасности, сородичи не станут за его спиной претендовать на его самку или его место в иерархии и т.д. Столь доверительные отношения могут существовать лишь при наличии развитой коммуникативной системы. С эволюцией гоминид их орудия совершенствуются: если олдувайское рубило можно сделать всего за 3–10 ударов, то для ашельского требуется уже более 60 и, наконец, для орудий, изготавливаемых кроманьонцами, – более двух сотен ударов

игнорирует современные исследования, например, не упоминает М. Корбаллиса, посвятившего этому вопросу специальную работу [Corballis 2002].

Вследствие такого подхода в ряде случаев В. Вильдген, что называется, ломится в открытую дверь: так, говорить о необходимости создания (и об отсутствии в настоящее время) теории, объясняющей языковые изменения, по меньшей мере странно при наличии огромного количества работ, где такая задача не только ставится, но и во многом успешно решается (см., например [Joseph, Janda 2003 с литературой; Келлер 1997]).

Автор неоднократно говорит о своем стремлении построить синтетическую нео-дарвинистскую теорию, базирующуюся на эволюционной биологии и генетике (с. 3), о «в основном биологической ... перспективе» своей работы (с. 155), вообще, по его мнению, теория глоттогенеза «может сосредотачиваться преимущественно на биологических процессах, которые вызывают генетические, анатомические и (основные) поведенческие изменения» (с. 175). Тем не менее, его познания в биологии более чем фрагментарны. Так, говоря о «трех-четырех» вокалических сигналах человекообразных обезьян (англ. *apes*), автор явно имеет в виду верветок – англ. *monkeys* (у человекообразных обезьян сигналов больше, но такой четкой референциальной соотношенности, как у верветок, нет, см. [Фирсов, Плотников 1981], о сигналах верветок см. [Cheney, Seyfarth 1990]), называет неандертальца *Homo neanderthalensis* (с. 50), что соответствует представлению о том, что неандертальцы и кроманьонцы являются разными видами, а кроманьонца – *Homo sapiens sapiens* (с. 85), что уместно, лишь если считать кроманьонца и неандертальца подвидами одного вида. Важная для авторской концепции идея о том, что для передачи «достижений гения» непременно нужен язык, могла возникнуть исключительно благодаря незнакомству с феноменом «культурных традиций», зафиксированных не только у шимпанзе (см. [Гудолл 1992]), но даже у низших приматов (описание ставшего хрестоматийным примера распространения привычки мыть клубни в колонии японских макак см., например, в работе [Imanishi 1957]).

Биология для В. Вильдгена практически сводится к передаче генов, мутациям и давлению окружающей среды. Но для изучения происхождения языка гораздо более существенны достижения этологов – специалистов по коммуникативным системам животных, например, такой нечасто упоминаемый факт, что коммуникативная система есть не только и не столько средство, обеспечивающее взаимодей-

ствие животных в коммуницирующей в данный момент паре, сколько специализированный механизм управления в системе популяции в целом.

Не очень сильна и лингвистическая сторона рецензируемой книги. Помимо недооценки достижений теории грамматикализации, можно упомянуть такие курьезные ошибки, как попытки этимологического сближения (на с. 140) нем. *Hand* 'рука' и *Hund* 'собака', безоговорочное отнесение прилагательных к сущностям именной природы (с. 174), а также утверждение о том, что реконструкция языков десяти-тысячелетней древности – дело типологии (с. 184). Нет нужды говорить, что автор не приводит материала ни из одного языка, где прилагательное было бы не именем, а, скорее, глаголом, и не ссылается ни на одну компаративистическую работу, в которой предлагалась бы глубокая реконструкция (см., например [Иллич-Свитыч 1971–1984; Старостин 2004–2005]).

Таким образом, в целом рецензируемую работу можно охарактеризовать как довольно поверхностную.

В то же время нельзя не отметить и достоинств книги: она легко читается и имеет чрезвычайно подробную структуру – едва ли не каждые три-четыре страницы снабжены собственным заголовком. В ней множество иллюстраций – от репродукций картин Леонардо да Винчи до тополого-динамических схем хватания и изготовления орудий.

Книга может быть интересна тем, кто ценит полет философской мысли, а также полезна для тех, кто хотел бы без больших усилий овладеть данным материалом на уровне, достаточном для поддержания светской беседы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гудолл 1992 – Дж. Гудолл. Шимпанзе в природе: Поведение. М., 1992.
Дерягина 2003 – М.А. Дерягина. Эволюционная антропология: Биологические и культурные аспекты. М., 2003.
Иллич-Свитыч 1971–1984 – В.М. Иллич-Свитыч. Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь: В 3 т. М., 1971. Т. 1; М., 1976. Т. 2; М., 1984. Т. 3.
Келлер 1997 – Р. Келлер. Языковые изменения: О невидимой руке в языке. Самара, 1997.
Козинцев, Бутовская 1996 – А.Г. Козинцев, М.Л. Бутовская. О происхождении юмора // Этногр. обозрение. 1996. Вып. 1.
Пинкер 2004 – С. Пинкер. Язык как инстинкт. М., 2004.

Старостин 2004–2005 – С.А. Старостин. <http://starling.rinet.ru/Texts/scc.pdf> (синокавказская фонология), <http://starling.rinet.ru/Texts/glossary.pdf> (синокавказский глоссарий) 2004–2005.

Фирсов, Плотников 1981 – Л.А. Фирсов, В.Ю. Плотников. Голосовое поведение антропоидов. М., 1981.

Шер, Вишняцкий, Бледнова 2004 – Я.А. Шер, Л.Б. Вишняцкий, Н.С. Бледнова. Происхождение знакового поведения. М., 2004.

Cheney, Seyfarth 1990 – D. Cheney, J. Seyfarth. How monkeys see the world. Chicago, 1990.

Christiansen, Kirby 2003 – M.H. Christiansen, S. Kirby (eds.). Language evolution. Oxford, 2003.

Corballis 2002 – M.C. Corballis. From hand to mouth: The origins of language. Princeton (New Jersey), 2002.

Deacon 1997 – T. Deacon. The symbolic species: The co-evolution of language and the brain. New York; London, 1997.

Givón, Malle 2002 – T. Givón, B.F. Malle (eds.). The evolution of language out of pre-language. Amsterdam; Philadelphia, 2002.

Imanishi 1957 – K. Imanishi. Identification: A process of enculturation in the subhuman society of *Macaca fuscata* // Primates. V. 1. 1957.

Joseph, Janda 2003 – B.D. Joseph, R.D. Janda (eds.). The handbook of historical linguistics. Oxford, 2003.

Tallerman 2005 – M. Tallerman (ed.). Language origins: Perspectives on evolution. Oxford, 2005.

С.А. Бурлак

Linguistic diversity and language theories / Ed. by Z. Frajzynger, A. Hodges, D.S. Rood. Amsterdam: John Benjamins publishing company, 2005. xii + 432 p.

Данный сборник статей исследователей из Франции, Великобритании, США и др. стран призван отразить результаты работы международной конференции по языковому разнообразию и теории языка, которая прошла в мае 2003 года. Целью этой конференции был поиск ответов на ряд ключевых вопросов, касающихся связей теории языка с типологическим разнообразием наблюдаемых языковых явлений.

Первые три статьи сборника посвящены проблемам методологии типологического исследования.

В статье, открывающей сборник и озаглавленной «Чем занимаются типологи?» (What are we typologists doing?), Ж. Лазар предлагает свое решение для одной из центральных проблем методологии типологического исследования – поиск основания для сравнения различных языков. Автор начинает с рассуждения о целях, которые преследуют типологи, а именно – поиск свойств, общих для всех языков («эмпирических универсалий», или «инвариантов» языка). При этом, признавая большие достижения лингвистической типологии, Лазар указывает на наблюдавшийся в последние годы рост неудовлетворенности типологов состоянием своей дисциплины, отсутствием полной ясности в отношении ее целей и методологических оснований. Лазар предлагает взять за теоретическую основу языковую концепцию Ф. де Соссюра, и в первую очередь идеи о произвольности языкового знака и о том, что языковая единица может быть определена только в отношении к другим языковым единицам. Из этих идей, по мнению автора, следует, что не

может существовать универсальных языковых категорий, а наличие сходных (хотя и не идентичных) категорий в различных языках объясняется существованием особых зон в аморфном семантическом пространстве, которые с высокой вероятностью подвергаются грамматикализации. При этом в каждом конкретном языке могут грамматикализоваться различные участки семантического пространства вокруг таких зон. Далее автор обращается к центральному вопросу статьи, а именно к необходимости сравнивать различные языки и отсутствию оснований для подобного сравнения. Действительно, рассуждает автор, лингвистические категории не могут служить таким основанием, так как они индивидуальны для каждого языка, семантические категории также не могут быть таким основанием, так как семантическое пространство само по себе аморфно. Что же остается? Ответ Лазара – интуиция. Автор считает, что первым этапом типологического исследования должно быть создание системы аксиом и определений, основанных на интуиции исследователя, но при этом четко и эксплицитно сформулированных (такую систему автор называет «произвольной концептуальной моделью», arbitrary conceptual framework). Такие системы аксиом произвольны, это не теории, подверженные фальсификации, а инструмент исследования. При этом в зависимости от результатов исследования, такой инструмент может оказаться более или менее полезным (в последнем случае он должен быть отброшен и заменен на другой). Лазар иллюстрирует свой подход несколькими примерами из области типологии переходности,

типологического подхода к пониманию субъекта и объекта, а также приводит краткое изложение исследования В. Крофта, посвященного взаимосвязи категорий залога и лица. Рассуждая о характере языковых универсалий, Лазар приходит к выводу, что они не могут относиться ни к области означаемых, ни к области означающих языковых знаков, а лишь к абстрактным отношениям между означаемыми и означающими. В заключение автор излагает свой взгляд на связь лингвистической типологии и когнитивных наук, указывая, что когнитивные науки в том виде, в котором они сейчас существуют, могут быть полезны типологу лишь на начальном этапе исследования (при создании интуитивной системы аксиом) и уже на финальном этапе, или точнее после окончания собственно типологического исследования. На основном же этапе, связанном с описанием и сравнением различных языков, исследователь в поисках языковых универсалий должен иметь дело только с языковыми сущностями.

Г. Корбет во второй статье сборника, озаглавленной «Канонический подход в типологии», предлагает несколько иной взгляд на цели и методологию типологического исследования. «Канонический подход», предлагаемый автором, заключается в детальной разработке понятия «канонический случай» некоторого феномена на основе набора четко сформулированных параметров. Эти параметры задают множество возможных типов того или иного явления. Далее это пространство возможностей «заселяется» различными языками, и подсчитывается частотность отдельных типов. При этом собственно канонический тип в реальности может оказаться далеко не самым частотным. Автор иллюстрирует такой подход примерами из синтаксиса и морфологии. В первом случае в качестве иллюстрации приводится краткое описание типологического проекта по изучению согласования, а во втором – проектов по изучению явлений синкретизма и супплетивизма. Все эти проекты реализовывались автором статьи и его коллегами в университете Суррея (Великобритания) и привели к созданию ряда типологических баз данных. Если сравнивать подходы к типологии, предложенные Лазаром и Корбетом, то можно отметить, что, во-первых, Корбет отказывается от идеи, что единственной целью типологии является поиск языковых универсалий; проекты, описанные в статье, ориентированы на выявления частотности тех или иных типов рассматриваемого явления. Во-вторых, примеры, приводимые Корбетом, служат иллюстрацией того, что типология может заниматься не только регулярностями в отношениях между означаемым и означающим, но и регулярно-

стями в рамках плана выражения. Общим в подходах авторов этих статей является требование четкой формулировки базовых определений и аксиом, на основе которых строится дальнейшее исследование.

В третьей статье сборника, озаглавленной «Какова природа эмпирической теории лингвистического значения?», П.-И. Ракка рассматривает теоретические вопросы, связанные с возможностью создания теории значения, основанной на эмпирических данных. Автор предлагает считать, что теория семантики должна описывать систему ограничений, которые языковые структуры накладывают на значения, возникающие в сознании слушающего в момент произнесения высказывания. При этом автор приводит примеры использования высказываний в целях аргументации, доказывая, что описания «информационного» содержания высказывания недостаточно для полного описания его значения. Необходим также компонент, который автор назвал «аргументативной ориентацией» высказывания. Кроме того, автор показывает, что «аргументативный» компонент может присутствовать и в семантике отдельных лексических единиц. Отметим, что подобная проблематика широко и детально исследуется в области так называемой формальной прагматики, в которой также признается недостаточность описания условий истинности высказывания для формулировки всех выводов, которые из него может сделать слушающий. К сожалению, в данной статье автор не касается достижений в этой области.

Четыре статьи сборника посвящены теории языковых изменений. Р. Николай в статье «Языковые процессы, теория и описания языковых изменений и построения на основе знаний о прошлом» касается проблемы генетической классификации языков группы сонгай. Указывая на сходство этих языков с нило-сахарскими языками, с одной стороны, с афразийскими, с другой, и с языками семьи манде, с третьей, автор, во-первых, отвергает гипотезу о генетической принадлежности языков сонгай к нило-сахарским языкам, во-вторых, отвергает объяснения сходства этих языков с языками манде, основанные (исключительно) на понятии ареального сближения, и наконец, выдвигает собственную гипотезу о происхождении этих языков. Автор предлагает считать, что языки сонгай изначально возникли в результате сложных процессов на основе афразийского *lingua franca*, использовавшегося в качестве языка торговли (сам этот язык мог представлять из себя неоднородные образования и, вероятно, имел упрощенную структуру). Затем этот язык либо оказал сильное влияние на какой-то из языков манде, вы-

важно серьезный сдвиг в лексическом составе, либо был принят группой носителей какого-то неафриканского языка как основной язык с последующим заимствованием грамматических характеристик из соседних языков манде. Во второй части статьи автор подробно обсуждает важность исследования многоязычия и реконструкции социальной и социолингвистической ситуации для теории языковых изменений.

К. Ажеж в статье «О роли сознательного выбора в структуре и эволюции языка» доказывает, что широко распространенное убеждение, что структура языка и его эволюция лежат вне области сознания носителей, является ошибочным. Автор приводит ряд примеров, иллюстрирующих, что носители часто осознают отдельные компоненты структуры своего языка как в области словарного состава, так и в области фонетики, морфологии и синтаксиса, и что их целенаправленные действия могут влиять на его изменения. К сожалению, многие приводимые факты изложены очень конспективно, так что читателю не всегда оказывается легко оценить степень достоверности утверждений автора.

Статья С. Робер, озаглавленная «Полиграмматикализация и лингвистическая теория: фрактальная грамматика и транскатегориальные функции», посвящена теоретическим аспектам, связанным с распространенностью в языках мира транскатегориальных морфологических показателей.

В статье «О частотности в дискурсе, грамматике и грамматикализации» Р. Пустет отталкивается от так называемого «закона Ципфа», согласно которому частотность слова в дискурсе находится в обратной зависимости от его длины. Основываясь на данных нескольких неродственных разноструктурных языков, она показывает, во-первых, что этот закон можно распространить на грамматические показатели, а во-вторых, что закон Ципфа имеет значение не только для описания синхронного состояния языка, но тесно связан и с процессом языковой эволюции.

Пять статей в сборнике посвящены вопросу о существовании в языках мира универсальных категорий и принципов.

М. Митун в статье «О концепции предложения как базовой единицы синтаксической структуры» приводит данные языка валлапаи (семья юма, штат Аризона), в котором, как утверждается, произошло расширение функции маркеров подчиненной клаузы в рамках сложного предложения. Эти показатели стали использоваться для обозначения связности независимых предложений в рамках дискурса. Митун рассматривает механизмы эволюции

зависимых предложений в независимые, сформулированные разными авторами, и приходит к выводу, что наиболее подходящим для анализа рассмотренных фактов языка валлапаи является механизм непосредственного расширения функций зависимого предложения, ранее сформулированный для анализа эволюции некоторых типов зависимых предложений в японском языке. Автор заключает, что распространенный взгляд на предложение как на «четкую, статическую, может быть, даже врожденную категорию» может оказаться упрощенным, так как противопоставление зависимых и независимых предложений может быть столь же размытым, как и противопоставление простых и сложных предложений. Отметим, что работа Митун страдает как раз от тех недостатков, о которых пишет в своей статье Лазар, а именно, от отсутствия системы четко сформулированных аксиом и определений (в частности, неясно, по каким признакам изначально различаются независимые и зависимые предложения). Это приводит к тому, что рассуждения и выводы автора недостаточно четки, более того, они выглядят парадоксально.

В статье «Предлоги/послелого как неуниверсальная категория» С. Деланси приводит данные языка кламат (один из языков американских индейцев, штат Орегон) и доказывает, что класс предлогов/послелогов в этом языке отсутствует. Более того, такой класс не может быть выделен ни по дистрибутивным, ни по функциональным критериям. В этом языке имеется единственная лексическая единица, которая могла бы претендовать на статус предлога/послелого, однако, как считает автор, этого недостаточно, чтобы говорить о предлогах/послелогох как об универсальной языковой категории. По мнению автора, пример языка кламат показывает, что не все языки «стремятся создавать и поддерживать подобную категорию», перекладывая ее функции на морфемы в составе глагольной словоформы.

Статья Д. Блевинс «К пониманию антигеминации» посвящена явлению блокирования эффектов синкопирования и антигеминации в языках, где эти процессы действуют на синхронном уровне. Автор показывает, что эти процессы блокируются именно в тех случаях, когда их действие могло бы привести к нейтрализации некоторых противопоставлений в рамках парадигмы. Эти факты могут служить иллюстрацией «принципа функциональной прозрачности», предложенного Фрайзингером в другой статье данного сборника (см. ниже).

М. Сисоу в статье «Что значит редкое явление: разнообразие маркирования категории

лица» подробно описывает результаты широкого типологического исследования систем противопоставления элементов по категории лица. Оказывается, что в этой области четких границ между «частотными» и «редкими» системами не существует, наблюдается плавное падение частотности от одних типов систем к другим. На основании этого автор заключает, что теория языка не должна противопоставлять «регулярные» и «исключительные» явления, а должна предсказывать относительную частотность каждого явления.

З. Фрайзингер в статье «Принцип функциональной прозрачности в структуре и эволюции языка» касается проблемы мотивации языковых изменений. Автор предлагает считать, что одной из движущих сил грамматикализации является необходимость соблюдения принципа, который он назвал «принципом функциональной прозрачности» (*principle of functional transparency*). Этот принцип раскладывается на три компонента: во-первых, роль каждого предложения в дискурсе должна быть прозрачна (т.е. ясно выражена), во-вторых, роль каждой составляющей высказывания должна быть прозрачна, и в-третьих, прозрачными должны быть только те роли составляющих высказывания, которые в принципе кодируются в некотором языке (или в данном типе конструкций). Необходимость соблюдения данного принципа может служить мотивацией для процессов грамматикализации, так как если в результате каких-либо фонетических или иных изменений язык теряет средство кодирования функции некоторой составляющей, то необходимы компенсаторные изменения в языке, чтобы сохранить эту функцию. В данной статье Фрайзингер сосредотачивается на двух последних аспектах принципа функциональной прозрачности и приводит целый ряд интересных примеров из области типологии кодирования основных элементов простой предикации, подтверждающих действие этого принципа как на синхронном, так и на диахроническом уровне.

В фокусе заключительных шести статей сборника находятся конкретные явления одного или нескольких языков, которые авторы анализируют, вводя определенные изменения и уточнения в существующие теории.

Лян Тао в статье «О важности анализа дискурса для лингвистической теории» анализирует различные подходы к системе классификаторов в именных группах с числительными в китайском языке и, основываясь на исследовании употреблений конструкций с классификаторами в дискурсе, приходит к выводу, что в китайском языке формируется новая структура, в которой числительное может сочетаться с именем без классификатора.

В статье «Теория словосложения и языковое разнообразие» А. Сёгрод приводит обзор существующих теорий сложных слов, демонстрирует их неполноту и формулирует собственную теорию, основанную на типологических наблюдениях.

Фр. Лихтенберг в статье «Неотчуждаемость и индивидуализация обладаемого», опираясь в первую очередь на данные языков Океании, показывает, что, помимо категории отчуждаемой/неотчуждаемой принадлежности, в рамках именной группы, состоящей из обозначений обладаемого объекта и обладателя, могут грамматически кодироваться значения еще одной категории – индивидуализированность/неиндивидуализированность обладаемого объекта. Автор рассматривает взаимосвязь этой категории с категорией отчуждаемой/неотчуждаемой принадлежности, приводит когнитивное обоснование для возникновения подобной категории, а также приводит ряд примеров из неродственных языков (в том числе из русского), где эта категория также влияет на выбор языковой структуры.

М. Горлах в статье «Результативность в английском языке» исследует английские конструкции со сложными глаголами, состоящими из лексического глагола и частицы (*break up, turn on*). Такие глаголы выступают в двух типах конструкций: либо частица следует непосредственно за лексическим глаголом (*turn on the radio*), либо частица отрывается от лексического глагола, и между этими элементами вставляется объектная именная группа (*turn the radio on*). Путем анализа контекстов употребления данных конструкций, а также сравнивая переводы данных конструкций на русский язык, автор приходит к выводу, что конструкция, в которой частица отрывается от лексического глагола, является более семантически маркированной и обозначает действие вместе с его результатом.

Ф. де Хаан в статье «Кодирование перспективы говорящего: эвиденциальность» доказывает, что категорию эвиденциальности следует относить к дейктическим, а не к модальным категориям, как было предложено в ряде исследований. Автор приводит ряд аргументов в пользу того, что эвиденциальность кодирует отношение между говорящим и событием, аналогичное отношению между говорящим и объектом, которое кодируется указательными местоимениями.

В заключительной статье сборника, озаглавленной «Различение референциальной и грамматической функций в морфологической типологии», Э. Вайда указывает на недостаточность традиционного противопоставления деривационной и словоизменительной морфо-

логин и традиционной морфологической классификации языков на аналитические, синтетические и полисинтетические. Автор разрабатывает собственную модель для морфологической типологии и показывает, что эта модель более приспособлена для описания полисинтетических языков. В качестве примера автор приводит анализ морфологической структуры глагола кетского языка.

Таким образом, в данном сборнике представлен обширный материал из различных областей теоретической лингвистики и лингви-

стической типологии. Представляется, что данная книга может представлять интерес как для лингвистов, занимающихся разработкой методологии типологического исследования, так и для тех, кто занимается типологическим исследованием в конкретных областях, а также для лингвистов, работающих над проблемами эволюции языка и теории грамматикализации.

С.А. Минор

D. Dobrovolskij, E. Piirainen. Figurative language: Cross-cultural and cross-linguistic perspectives. Amsterdam: Elsevier, 2005. 452 p.

Книга Д.О. Добровольского (Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН) и Э. Пиирайнен (Университет Штайнфурта, Германия) посвящена исследованию принципов функционирования метафорических, или образных, языковых единиц в разных языках и культурах. Авторы видят свою задачу в том, чтобы ответить на следующий вопрос: существует ли какое-то регулярное соответствие между буквальным значением фразеологической единицы, которое основано на некоем образе и закреплено в ее лексическом составе, и ее лексикализованным переносным значением, которое и является актуальным значением данной фразеологической единицы. Ответ на него формирует центральную идею книги, и состоит он в следующем. Значение образной языковой единицы (*figurative unit*) основывается на определенной концептуальной структуре. Эта концептуальная структура создается работой нашего образного мышления (*mental imagery*); она поддерживает тот элемент плана содержания образной единицы, который авторы называют образной составляющей (*image component*). Эта образная составляющая, т.е. специфическая концептуальная структура, промежуточная между лексическим составом образной языковой единицы и его актуальным значением, является релевантным компонентом его плана содержания; именно она обеспечивает концептуальную связь между буквальным и актуальным значением образного выражения (см. на эту тему также [Добровольский 1996; Баранов, Добровольский 1998]). На этой основе авторами строится теория конвенционального образного языка (*Conventional figurative language theory*), основными постулатами которой являются следующие:

1. Многие релевантные ограничения в употреблении единиц образного языка определяются спецификой их образных составляющих.

2. Семантические и/или прагматические различия между образными выражениями, имеющими сходное актуальное значение, часто определяются спецификой их образных составляющих.

3. Квазиэквивалентные конвенциональные образные единицы никогда не бывают тождественны с точки зрения их семантических и/или прагматических свойств, если их образные составляющие обнаруживают существенные различия.

4. Даже если характер образной составляющей не влияет непосредственно на употребление данной образной единицы, она потенциально остается частью ее плана содержания и может актуализироваться в определенных контекстах, в том числе, в языковой игре.

5. Поскольку специфика образной составляющей часто бывает обусловлена исторически (т.е. образная составляющая сохраняет структуры знания, актуальные для времени возникновения выражения), некоторые элементы этимологии могут влиять на семантические и/или прагматические свойства образного выражения.

6. Поскольку специфика образной составляющей часто бывает культурно обусловлена, на значение образного выражения может влиять специфика данной культуры. Лингвистическая релевантность феноменов культуры обнаруживается не только в сочетаемостных и дискурсивных свойствах образной единицы, но также и в межъязыковых различиях, многие из которых объясняются исключительно культурной спецификой.

Эта теория применяется к анализу образных выражений одиннадцати языков. Выбор языков представляется очень удачным. Основ-

ую массу анализируемого материала составляют «главные» языки Западной Европы (английский, французский, немецкий) плюс русский, т.е. именно те языки (среди живых), которые являются основными носителями, хранителями и отчасти создателями европейской культурной традиции. Еще использован материал шведского, нидерландского, литовского и новогреческого, а также двух не индоевропейских языков – финского, который, однако, принадлежит европейскому ареалу, и японского, географически и культурно от него изолированного. Помимо перечисленных литературных языков, в исследование включен материал бесписьменного «вестмюнстерского диалекта» – нижненемецкого диалекта района к западу от Мюнстера, на границе с Голландией. (Как оказывается, все литературные языки Европы обладают значительным сходством в отношении характера образного языка. И, наоборот, «вестмюнстерский диалект», будучи бесписьменным, обнаруживает отличия от литературных европейских языков почти столь же существенные, как японский.) Таким образом, состав анализируемых языков, с одной стороны, существенно шире подавляющего большинства контрастивных семантических исследований; с другой стороны, он откровенно «европоцентричен» – вопреки идеологическому стандарту типологических исследований.

Книга Добровольского и Пириайнен – это, безусловно, событие в семантической науке. Методологически книга представляет собой синтез приемов когнитивной семантики, семиотики культуры и семантического анализа в духе Московской семантической школы. Интеграция идей и методов Московской семантической школы в метаязык когнитивной лингвистики произведена весьма изящно и оказалась необыкновенно эффективной. На реальную близость некоторых метаязыковых конструктов этих двух школ, при всем различии исходных идейных установок, уже обращали внимание (см. [Рахилина 2000]). Интересно, что именно несвободная сочетаемость образует зону специального интереса и того, и другого направления: фразеология всегда была предметом когнитивной лингвистики *par excellence* (ср. [Lakoff, Johnson 1980; Johnson 1987; Lakoff 1987; Kövecses 1990] и др.); с другой стороны, теория лексических функций, бывшая у истоков модели «Смысл ↔ Текст», сохраняет свою актуальность и сегодня, когда оказалось, что лексико-функциональные глаголы обладают своей вполне определенной семантикой, а их сочетаемость с предикатным именем – безусловной мотивированностью (ср. [Mel'čuk, Wanner 1996; Апресян 2004а, б]). Однако фак-

тическое объединение наиболее эффективных инструментов анализа той и другой школы, и, далее, применение созданного таким образом аппарата к исследованию фразеологических единиц произведено впервые. И этот опыт безусловно следует признать удавшимся. Иными словами, специалист по когнитивной лингвистике найдет в этой книге интересные теоретические выводы и практические результаты, но и строгие приверженцы Московской семантической школы не будут ею разочарованы.

Перехожу теперь к краткому изложению содержания книги. Книга состоит из 13 глав.

В первой главе строится концептуальный аппарат исследования. Определяются понятия образного компонента, критерии образности, обсуждаются смежные явления (такие, как лишенные образности метафоры – типа *низкие температуры* – и метонимии, неидиоматичные фразеологизмы, в первую очередь, устойчивые коллокации), выделяется объект исследования – конвенциональные, т.е. лексикализованные образные единицы языка, в отличие, например, от авторских метафор, формулируются рабочие гипотезы и основные положения теории конвенционального образного языка.

Вторая глава посвящена фразеологии. Поскольку центральный класс фразеологического состава языка – идиомы или фразеологизмы в узком смысле, называемые в восходящей к Ш. Балли классификации В.В. Виноградова «фразеологическими сращениями» и «фразеологическими единствами», – обладают образностью в качестве одного из конститутивных признаков, фразеология традиционно ассоциируется с конвенциональной образностью. Естественно, не все типы фразеологизмов оказываются образными единицами языка. В число образных единиц попадают, в первую очередь, идиомы, а также образные пословицы (например, *цыплят по осени считают* – образная пословица, а *дуракам счастье* – нет) и коллокации с мотивированным метафорическим компонентом типа *зерно истины* или *червь сомнения*. Тем самым, с одной стороны, в сферу конвенциональной образности попадают не все фразеологизмы, а с другой – эта область не ограничивается фразеологией, поскольку существуют однословные метафоры, не относящиеся к фразеологии, но обладающие образностью. Иными словами, область фразеологии и область конвенциональных образных единиц языка оказываются пересекающимися множествами.

В третьей главе обсуждаются проблемы межъязыковой эквивалентности идиом и разрабатывается аппарат сопоставительного анализа идиоматики. На примерах из разных

языков убедительно показывается, что даже совпадающие по лексическому составу идиомы оказываются полностью эквивалентными в редчайших случаях. Как правило, между ними обнаруживаются значимые различия, по крайней мере, по одной из трех семиотических осей: семантике, синтактике или прагматике. Иными словами, у идиом разных языков, традиционно считавшихся полностью эквивалентными и описываемых как таковые в двуязычных словарях, обнаруживаются тонкие (а иногда и достаточно существенные) различия либо в значении, либо в сочетаемости, либо в прагматических, в том числе в стилистических, характеристиках. Это подтверждает один из главных постулатов данной книги и теории конвенционального образного языка: образ, зафиксированный в лексической структуре идиомы, не обладает предсказательной силой в строгом смысле. Один и тот же образ может по-разному интерпретироваться в разных языках. Отсюда следует неотждественность понятий образа и образной составляющей. Образная составляющая – это то, что как бы «вытягивается» данным конкретным языком из образа и фиксируется в плане содержания соответствующей единицы. Из одного и того же образа могут быть «вытянуты» разные образные составляющие. Кроме того, огромную роль играет узус. Даже если образные составляющие сравниваемых идиом идентичны, это не гарантия того, что у этих идиом будет наблюдаться полная идентичность в семантике, синтактике и прагматике.

Четвертая глава посвящена проблеме мотивации. Исследования последних лет когнитивного направления показали, что говорящие часто не различают буквальное и переносное значение идиомы. Это значит, что буквальное значение часто остается актуальным для говорящих, даже когда они используют идиому в присутствии ее переносного значения. И тем самым релевантный ментальный образ (точнее: его лингвистически значимые элементы, которые авторы называют образной составляющей), задаваемый мотивированной идиомой, должен рассматриваться как часть ее плана содержания в широком смысле. Бывает и так, что некоторые «следы» ментального образа, зафиксированного в лексическом составе идиомы, непосредственно являются частью ее реального значения.

Этимология для идиом – это, обычно, народная этимология: именно она поддерживает релевантный ментальный образ. Согласно современной точке зрения, мотивация фразеологизма субъективна, и она не определяется ни исторической реальностью, ни суммой значений его компонентов (согласно принципу ком-

позициональности). Мотивация идиомы – это результат интерпретации заключенного в нем образа (*image*). Авторы книги исходят из того, что мотивация идиомы (как и любой образной единицы языка) – это такая интерпретация лежащего в ее основе ментального образа, которая делает осмысленным употребление данного слова или словосочетания в его конвенциональном значении. При этом мотивация одной и той же образной единицы может быть различной для разных говорящих.

Традиционный структуралистский подход строго разграничивает диахронические (этимологические) и синхронные факторы, определяющие мотивацию образного знака. Когнитивная лингвистика не придает этому противопоставлению большого значения, так как эти два типа мотивации предполагают сходные концептуальные операции. С точки зрения авторов книги мотивация образной единицы не может не включать этимологическую составляющую. Это не значит, что этимология всегда влияет на актуальное значение фразеологизма и определяет релевантные особенности его употребления, – но этот фактор не может быть исключен *a priori*. Ср. понятие «этимологической памяти», активно используемое представителями Московской семантической школы (например [Апресян 1995]).

Специальный раздел посвящен разграничению мотивации и смежных понятий, в частности семантической членимости (*analyzability*) и неоднозначности (*semantic ambiguity*). Семантическая членимость рассматривается как один из специальных случаев мотивации. Членимые идиомы, такие как *to throw the baby out with the bath (water)* допускают гораздо большее количество лексико-синтаксических модификаций (ср. *that was the baby that was thrown out with the bath water*), чем идиомы нечленимые; например, *to rattle someone's cage*. Это связано с тем, что в членимых идиомах структура лежащей в основе метафоры гомоморфна структуре ее актуального значения, т.е. некоторые кластеры семантических признаков актуального значения оказываются «привязанными» к отдельным компонентам идиомы. Это, однако, не означает, что нечленимые идиомы лишены семантической мотивации. Так, например, в идиоме *to rattle someone's cage* ни одному из компонентов не может быть приписано относительно самостоятельное значение, тем не менее, идиома в целом воспринимается как мотивированная.

Различаются следующие типы мотивации: индексальная (например, звукоподражательная) иконическая, символическая мотивация и такие частные случаи, как, например, мотивация, восходящая к стереотипам, укорененным в

культуре, к аллюзиям на определенные тексты и т.п. К иконической мотивации относятся все случаи мотивации, определяемой наличием актуальной для говорящего живой метафорической связи между внутренней формой идиомы и ее реальным значением. Часто мотивация этого типа основана на «концептуальной метафоре». Как оказывается, метафора «понимание это схватывание» (ср. UNDERSTANDING IS GRASPING в [Lakoff, Johnson 1980]) используется при построении концепта понимания не только в индоевропейских языках, но также в финском (относительно которого есть, впрочем, основания допускать возможность заимствования) и в японском. Этот факт говорит об универсальном характере данной метафоры. О символической мотивации см. ниже.

Пятая глава посвящена исследованию так называемых «ложных друзей переводчика» и паронимов. Эти явления непосредственно связаны с феноменом мотивации. Данная проблематика обнаруживает также параллели с проблемами, обсуждаемыми в третьей главе. Идиомы «ложные друзья» (ср. нем. *jmdm. einen Floh ins Ohr setzen* со значением «спровоцировать в ком-л. нереализуемые желания» и франц. *mettre la puce à l'oreille (de qn.)* со значением «вселить в кого-л. подозрения») в принципе возможны потому, что один и тот же образ может интерпретироваться весьма по-разному. Иными словами, мотивация возможна лишь как явление *ex post factum*. Если мы знаем актуальное значение идиомы или любой другой лексикализованной образной единицы языка, мы можем, сопоставляя ее актуальное значение с зафиксированной в ее лексическом составе метафорой, перекинуть между ними «семантический мост», т.е. воспринять эту единицу как мотивированную. Но сам по себе образ не может предсказать свое семантическое развитие, поскольку в нем потенциально заложено слишком много возможностей развертывания. Какая из них будет использована каким языком – дело случая.

В шестой главе излагается когнитивная теория метафоры. Основная мысль авторов состоит в том, что известная по работам Лаккоффа и его коллег теория ценна для исследования лексикализованных образных единиц прежде всего тем, что предоставляет в распоряжение лингвиста хорошо разработанный аппарат анализа и ряд нетривиальных эвристик. В целом, однако, она оказывается недостаточной «тонким» инструментом, поскольку направлена на поиск регулярных механизмов, в то время как в сфере конвенциональной образности (в том числе, в сфере идиоматики) очень много непредсказуемого, культурно и истори-

чески обусловленного. Метафорические модели, предлагаемые в рамках когнитивной теории метафоры, намного лучше работают на материале окказиональных метафор, образование которых происходит в рамках определенных концептуальных проекций. Теория конвенциональных метафор должна в большей степени учитывать культурно-специфические факторы. Это, однако, не означает, что аппарат метафорических моделей (концептуальных метафор) не пригоден для анализа идиом, что показано в следующей главе.

Седьмая глава представляет собой *case study*, в котором на материале идиом семантического поля «страх» демонстрируется способ анализа, основанный на идеях когнитивной теории метафоры. Эти идеи применяются и в следующей, восьмой главе, развивающей концепцию когнитивного моделирования, разработанную и впервые представленную в статьях [Baranov, Dobrovolskij 1996; Баранов, Добровольский 2000]. Суть этой концепции заключается в том, что актуальное значение идиом порождается не с помощью «переноса» значения с одного денотата на другой, а с помощью операций над структурами знаний – фреймами и сценариями. Соответственно, семантическая мотивация идиомы основана на сопоставлении фрейма-источника с фреймом-целью, а не на сопоставлении прямых и метафорических значений отдельных компонентов. Поскольку структура фрейма-цели во многом задается структурой фрейма-источника, следы исходного концепта могут оказаться релевантными для функционирования идиомы и должны найти свое отражение в толковании.

Девятая глава представляет собой *case study* на основе изложенной в двух предыдущих главах концепции когнитивного моделирования. Ее материалом является фрейм-источник ДОМ в различных языках и соответствующих культурах. Показано, что ДОМ в английском, немецком, нидерландском, шведском и финском языках разительно отличается от концепта ДОМ в японском и от представления о ДОМЕ в вестмюнстерском диалекте. Следовательно, несмотря на то, что соответствующие обозначения *Haus, house, huis* и т.д. традиционно рассматриваются как полные эквиваленты, за ними стоят разные фреймы. Не удивительно, что и идиомы «разнокультурных» языков, основанные на исходном фрейме ДОМ, оказываются весьма различными по своему актуальному значению. Причем решающим оказывается не концепт современного жилища, а тот фрейм ДОМА, который был частью культуры минувших веков и который послужил образной основой для образования соответствующих идиом в сопоставляемых языках. Таким

образом, решающая роль культурных факторов при анализе семантики образных единиц языка находит свое дополнительное подтверждение.

В десятой главе «Культура и образный язык» обсуждаются проблемы, связанные с понятием культуры в его приложении к лингвистическим исследованиям. Особо значимой для функционирования образного языка признается тот аспект культуры, который связан с символизацией, т.е. относится к сфере семиотики культуры, понимаемой в духе Московско-Тартуской школы.

Общепринятый тезис о том, что каждый язык по-своему членит и концептуализует действительность, подвергнут авторами книги детализации, которая значительным образом увеличивает его операциональность. А именно, авторы различают три типа релевантных с точки зрения межъязыкового и межкультурного сравнения концептов. Слова типа санскритского *nirvana* или финского *sauna* представляют собой уникальные концепты, полностью определяемые особенностями конкретной культуры, т.е. являются именно культурно-, а не лингвоспецифичными. Другой тип представляют такие пары слов, как франц. *malheur* и англ. *mishap*, обладающие разными семантическими признаками. Наконец, пары слов типа англ. *horse* и нем. *Pferd* семантически эквивалентны, но различаются своей ассоциативной аурой (ср. понятие «резонанса» в [Wierzbicka 1996]).

Авторы формулируют «рабочее определение» культуры как суммы всех представлений о мире, характерных для данного сообщества. Для функционирования конвенционального образного языка наиболее существенными сферами здесь являются: принятые в данной культуре формы социального взаимодействия; факты и артефакты материальной жизни; интертекстуальные феномены; область фиктивных концептов (донаучные и мифологические представления), символы.

Описанию роли символов и обоснованию понятия символической составляющей в плане содержания единиц образного языка посвящена следующая, о д и н а д ц а т а я глава. Символ в идиоматике выступает как культурный код. Например, мотивация такой идиомы, как *на седьмом небе* основана не только на концептуальной метафоре ВЕРХ – ЭТО ХОРОШО и не только на культурно-специфических представлениях о НЕБЕ как о РАЕ, но и на конвенциональном знании особого символического статуса числа СЕМЬ в христианской культуре. Это кажется само собой разумеющимся носителям таких языков, как русский, немецкий или английский, но при обращении, например, к японскому языку становится очевидным, что

подобные символические прочтения – это всегда культурные конвенции. Так, в японской культуре (и соответственно в японском языке) сакральным числом является не СЕМЬ и не ТРИ, а ВОСЕМЬ. Даже внутри европейского культурного ареала имеются различия. Например, в литовском языке сохранились следы дохристианской символики – сакральным числом, присутствующим во многих образных выражениях, оказывается ДЕВЯТЬ. Подобные следы отчасти сохранились и в английском языке, ср. идиому *on cloud nine*, эквивалентную русской идиоме *на седьмом небе*.

Главы двенадцатая и тринадцатая представляют собой *case studies*, в которых на материале французского, японского, литовского, английского, нидерландского и некоторых других германских языков анализируются два типа символов и порождаемых ими, в зависимости от релевантных особенностей культуры, метафор и метонимий: имена чисел (ТРИ, ЧЕТЫРЕ, СЕМЬ, ВОСЕМЬ, ДЕВЯТЬ, ОДИННАДЦАТЬ и др.) и имена животных (ЗМЕЯ, ВОЛК, МЕДВЕДЬ, СОВА и др.).

В заключении, в частности, отмечается, что развиваемая в книге теория конвенционального образного языка является когнитивно ориентированной – в том смысле, что ее задача состоит не только в описании образного языка, но и в объяснении принципов его функционирования.

В книге, помимо предметного и именного, имеется алфавитный указатель проанализированных языковых единиц. Можно посоветовать авторам в последующие издания включить также указатель рассмотренных ключевых символов разных культур, т.е. укорененных в традиции конвенциональных знаков особой семиотической природы, являющихся составляющими культурного кода (для обозначения которых в книге удачно использовано написание прописными буквами).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян 1995 – Ю.Д. *Апресян*. Коннотации как часть прагматики слова (лексикографический аспект) // Ю.Д. *Апресян*. Избранные труды. Т. 2. М., 1995.
- Апресян 2004а – Ю.Д. *Апресян*. О семантической непустоте и мотивированности глагольных лексических функций // ВЯ. 2004. № 4.
- Апресян 2004б – Ю.Д. *Апресян*. Акциональность и стативность как сокровенные смыслы (охота на *оказывать*) // Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура: Сб. ст. в честь Н.Д. Арутюновой. М., 2004.
- Баранов, Добровольский 1998 – А.Н. *Баранов*, Д.О. *Добровольский*. Внутренняя

форма и проблема толкования // ИАН СЛЯ. Т. 57. № 1. 1998.

Баранов, Добровольский 2000 – А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский. Типология формальных операций при порождении актуального значения идиомы // Linguistische Arbeitsberichte. Т. 75. Leipzig, 2000.

Добровольский 1996 – Д.О. Добровольский. Образная составляющая в семантике идиом // ВЯ. 1996. № 1.

Рахилина 2000 – Е.В. Рахилина. О тенденциях в развитии когнитивной семантики // ИАН СЛЯ. 2000. Т. 59. № 3.

Baranov, Dobrovolskij 1996 – A. Baranov, D. Dobrovolskij. Cognitive modeling of actual meaning in the field of phraseology // Journal of Pragmatics. V. 25. 1996.

Johnson 1987 – M. Johnson. The body in the mind: the bodily basis of meaning, imagination, and reason. Chicago; London, 1987.

Kövecses 1990 – Z. Kövecses. Emotion concepts. Frankfurt-am-Main, 1990.

Lakoff 1987 – G. Lakoff. Women, fire, and dangerous things. What categories reveal about the mind. Chicago; London, 1987.

Lakoff, Johnson 1980 – G. Lakoff, M. Johnson. Metaphors we live by. Chicago; London, 1980.

Mel'čuk, Wanner 1996 – I. Mel'čuk, L. Wanner. Lexical functions and lexical Inheritance for emotion lexemes in German // L. Wanner (ed.). Lexical functions in lexicography and natural language processing. Studies in language companion series. V. 31. Amsterdam, 1996.

Wierzbicka 1996 – A. Wierzbicka. Semantics: primes and universals. Oxford, 1996.

Анна А. Зализняк

Secondary predication and adverbial modification. The typology of depictives / Ed. by N.P. Himmelmann, E. Schultze-Berndt. Oxford; New York: Oxford university press, 2005. xxvi + 474 p.

«Депиктивные вторичные предикаты», или «депиктивы», – как, например, *сырыми* в *Эти овощи едят сырыми*, – занимают особое место в грамматике, располагаясь, в некотором смысле, между адвербиалами и определениями. С обстоятельствами их объединяет явная синтаксическая зависимость от сказуемого, с определениями – ориентированность на конкретного участника ситуации, зачастую проявляющаяся и в формальных характеристиках (в приведенном примере – в согласовании в числе). Несмотря на такой особый статус, а возможно, и благодаря ему, конструкции со вторичной предикацией нередко привлекаются в теоретической литературе – например, для выделения особых классов предикатов (как в [Milsark 1974]) или даже для оправдания не укладывающегося в стандартные представления поведения именных групп в так называемых «неконфигурационных» языках [Speas 1990]. И тем не менее, вплоть до недавнего времени депиктивы оставались на периферии грамматического описания.

Ситуацию во многом изменили недавние исследования Н. Химмельмана и Е. Шульце-Берндт, вылившиеся в написанную задолго до публикации статью [Himmelmann, Schultze-Berndt 2004], а также организованную им конференцию, прошедшую в Руре в 2001 г. Из последней и вырос сборник «Вторичная предикация и адвербиальная модификация» – под редакцией тех же авторов. В какой-то мере этот сборник призван заполнить пробел в знаниях о функциях депиктивов и способах их выраже-

ния в языках, в значительной степени отличных от тех, на основе которых и было выработано это понятие. В статьях сборника исследуются функциональные и формальные аналоги конструкций со вторичными предикатами в вальбири (в сопоставлении с английским – Дж. Симпсон), немецком (Т. Мюллер-Бардей и в том, что касается швейцарских диалектов – К. Бухели Бергер), картвельских языках (У. Будер, С. Кутшер и Н. Севим Генч, статья последних посвящена одному из лазских диалектов), языках пано (П.М. Валенсуэла), нилотских и омотских языках (А. Амха и Дж. Диммендаль), шона (Т. Гюльдеман), эве (Ф.К. Амека), лаосском (Н. Энфилд) языках. В сборник включена также отдельная статья У. МакГрегора, посвященная количественным вторичным предикатам в австралийских языках, и две статьи, исследующие депиктивы на богатом типологическом материале – теоретическое введение Н. Химмельмана и Е. Шульце-Берндт, а также статья, предлагающая семантическую карту для депиктивных прилагательных Й. ван дер Ауверы и А. Мальчукова.

Естественно, что типологическая перспектива на вторичную предикацию требует какого-то – пусть и не строго – ее определения, не зависящего от конкретного языка. И здесь, учитывая «промежуточный» характер рассматриваемой конструкции, авторам приходится обращаться как к семантическим, так и к формальным критериям ее выделения. Канонические характеристики депиктивов были за-

даны в вышеупомянутом исследовании [Himmelmann, Scultze-Berndt 2004: 77–78]:

(i) депиктивная конструкция содержит два отдельных «предикативных элемента», главный предикат и депиктив; значения времени и наклонения депиктива всегда совпадают со значениями соответствующих категорий главного предиката;

(ii) депиктивы имеют контролер, т.е. относятся к одному из партиципантов главного предиката, а не к предложению в целом;

(iii) депиктивы входят в одну клаузу с главным предикатом и при этом не инкорпорируются в него и/или не образуют с ним сложный предикат;

(iv) депиктивы не являются аргументами главного предиката;

(v) депиктивы не являются синтаксически определенными своими контролерами;

(vi) депиктивы нефинитны (т.е. в норме не имеют собственных показателей времени или наклонения, а выражаемые ими соответствующие признаки совпадают со значениями этих категорий главного предиката);

(vii) депиктивы не выделяются интонацией, составляя с главным предикатом единую просодическую единицу.

Очевидно, что работа Н. Химмельмана и Е. Шульце-Берндт явилась попыткой выработать универсальные критерии для выделения вторичной предикации. В действительности, до этого в литературе под вторичной предикацией нередко понимались конструкции, многим из указанных критериев не удовлетворяющие, – и в свете этого неудивительно, что и авторы сборника иногда исходят скорее из семантики. Здесь нужно заметить, правда, что и сами критерии Н. Химмельмана и Е. Шульце-Берндт не являются достаточно разработанными. Например, как применять критерий (vi) для некоторых языков со слабым противопоставлением знаменательных частей речи, где практически каждый корень, традиционно понимаемый как именной, может иметь показатели времени? Считать ли вторичной предикацией некоторые формы, имеющие зависимые слова (ср. *Он читает доклад, заикаясь на отдельных словах*)? Наконец, особенно слабо разработанным является интонационный критерий (vii), хотя рассматриваемый сборник как раз содержит статью, в которой немалая доля посвящена попытке его применения на материале лазского языка (С. Кутшер и Н. Севим Генч).

С другой стороны, роль семантических критериев в исследовании депиктивов невозможно недооценить. Так, по-видимому, существуют условия, благоприятствующие появлению депиктива, – например, выражение временного

состояния, как в *Я выпил кофе горячим, не дожидаясь пока он остынет*. И тем не менее, семантическое наполнение конструкций, претендующих на статус вторичных предикаций, в значительной степени варьируется. Например, для булепско-арташенского говора лазского языка оказывается возможным выделить лишь одну такую конструкцию, но она выражает дистрибутивность (как *по двое* в *Солдаты пришли по двое*), значение, безусловно, периферийное для депиктивов во многих других языках. В то же время, в некоторых из тех языков, где вторичная предикация хорошо выделяется на основе зависимости ее формы (например, падежной) от формы контролера, например, в австралийском вальбири или амазонских языках пано – разброс семантических функций депиктива оказывается гораздо больше, нежели, скажем, в английском.

Однако семантическое варьирование в случае вторичных предикаций все же не беспорядочно, и это позволяет Н. Химмельману и Е. Шульце-Берндт применить для его описания популярный ныне метод семантического картирования, отображающий прототипичность / непрототипичность и связанность / несвязанность различных функций. Интересно, что тот же метод используется и в заключительной статье Й. ван дер Ауверы и А. Мальчукова, для которых, однако, формальное определение депиктивов оказывается в какой-то мере даже лишним, поскольку их цель заключается в установлении закономерностей единого кодирования вторичной предикации и других конструкций – атрибутивной (как рестриктивной, так и нерестриктивной), предикатной, адвербиальной конструкций, а также конструкции с предикатным дополнением (ср. *Они считают тебя умным*).

Вообще, месту депиктивов среди других конструкций в сборнике уделено довольно много внимания. И здесь на первый план встает проблема противопоставления депиктивов адвербиалам, в первую очередь, тем из них, которые тоже могут характеризовать участников, – партиципантно-ориентированным адвербиалам в терминологии авторов, вроде *охотно* (на русском языке см. об этом [Тестелец 2001: 216–220; Филипенко 2003]). Надо сказать, что эта тема довольно детально разрабатывается уже во вводной статье Н. Химмельмана и Е. Шульце-Берндт. Последние, основываясь на предшествующих исследованиях адвербиалов, строят детальную типологию адвербиалов, включающую:

(1) адвербиалы, относящиеся к одному из партиципантов, или агентивные адвербиалы; ср., например, англ. *John stupidly answered the question* 'Джон, как дурак, ответил на вопрос';

(2) «очевидные» (transparent) адвербиалы, как в *The boy hungrily returned to his parents* 'Мальчик, оголодав, вернулся к родителям', отличающиеся от депиктивов тем, что они логически связаны с главным предикатом и порой являются причиной совершения действия, заложенного в главном предикате;

(3) обстоятельственные (circumstantial) адвербиалы (ср., например, *You can't eat them raw* 'Ты не можешь их есть сырыми'), указывающие на условие выполнения действия, выраженного главным предикатом.

(4) свободные адьюнкты, не входящие в одну клаузу с главным предикатом и выражающие или постоянное свойство (так называемые «сильные свободные адвербиалы»; ср. *Having unusually long arms, John can touch the ceiling* 'Имея удивительно длинные руки, Джон может дотронуться до потолка') или непостоянное свойство своего контролера (близкие к обстоятельственным, «слабые свободные адвербиалы» вроде *Standing on a chair, John can touch the ceiling* 'Стоя на стуле, Джон может дотронуться до потолка').

Из этих типов наиболее близко к собственно депиктивам стоят обстоятельственные адвербиалы, отличить которые от вторичной предикации можно далеко не во всех языках. Поэтому Н. Химмельман и Е. Шульце-Берндт вводят отдельное понятие «депиктивы в широком смысле», включающее также и обстоятельственные адвербиалы. Фактически именно так и используют термин «депиктив» авторы большинства других статей сборника (в том числе и те, кто рассматривает теоретические вопросы противопоставления вторичной предикации другим конструкциям, – речь идет о работах Т. Мюллера-Брадея, а также Й. Ван дер Ауверы и А. Мальчукова).

Хотя семантические критерии отграничения вторичной предикации от адвербиальной модификации представляются более или менее универсальными, представленный в книге материал показывает, что с формальной точки зрения во многих языках эти конструкции не различаются. Полное или почти полное отсутствие грамматикализованных депиктивных конструкций постулируется в статьях сборника для шона, булепско-арташенского лазского и лаосского языков, хотя в действительности несколько сомнительной представляется и принадлежность ко вторичной предикации некоторых конструкций других языков, интерпретируемых как депиктивы (так, например, в нилотском языке туркана соответствующие конструкции содержат вспомогательный глагол, маркированный по лицу и по времени, что делает их, скорее, кандидатами в свободные адьюнкты). Однако даже и в языках с фор-

мально отличными депиктивными конструкциями граница между адвербиальной модификацией и вторичной предикацией не всегда является достаточно четкой как с точки зрения функций, так и с точки зрения плана выражения. Порою одна и та же семантическая функция может обслуживаться как депиктивом, так и адвербиалом; например, как показывает У. Будер, в грузинском языке в некоторых контекстах возможна как форма с согласованием (депиктив), так и форма без согласования (адьюнкт). С другой стороны, и формальные депиктивы могут «вторгаться» на адвербиальную территорию: для амазонского языка шипибо-конибо П.М. Валенсуэла считает необходимым различать формальную партиципантную ориентацию (т.е. наличие формальных признаков депиктива) семантической, поскольку первая иногда характеризует не конкретного участника ситуации, а всё событие. В этой связи можно говорить о некотором соперничестве между депиктивной и адвербиальной конструкциями, результат которого различен в зависимости от конкретного языка [Himmelmann, Schultze-Berndt 2004].

В целом, по-видимому, следует признать, что выход сборника «Вторичная предикация и адвербиальная модификация» не решает загадку депиктивов, оставляя данное явление весьма размытым, а особые свойства вторичной предикации необъясненными. Степень универсальности соответствующих конструкций по сути также остается непроясненной – отчасти потому, что авторы все же не смогли представить единого взгляда на то, что есть вторичная предикация, к тому же, некоторые связанные со вторичной предикацией явления (например, так называемые «плавающие кванторы») вообще оказались вне их поля зрения. В то же время, надо признать, что предлагаемое издание является первой попыткой рассмотрения депиктивных конструкций в широком типологическом плане. При этом сборник содержит огромное количество редкого материала и нетривиальных наблюдений, касающихся как собственно вторичной предикации, так и адвербиальных конструкций, согласования и т.д., и, несомненно, является важным шагом в построении общей картины функционирования прилагательных компонентов предложения. Поэтому не подлежит сомнению, что «Вторичная предикация и адвербиальная модификация» будет весьма интересна не только любителям недостаточно изученных конструкций, но и вообще синтаксистам и семантикам, занимающимся проблемами устройства предложения.

- Тестелец 2001 – Я.Г. Тестелец. Введение в общий синтаксис. М., 2001.
- Филипенко 2003 – М.В. Филипенко. Семантика наречий и адвербиальных выражений. М., 2003.
- Himmelmänn, Schultze-Berndt 2004 – N. Himmelmann, E. Schultze-Berndt. Depictive sec-

- ondary predicates in crosslinguistic perspective // Linguistic typology. V. 8. 2004.
- Milsark 1974 – G. Milsark. Existential sentences in English. New York, 1974.
- Speas 1990 – M. Speas. Phrase structure in natural language. Dordrecht, 1990.

А.П. Выдрин, Ю.А. Ландер

Розмова-Бесѣда. Rozmova-Besěda. Das ruthenische und kirchenslavische Berlaimont-Gesprächsbuch des Ivan Uževyč. Mit lateinischem und polnischem Paralleltext herausgegeben von Daniel Bunčić und Helmut Keipert. München: Verlag Otto Sagner, 2005. S. 287.

Актуальность предпринятой Г. Кайпертом и Д. Бунчичем публикации восточнославянского разговорника XVII в. «Розмова-Бесѣда», хранящегося в Национальной библиотеке Франции, не подлежит сомнению, поскольку впервые в полном объеме издан ценный памятник славянской лингвистической мысли.

Своевременность издания определяется и тем, что внимание славистов все больше привлекают филологические сочинения – грамматики, словари, разговорники, так как эти источники дают возможность изучать одновременно и историю самого языка, и историю представлений о языке, т.е. определяют многомерность историко-лингвистических исследований.

Выбор для публикации именно данного филологического сочинения неслучаен, поскольку разговорник имеет особую научную ценность: тексты диалогов представлены в нем параллельно на двух языках, обозначенных составителем разговорника как *lingua popularis* и *lingua sacra*. Под названием *lingua sacra* выступает церковнославянский язык – литургический и литературный язык культурно-языкового пространства *Slavia Orthodoxa* и культурно-языкового пограничья, т.е. Юго-Западной Руси. Под названием *lingua popularis* слависты склонны видеть особый литературный язык Юго-Западной Руси (см., например [Успенский 2002: 400; Мозер 2002: 238–239]), получивший в современной лингвистике разное терминологическое оформление: наиболее обоснованными являются термины – «проста мова», «руска мова», поскольку эти названия использовали носители языка в XVI–XVII вв. (см. подробно [Miakishew 2000: 165]). В рецензируемом издании *lingua popularis* рассматривается как «рутенский язык» («Ruthenisch»)¹, структурно-

функциональные параметры которого не указываются. Между тем следует подчеркнуть, что структурно-функциональные особенности обоих языков, явленных в разговорнике, требуют специального научного осмысления. Так, разговорник свидетельствует о возможном использовании церковнославянского языка в качестве языка повседневного общения и отвечает параллельному употреблению церковнославянского языка и «простой мовы» (см., [Успенский 2002: 400]). Пристального внимания славистов заслуживает и *lingua popularis* в контексте изучения «простой мовы», поскольку современные ученые принципиально расходятся в определении структурно-функционального статуса «простой мовы», прежде всего в решении вопроса о «производности» «простой мовы» от польского языка, что во многом объясняется отсутствием системного описания «простой мовы». Восточнославянский разговорник во многом определяет и дискуссию о нормированности и кодифицированности «простой мовы» (см. [Мозер 2002]). Однако несмотря на очевидную научную ценность, восточнославянский разговорник не привлекал должного особого внимания славистов: исследовательская традиция включает только несколько работ украинских ученых М.А. Жовтобрюха и И.К. Белодеда, которые занимались лексическим составом памятника и пытались установить происхождение оставшегося неназванным составителя разговорника (см., например [Жовтобрюх 1978; Білодід 1979]). В связи с этим к несомненным достоинствам рецензируемой книги следует отнести и то, что в ней помимо текста разговорника и обращенных к нему справочных материалов представлен научный комментарий, содержание которого намеренно ограничено интерпретацией самого памятника. Что касается структурно-функциональных характеристик реализованных в разговорнике языков, их рассмотрению будет посвящена отдельная работа Д. Бунчича².

¹ Использованный в рецензируемом издании термин «рутенский язык» получил большее распространение в западной славистике, поскольку в практике западной дипломатии до XVIII в. современные украинские и белорусские территории назывались Ruthenia.

² См. S. XXIX.

Научный комментарий Г. Кайперта и Д. Бунчича включает несколько разделов: предисловие, в котором объясняется значение издаваемого памятника и демонстрируются ретроспективно и перспективно направления его изучения, статью, посвященную палеографическим характеристикам рукописи разговорника, статью, в которой излагаются принципы печатного воспроизведения памятника, а также статью, раскрывающую источник восточнославянского разговорника и имя его составителя. Представляется необходимым более подробно рассмотреть в рецензии именно новые данные, касающиеся источника разговорника и личности его составителя, а для этого необходимо восстановить «исследовательский путь», который прошли Г. Кайперт и Д. Бунчич.

Исходные текстологические и лингвистические изыскания позволили Г. Кайперту прийти к выводу, что восточнославянский разговорник является переводом-дополнением популярного в Европе многоязычного разговорника Берлемонта «Colloquia, et dictionariolum... linguarum», насчитывающего около 150 изданий [Keipert 2001]. Таким образом, число известных славянских переводов-дополнений достигло 5: печатный чешский перевод (Лейпциг 1602 г., 1611 г.), печатный польский перевод (Варшава 1646 г.) и три рукописных восточнославянских перевода – «русский» (см. [Keipert 1993]) и параллельные переводы в парижской рукописи – «рутенский» и церковнославянский.

Следующей исследовательской задачей стал выбор из многоязычия, представленного разговорником Берлемонта, того языка, который явился основой для восточнославянского перевода. Тщательный анализ разных вариантов разговорника Берлемонта и восточнославянского разговорника позволил установить, что восточнославянский перевод был осуществлен с латинского языка, а не со структурно и функционально близкого польского языка (возможно, в силу более раннего восточнославянского перевода – примеч. наше. Н.З.) и не с французского языка, возможного в виду предполагаемого места создания перевода.

Представленная исследователями в научном комментарии система доказательств зависимости славянского перевода от латинского оригинала включает, с одной стороны, латинские «проговорки», т.е. случайно оставшиеся непереуведенными в славянском тексте фрагменты латинского текста, а с другой стороны, мотивированные именно латинским оригиналом лексические и синтаксические особенности восточнославянского перевода, например:

а) латинские «проговорки» (S. XXVII):

*Latina // Popularis – sterna mensam et festina // за-
стелн столъ et поспешайся (P7^v), asquesco tamen
tuis dictis et tantum esse credo // вѣру еднакъ
твон^а словамъ et (* зачеркнуто самим состави-
телем разговорника) и такъ веле быти ро-
зумѣю (P34^v), Agedum, funde hic vinum // нѣже
Agedum налнй самъ вина (P17^v);*

б) лексика, мотивированная латинским оригиналом (латинский вариант сравнивается с французским и польским) (S. XXVI):

*Lat.: Decem libras flandricas // Frz.: dix livres de
gros // Poln.: Dzieścic olenderskich złotych // Popu-
laris: Децем амврѣ фландрскѣ (P67^r);*

в) синтаксис (порядок слов), мотивированный латинским оригиналом (латинский вариант сравнивается с французским и польским) (S. XXVI):

*Lat.: Etiam, discit Gallice iam loqui // Frz.: Ouy, il
apprend à parler François // Poln.: Tak jest uczyć się
po Fráncusku mowić // Popularis: такъ естъ
ѹчится пофранцузкѣ южъ мовити (P17^v).*

Следует обратить особое внимание на выдвинутое исследователями предположение о двух этапах перевода восточнославянского разговорника: на первом этапе был осуществлен перевод с латинского языка на язык, обозначенный как *popularis*, а на втором этапе «в спешке» был добавлен перевод на язык, обозначенный как *sasta*, но уже без обращения к латинскому оригиналу.

Признание восточнославянского разговорника переводом разговорника Берлемонта потребовало далее от исследователей выявления конкретного издания, которым воспользовался славянский переводчик. Г. Кайперт и Д. Бунчич построили своеобразную «движущуюся» систему диагностических признаков, позволяющую им поэтапно приближаться к нужному тексту. Основным диагностическим признаком явилось содержащееся в тексте восточнославянского разговорника указание на восьмязычный характер оригинала: «Тая книга барзо пожитечная естъ до читаня писанга, и тежъ мовеня по фландрѣскѣ, по ангелскѣ по Немецкѣ, по латинѣ по французкѣ, по гншпанскѣ по влоскѣ и по португалскѣ» (P4^v). Дополнительными диагностическими признаками стали пометки на полях рукописи, указывающие на смену страниц в печатном источнике [Keipert 2001], согласование строк и переноса слов в рукописи и в печатном источнике, особенности перевода отдельных слов. В итоге столь напряженной и кропотливой работы из 150 изданий были выбраны 2 издания

как наиболее вероятные источники восточнославянского разговорника: «Colloquia, et dictionariolum octo linguarum», Delphis 1613, «Colloquia, et dictionariolum octo linguarum», Hagae-Comitis, 1613. С учетом новых полученных данных Г. Кайперт и Д. Бунчич посчитали целесообразным опубликовать не только восточнославянский разговорник, но и текст на языке-источнике, т.е. на латинском языке, а также текст на польском языке, чтобы продемонстрировать, насколько близок «рутенский язык» польскому языку, хотя перевод и не был осуществлен с польского текста.

Раскрытию имени переводчика восточнославянского разговорника также способствовали различные по характеру факты, которые в итоге сложились в единую доказательную систему. Анализ водяных знаков позволил ограничить время перевода периодом с 1643 г. по 1657 г., данные хронологические рамки указали на другое филологическое сочинение – грамматику Иоанна Ужевича «Граматыка словенская» [Ужевич 1970], сохранившуюся в двух списках – в списке Национальной библиотеки Франции 1643 г. и в списке библиотеки Арраса 1645 г. Существенным фактом для атрибуции разговорника явилось обращение переводчика разговорника, как и автора грамматики, к латинскому языку и представление славянского языкового материала в вариантах – *lingua popularis* и *lingua sacra*. Совпадение почерка, которым был написан разговорник, и почерка, которым была написана грамматика Иоанна Ужевича, окончательно сняло анонимность восточнославянского разговорника. Таким образом, благодаря очевидной атрибуции разговорник следует рассматривать как дополнение к грамматике Иоанна Ужевича, т.е. как единый филологический комплекс, демонстрирующий языковую систему и ее реализацию в текстах. По мнению исследователей, появившиеся в Париже в 40-х гг. XVII в. грамматика и разговорник Иоанна Ужевича предназначались для французов, желавших обучаться славянским языкам. В связи с этим представляется интересным в дальнейшем исследовать ранние славянские грамматики с точки зрения зафик-

сированной ими лингвистической рефлексии славянских книжников и иностранных книжников, лингвистической рефлексии, сформированной в рамках «своей» или «чужой» языковой ситуации.

Очевидная ценность издаваемого памятника лингвистической мысли XVII в. позволяет присоединиться к мнению Г. Кайперта и Д. Бунчича: «Möge Uževyčs Gesprächsbuch auch mehr als dreieinhalb Jahrhunderte nach seiner Entstehung das Interesse der Slavischen Philologie und der historischen Gesprächsforschung finden!» (S. VIII).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Білодід 1979 – *І.К. Білодід*. Києво-Могилянська академія в історії східнослов'янських літературних мов: Нариси з історії української літературної мови. Київ, 1979.
- Жовтобрюх 1978 – *М.А. Жовтобрюх*. Український разговорник XVI в. // Восточнославянское и общее языкознание. М., 1978.
- Мозер 2002 – *М. Мозер*. Что такое «простая мова»? // *Studia Slavica*. V. 47. № 3–4. Budapest, 2002.
- Ужевич 1970 – *І. Ужевич*. Грамматика слов'янська / Підг. до друку І. Білодід, Е. Кудрицький. Київ, 1970.
- Успенский 2002 – *Б.А. Успенский*. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). М., 2002.
- Keipert 1993 – *H. Keipert*. Nochmals zur Kopenhagener Handschrift russischer Gespräche aus dem 17. Jahrhundert // *ZfSPh*. Bd. 53. № 1. 1993.
- Keipert 2001 – *H. Keipert*. «Rozmova-Besěda. Das Gesprächsbuch Slav. 7 der Bibliothéque nationale de France // *ZfSPh*. Bd. 60. № 1. 2001.
- Miakiszew 2000 – *W. Miakiszew*. «Мовы» Великого княжества Литовского в единстве своих противоположностей // *Studia Russica*. 18. Budapest, 2000.

Н.Н. Запольская

А.Н. Самойлович. Тюркское языкознание. Филология. Руника / Составители и ответственные редакторы Г.Ф. Благова, Д.М. Насилов. М.: Восточная литература, 2005. 1053 с.

В серии «Классики отечественного востоковедения», публикуемой издательством «Восточная литература», вышел том, содержащий работы одного из основоположников современной российской тюркологии Александра

Николаевича Самойловича (1880–1938). Помимо достаточно известных произведений в книгу в большом объеме вошли раритетные прижизненные публикации и ранее не издававшиеся работы из архива ученого. Составители

постарались отразить различные грани таланта А.Н. Самойловича, включив в сборник его труды по лингвистике, литературоведению и этнографии. Впервые опубликованы также некоторые наброски и планы различных работ ученого, которым не суждено было оказаться законченными. Академик А.Н. Самойлович был расстрелян в 1938 г. по обвинению в «пан-тюркизме» и «шпионаже в пользу Японии».

Свою задачу составители видели в том, чтобы «представить научное наследие А.Н. Самойловича в динамике развития его научного творчества и в связи с его научно-преподавательской деятельностью», а также «дать представление о проводившихся ученым до 1918–1919 гг. исследованиях по истории тюркских литератур и истории литературных языков и ввести в научный обиход наиболее ценные и характерные фрагменты этих исследований» (с. 5).

Однотомник работ Самойловича разделен на две основные части: «Тюркское языкознание» и «История тюркских литератур и истории литературных языков».

Первая часть содержит раздел «Общие вопросы», в которую включены, в частности, известные работы Самойловича по вопросам классификации тюркских языков, до сих пор не утратившие своего научного значения. В основании классификации Самойловича лежит несколько фонетических изоглосс, позволяющих достаточно подробно разделить тюркские языки на группы. Приведена в этом разделе также стенограмма его доклада «Современное состояние и ближайшие задачи изучения турецких языков», произнесенного на Первом Всесоюзном тюркологическом съезде в 1926 году. Этот доклад очень хорошо описывает состояние тюркологии на тот момент и степень изученности различных тюркских языков.

Две статьи, включенные в этот раздел, посвящены описанию вклада в исследование тюркских языков двух выдающихся ученых – Платона Мелиоранского, рано скончавшегося учителя Самойловича, и Вильгельма Томсена, расшифровавшего древнетюркское руническое письмо.

Интерес представляет выполненный Самойловичем краткий обзор всех отечественных тюркских грамматик, выпущенных его предшественниками. Это выписки, сделанные, по всей видимости, для учебного курса по тюркологии, в которых он дает краткую оценку всем трудам подобного рода, указывает их слабые и сильные стороны. Такие замечания весьма ценны для истории тюркского языкознания. Вообще, А.Н. Самойлович с первых лет своей научной деятельности и до самого ее за-

вершения периодически обращался к теме принципов составления грамматик для тюркских языков. Этот аспект его деятельности отражен в публикации Введения к «Опыту краткой крымско-татарской грамматики», где ученый особо останавливается на проблемах описания грамматики, разграничения литературного языка и диалектов, важности внимания к диалектному материалу. Можно только выразить сожаление, что, видимо по соображениям экономии места, в однотомник не удалось включить полностью данную грамматику, которая была издана лишь в 1916 году и давно стала библиографической редкостью. К счастью, вторая известная грамматика Самойловича – «Краткая учебная грамматика османско-турецкого языка» – была недавно выпущена (М., 2002) отдельным изданием.

Раздел «Рунические и другие письменные памятники» охватывает небольшие заметки А.Н. Самойловича (в том числе ранее не опубликованные), в основном, поправки к предлагавшимся ранее чтениям памятников: рунических надписей из Тувы и Монголии, ярлыков Тохтамыша и крымских ханов, поэмы «Кутадгу билиг» и средневекового половецкого текста Codex Cumanicus, староосманских памятников и т. п. В этот же раздел включена статья «Некоторые данные о пчеловодстве в Крыму в XIV–XVII вв.», которая, несмотря на название, также является преимущественно лингвистической по содержанию.

В разделе «Лексикология» помещены статьи, часть которых находится на стыке этнографии и лингвистики: таковы серия статей о календаре тюркских народов (о 12-летнем животном цикле, названиях месяцев и дней недели), работы о табуированных словах в речи замужних женщин у казахов и алтайцев, о «наращении имени у турецких племен».

Начиная со студенческих лет, Самойлович уделял особое место в своих исследованиях туркменскому языку, которому он посвятил достаточно много публикаций. Более того, он был, фактически, первым ученым, который решительно заявил о том, что туркменское наречие – самостоятельный тюркский язык и подробно обосновал это утверждение. Во второй части сборника «История тюркских литератур и история литературных языков» приводится одна его специальная работа по туркменскому языку – первая опубликованная Самойловичем монография «Книга рассказов о битвах текинцев» (1914 г.). Это публикация туркменской исторической поэмы XIX века, к которой Самойлович дал свои подробные лингвистические, стиховедческие, исторические и этнографические комментарии (ранее большинство ученых

вообще отвергало наличие сколько-нибудь развитой литературы у туркменов).

Еще один цикл работ второй части сборника – труды, связанные с творчеством императора и поэта Бабура. Здесь представлены рецензии на различные переводы стихотворений Бабура, замечания по поводу Бабура-наме из архивов ученого, опубликован текст «Собрания стихотворений Императора Бабура», который был издан Самойловичем в 1917 г., а также его научный перевод, который был почти подготовлен к печати, но так и не увидел свет при жизни А.Н. Самойловича. Решение включить и в без того объемный (более 1000 страниц) сборник трудов Самойловича оригиналы двух крупных арабографичных тюркских памятников (стихотворений Бабура и поэмы о битвах текинцев) может показаться небесспорным, однако нельзя не признать, что гораздо лучше можно оценить переводы и комментарии ученого к соответствующим памятникам при наличии оригинальных текстов в той же книге, чем если бы они были представлены отдельными изданиями.

Кроме того, в сборник вошла значительная часть еще одной незаконченной рукописи Самойловича, которая должна была стать крупным исследованием по истории среднеазиатских литератур и языков – «Турецкие этюды». Это комплекс статей, некоторые из которых были опубликованы отдельно (частично, относительно недавно, в 1999 г. Г.Ф. Благовой – см. [Rocznik orientalistyczny. T. LII. Z. 1]). Централь-

ной частью данного труда, согласно сохранившемуся и опубликованному в настоящем издании плану работы, должно было стать лингвистическое описание языка стихотворных произведений Бабура, однако сохранились, в основном, литературоведческие заметки по поводу творчества различных средневековых тюркоязычных писателей. Сюда же примыкают опубликованные Самойловичем статьи из серии «Материалы по среднеазиатско-турецкой литературе».

Последний раздел этой части книги – «Теория и историческая периодизация литературных языков» – содержит заметки о соотношении тюркских литературных языков и живых наречий, а также о возникновении и развитии тюркских литературных языков.

Отдельного внимания заслуживает наличие в книге подробного справочного аппарата, исторических комментариев к большинству опубликованных в сборнике работ (в том числе с привлечением выдержек из переписки Самойловича), библиографий и указателей.

В целом, книга издана на высоком научном уровне и, несомненно, окажется полезной для всех, кто хотел бы ознакомиться с различными сторонами творчества выдающегося тюрколога А.Н. Самойловича, в том числе с ранее неизвестными его работами, и почерпнуть в его наследии новые идеи.

И.А. Грунтов

А.И. Изотов. Функционально-семантическая категория императивности в современном чешском языке в сопоставлении с русским / Česká a ruská výzva jako funkčně sémantická kategorie. Brno: L. Marek, 2005. (Pontes Pragenses, № 37). 274 с.

Монография А.И. Изотова посвящена описанию фактов чешского языка, так или иначе связанных со значением повеления, императивности в различных значениях этого термина. Мы не случайно используем такую расплывчатую формулировку. Обычно под «императивом», «императивностью» понимаются либо, в узком смысле, специализированные глагольные формы и конструкции, предназначенные для выражения повеления (как бы конкретный автор ни определял границы императивной парадигмы в данном языке), либо, в широком смысле, все побудительные высказывания независимо от того, содержат ли они императивные формы глагола; при последнем понимании фразы типа *Не могли бы Вы передать мне соль?* также попадут в поле зрения исследователя. И в том, и в другом случае «императив» – это то, что выражает повеление.

Содержание рецензируемой работы, однако, шире, чем можно предположить по ее названию. Помимо способов выражения повеления, в ней рассматриваются и способы описания повеления, то есть глаголы (и производные от них имена), выражающие повеление, такие, как русские *приказать, попросить, посоветовать* и т.д. и их чешские аналоги. Первая из четырех глав книги (занимающая, однако, существенно больше четверти общего объема) посвящена именно им; иными словами – в более общепринятой, на наш взгляд, терминологии – в этой главе описывается семантическая группа чешских лексем со значением повеления в сравнении с аналогичными русскими глаголами.

Приступая к описанию указанной группы лексем, автор оказывается перед необходимостью их как-то классифицировать. Очевидно,

что среди существительных *приказ, просьба, мольба, инструкция, предостережение, совет* и др. и соответствующих глаголов одни ближе друг к другу по значению, другие дальше. Эта проблема хорошо известна применительно к побудительным высказываниям, и для различных языков ее пытались решить неоднократно, выделяя «приказы», «просьбы», «советы» и др. самыми различными способами (см., например, краткие обзоры [Davies 1986: 35–38] для английского языка, [Храковский, Володин 1986: 133–136] для русского и другие работы). В.С. Храковский и А.П. Володин называют эти разновидности побудительности «частными семантическими интерпретациями императивного значения» [Там же: 133–146], а автор рецензируемой книги – «иллокутивными интерпретациями побудительного высказывания» (с. 24 и сл.). Предложить разумную классификацию этих «иллокутивных интерпретаций» до сих пор никому, насколько нам известно, не удавалось. В.С. Храковский и А.П. Володин в указанной работе показали, что и сама задача такой классификации с грамматической точки зрения не имеет смысла: если в языке нет грамматических показателей приказа, просьбы и т. д., то высказываниям с императивными формами глагола могут быть приписаны многие, если не любые из таких «частных семантических интерпретаций»³.

Однако в данном случае речь идет о классификации не побудительных высказываний, но группы лексем, и задача эта выглядит вполне осмысленной: очевидно, что лексемы *мольба, молить* ближе по значению к *просьба, просить*, чем к *приказ, приказывать*. Специально подчеркивая, что ни четких границ между частными семантическими подтипами значения повеления, ни однозначных соответствий между такими подтипами в разных языках (даже в достаточно близких, как чешский и русский) не существует, автор все же полагает, что выделение «основных социально значимых семантических интерпретаций побудительных высказываний» возможно, и в чешском и в русском языках эти основные интерпретации принципиально соотносимы. Исходя из этого и опираясь на некоторые из более ранних работ (В.С. Храковского и Л.А. Бирюлина, М. Грелла и П. Карлика, А.Н. Бара-

нова), автор предлагает следующую их классификацию (с. 34):

– «подтипы побуждения, маркированные по признаку *индикация высокой степени вероятности каузируемого действия*»: *приказ, запрет, разрешение, инструкция* (мы опускаем чешские аналоги русских лексем);

– «подтипы побуждения, маркированные по признаку *индикация высокой степени мотивированности каузируемого действия*»: *просьба, требование*;

– «подтипы побуждения, маркированные по признаку *индикация полезности для Агенса каузируемого действия/воздержания от действия*»: *совет, предостережение*;

– «подтипы побуждения, не маркированные ни по одному из названных выше признаков»: *предостережение, призыв*.

Если мы правильно поняли мысль автора (к сожалению, весьма затемненную непривычной терминологией), то предлагаемая им классификация основана на том, какие у исполнителя есть основания подчиниться воле говорящего (точнее – «прескриптора») и выполнить искомое действие: а) говорящий обладает определенной властью; б) искомое действие нужно для говорящего (и исполнителю предлагается ему помочь); в) искомое действие нужно для самого исполнителя; г) все остальные случаи.

Принципиальных возражений против этой классификации, вроде бы, нет; с другой стороны, не вполне ясно, почему нельзя, например, противопоставить подтип а) подтипам б) и в) вместе («исполнитель просто подчиняется власти говорящего vs. руководствуется какими-то рациональными соображениями») и нельзя ли как-то расклассифицировать «прочие случаи». Можно сделать также как минимум одно частное замечание. Инструкцию, следовало бы, на наш взгляд, отнести скорее к третьему, чем к первому пункту, что следует из приводимого объяснения (с. 37): «...предполагается, что Агенси не собирается отравиться, сжечь телевизор или компьютер, заблудиться в чужом городе и т.д., а поэтому будет неукоснительно выполнять то, что написано в поваренной книге, в технической документации, в путеводителе...». Как кажется, «полезность для Агенса каузируемого действия/воздержания от действия» здесь налицо.

Не исключено, однако, что следовало бы вообще отказаться от попыток разбить эту группу близких по значению лексем (и в чешском, и в русском, и в других языках) на непесекающиеся классы и описывать ее скорее как синонимический ряд, пользуясь уже разработанным аппаратом (см. [Апресян и др. 1995] и вышедшие к настоящему времени выпуски

³ Языки, в которых грамматикализованы те или иные частные семантические интерпретации императива, по-видимому, существуют, хотя их немного; так, например, в манипури [Bhat, Ningomba 1997: 332–336] и в фула [Arnott 1970: 252] грамматически противопоставлены *приказы* и *просьбы*.

Нового объяснительного словаря синонимов русского языка). Есть опыт описания и иноязычных синонимических рядов (известный «Англо-русский синонимический словарь», см. [Апресян 1979/1995]). Кажется, что такое описание могло бы дать более убедительные результаты.

Далее в порядке, основанном на предложенной классификации, в монографии рассматривается употребление чешских лексем в сравнении с их русскими аналогами. Самый распространенный тип примеров – это прямая речь, сопровождаемая рассматриваемым глаголом в качестве «интерпретирующего предиката», например:

– *Dej mi něco jíst, – poručil nakvašeně.*

«Дай мне что-нибудь поесть», – сказал [букв. приказал] он кисло.

Есть, однако, примеры и других типов, в частности, с соответствующими существительными (типа *příkaz [z] ministerstva – распорядение министерства*) и др.

Для наиболее распространенных подтипов побуждения приводятся графики, иллюстрирующие частотность употребления соответствующих глаголов в различных типах конструкций чешского языка. Отметим, что в большинстве случаев эти графики очень похожи: ср., например, с. 58 для «авторитарного побуждения» (приказ, запрет и под.), с. 73 для побуждения с «индикацией высокой степени мотивированности каузируемого действия» (просьба, требование), первый график на с. 82 (совет, рекомендация), – что подтверждает высказанное выше мнение об отсутствии формальных различий между этими подтипами побуждения. Заметим также, что график для «предостережения, предупреждения», объединяемых в один подтип с советом и рекомендацией, напротив, имеет совершенно особую форму.

Главы 2, 3 и 4 посвящены собственно императивным конструкциям – соответственно, 2-го лица, 1-го лица множественного числа и 3-го лица. Следуя все более распространяющейся в последнее время точке зрения (к которой в полной степени присоединяемся и мы), автор рецензируемой монографии считает императив возможным в любом лице. Эти главы построены по единой схеме, поэтому кажется целесообразным рассматривать их вместе.

Прежде всего в каждой главе рассматриваются примеры с соответствующими синтетическими императивными формами глагола (для 2-го лица и 1-го лица множественного числа) и конструкции с частицами *at' / нусть* (для 3-го лица). Потом следуют менее распространенные конструкции и косвенные императивы

(типа *Вы не хотите поговорить с директором?* и т.д.). Для синтетических императивных форм дается количество их употреблений для наиболее частотных глаголов по Чешскому национальному корпусу (510 глаголов для 2-го лица ед.ч., 870 – для 2-го лица мн.ч., 209 – для 1-го лица мн.ч.). Для отдельных форм и конструкций – также по корпусу – дается их частотность для разных жанров; так, оказывается, что формы 2-го лица ед.ч. более употребительны в беллетристике (поскольку корпус устных текстов, по-видимому, не привлекался), а формы 2-го лица мн.ч. – напротив, в специальной литературе (с. 100–101; не вполне ясно, что имеется в виду; вероятно, речь идет о инструкциях и кулинарных рецептах?).

Для типолога, несомненно, интересно тщательное и аккуратное описание специфических для чешского языка конструкций и употреблений, как, например, конструкции с глаголами *jít* 'идти', *bežet* 'бежать' и др. (например, конструкции типа «идите сдавать», «бегите сказать», которые означают, соответственно, просто «сдавайте» и «скажите», см. с. 101–113), употребление 1-го лица ед.ч. для категорической (прежде всего воинской) команды (с. 140–141) и другие. Подобные факты зачастую считаются слишком «мелкими» для больших грамматик и соответственно остаются неизвестными, хотя они способны подтвердить или подвергнуть сомнению те или иные типологические обобщения. Так, например, упомянутые выше конструкции с глаголами *jít* и *bežet* хорошо вписываются в общую закономерность использования глаголов движения для передачи императивного значения.

Резюмируя, отметим, что перед нами подробное и, насколько мы можем судить, редкое по своей тщательности исследование императивных конструкций чешского языка. Ценность подобных описаний для теории и типологии императива прямо пропорциональна их редкости.

В книге содержится немало тонких замечаний и предложений по общим проблемам теории императива. Отметим положение о «факкультативности кореферентности Говорящего и Прескриптора» (с. 20), иными словами, о том, что «импульс каузации», пользуясь термином В.С. Храковского и А.П. Володина, может исходить и не только от говорящего. Это позволяет считать императивными высказывания типа *Господин директор просит Вас еще немного подождать*; несомненна оправданность этого положения для языков с развитыми системами эвиденциальности, которые имеют специальные формы для императива, передаваемого с чужих слов (самый известный пример такого языка – болгарский).

Отметим также на с. 43 замечание о том, что авторитет Прескриптора должен быть достаточно велик не только для самого исполнителя, но и для всех, кого так или иначе затрагивает искомое действие. В подтверждение его приводится всем известный, но ранее в этой связи не рассматривавшийся пример: «когда в поэме М.Ю. Лермонтова "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова" православный царь "велит" братьям осужденного "по всему царству русскому широкому торговать безданно, беспошлинно", его повеление касается не только того, кто будет торговать, но и того (и прежде всего того!), кто может попытаться пошлину взыскивать». Это удачный и выразительный пример, иллюстрирующий важное теоретическое положение, которое обычно недостаточно акцентируется: в некоторых случаях при повелении каузируется не действие агенса, а ситуация целиком, включая возможных «контрагентов».

В заключение отметим некоторые достоинства и недостатки в построении монографии.

Достойным восхищения кажется подбор примеров. Все они взяты из произведений чешской и русской литературы, современной и классической; переводы также привлекались классические для тех книг, где они существуют (так, цитаты из «Похождений бравого солдата Швейка» даются в переводе П. Богатырева). Своим основным источником фактического материала для чешского языка автор называет Чешский национальный корпус, подготовленный в Карловом университете в Праге и доступный в интернете по адресу <http://ucpnk.ff.cuni.cz>. В книге в изобилии представлены данные о частотности тех или иных форм или конструкций, не в последнюю очередь (хотя не исключительно) благодаря компьютерным возможностям указанного корпуса.

Насколько мы смогли понять, в книге не учитывались корпуса устных текстов, также являющиеся частью Чешского национального корпуса, по-видимому, потому, что во время работы над книгой они еще не были доступны. В любом случае, это достойно сожаления, поскольку императив, очевидным образом, по преимуществу диалогическая категория, и в разговорной речи закономерности употребления тех или иных форм, возможно, отличались бы от их употребления в письменных текстах.

Существенно меньше статистических подсчетов приводится для русского языка, что объясняется отсутствием во время написания книги компьютерного корпуса для русского языка, чьи возможности были бы аналогичны чешскому.

К числу недостатков следует отнести нетрадиционную и, если можно так выразиться, крайне «тяжеловесную» терминологию. Так, через всю книгу проходят восемь типов конструкций: 1) базовые типы иллокутивно универсального побуждения; 2) базовые типы иллокутивно специализированного побуждения; 3) периферийные типы иллокутивно универсального побуждения; 4) периферийные типы иллокутивно специализированного побуждения; 5) побуждение через тематизацию действия; 6) побуждение через тематизацию необходимости или возможности действия; 7) побуждение через тематизацию волеизъявления; 8) иные способы побуждения (с. 23–24). Встречая новый термин, читатель вправе ожидать, что он будет введен и объяснен на достаточном количестве примеров; однако здесь этого не происходит, и понять, что имеется в виду, очень сложно. Боясь ошибиться, мы все же рискнем перевести эти термины на более привычный язык: речь здесь идет о высказываниях, содержащих, соответственно: 1) специализированные императивные формы и конструкции (*иди, идемте, пусть он идет* и т.д.); 2) конструкции с вводными глаголами типа *я приказываю/требую/рекомендую/прошу* и т.д., *чтобы ты ушел*; 3) более специфические императивные конструкции типа русских *давай иди, смотри не упади* и т.д.; 4) формы и конструкции, употребляющиеся, в отличие от пункта 3, только в некоторых «иллокутивных интерпретациях» императива, как, например, инфинитив, и в русском, и в чешском языке передающий категорическое повеление (*встать!*); 5) конструкции с настоящим и будущим временем, сослагательным наклонением и другими не-императивными формами в функции императива (*ты сейчас уйдешь!*); 6) фразы с модальными глаголами типа *можешь идти* или *ты должен идти*; 7) фразы с глаголом *хотеть* типа *я хочу, чтобы ты ушел*; 8) другое.

Второй недостаток – это в ряде случаев отсутствие переводов при чешских лексемах и фразах. Так, в упоминавшихся выше списках глаголов с указанием их частотности в тех или иных формах императива глаголы даются без переводов, что, естественно, существенно затрудняет использование книги, рассчитанной все же на русскоязычного читателя. Отсутствуют переводы и при некоторых примерах, особенно сопровождающих графики.

Перечисленные недостатки, в определенной степени затрудняя чтение книги, не умаляют ее содержательных достоинств. О ее ценности для типологии и теории императива уже было сказано. По-видимому, не в меньшей степени ее результаты будут востребованы и в бо-

гемистике, и в прикладных областях, таких, как преподавание чешского языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян 1979/1995 – Английские синонимы и синонимический словарь // Ю.Д. Апресян. Избранные труды. Т. II: Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995 (первая публикация – в качестве послесловия к «Англо-русскому синонимическому словарю», М., 1979).
Апресян и др. 1995 – Ю.Д. Апресян, О.Ю. Богуславская, И.Б. Левонтина, Е.В. Урысон. Новый объяснительный словарь синони-

мов русского языка. Проспект / Под общим руководством акад. Ю.Д. Апресяна. М., 1995.

Храковский, Володин 1986 – В.С. Храковский, А.П. Володин. Семантика и типология императива: Русский императив. Л., 1986.

Arnott 1970 – D.W. Arnott. The nominal and verbal systems of Fula. Oxford, 1970.

Bhat, Ningomba 1997 – D.N.S. Bhat, M.S. Ningomba. Manipuri grammar. München, 1997.

Davies 1986 – E. Davies. The English imperative. London et. al., 1986.

В.Ю. Гусев

Dostoevskij in focus. Лексикография и фразеология литературного текста / Под. ред. Э. Брайтенедер, Д.О. Добровольского. Вена: Изд. Австрийской академии наук, 2005. 338 с.

Лингвистические словари последнего времени, рассчитанные не только на «обычную», но и на профессионально подготовленную аудиторию, как правило, имеют мощное «научное сопровождение» в виде работ, которые, будучи самостоятельными и самоценными лингвистическими исследованиями, содержат теоретический аппарат, лежащий в основе создания того или иного словаря.

Книга «Dostoevskij in focus» представляет собой публикацию работ, написанных в разные годы авторами концепции «Словаря языка Достоевского», а также создателями его отдельных «модулей». Работы опубликованы на двух языках (русском и немецком), что существенно увеличивает потенциальную читательскую аудиторию данной книги.

В статьях освещаются разные аспекты языка Ф.М. Достоевского и проблемы, связанные с его лексикографическим представлением: общая концепция словаря языка писателя; структура серии словарей, отражающих идиолект Достоевского, и специфика отдельных типов словарей; структура словарной статьи базового словаря языка Достоевского; обоснование понятия идиомы и формулирование понятия авторской идиомы в связи с созданием словаря идиом Достоевского.

Книга открывается статьей Ю.Н. Караулова «Проблемы составления словаря языка Достоевского и предлагаемые лексикографические решения», в которой изложена концепция Е.Л. Гинзбурга и Ю.Н. Караулова.

Оригинальная лексикографическая идея, которая отличает «Словарь языка Достоевского» от традиционного словаря языка писателя, состоит в том, что лексикографический мате-

риал собран не в одном словаре, а распределен по разным типам словарей. Ю.Н. Караулов обосновывает такой способ представления материала спецификой авторской лексикографии: словарь языка писателя должен не только решить конкретные лингвистические и литературоведческие проблемы, но и в целом «воспроизвести языковую индивидуальность автора и в то же время воссоздать образ языка эпохи» (с. 12), отразившего философские, политические, религиозные воззрения общества. Однако традиционный словарь языка писателя (основанный на «скрупулезно-пословном расписывании его текстов» (с. 14), пусть даже и снабженный историко-культурным комментарием к отдельным словам) может в лучшем случае отразить наиболее употребительные и характерные для данного автора языковые единицы, которые служат знаками его авторской манеры, философско-эстетических ценностей или типовых сюжетных ситуаций. Задача же современных словарей, по мысли Ю.Н. Караулова, – отразить языковую личность и индивидуальный авторский мир писателя.

Принципы строения словаря опираются на разрабатываемую Ю.Н. Карауловым концепцию языковой личности. Структурно-содержательную основу языковой личности составляет ассоциативно-вербальная сеть (АВС), обладающая свойствами гипертекста; результаты функционирования АВС запечатлеваются в дискурсе данной личности. В структуре языковой личности носителя языка выделяются три уровня: лексико-грамматический, когнитивный и прагматический. Применительно к словарю языка Достоевского эти уровни характеризуют-

следующим образом: первый, лексико-грамматический, уровень включает полнозначные и «грамматические» (неполнозначные) слова с их семантическими, формально-грамматическими, синтаксическими и др. характеристиками; на когнитивном уровне, который отражает знания о мире как персонажей, так и самого автора, описываются ключевые слова-понятия, фразеологизмы, особенности образного строя, крылатые выражения и афористика самого писателя, типовые жизненные ситуации и человеческие типы; на прагматическом уровне анализируется воздействие персонажей друг на друга, взаимодействие персонажа и автора, персонажа и читателя, читателя и писателя. Здесь анализируются такие аспекты повествования, как дейксис, пресуппозиция, мотивировки поступков, точки зрения в повествовании, образ автора, образ рассказчика, а также «концептуальные персонажи», т.е. вещные сущности, символизирующие ключевые концепты художественного мира Достоевского (с. 17). Если приравнять единицы каждого уровня к лексикографическим параметрам, то по каждому такому параметру могут составляться одноаспектные словари: словарь метафор, словарь сочетаемости, словарь словообразовательных гнезд и т.д. Для того чтобы такая работа стала реально выполнимой, необходимо упорядочить и свести к минимуму число параметров. Результатом структурирования и отбора основных параметров стал проект дифференциально-распределительного словаря.

Дифференциально-распределительный словарь задуман его разработчиками как сеть (набор) разных словарей, входами в которых служат основные единицы, характеризующие языковую личность.

Дифференциальность выражается, во-первых, в отборе наиболее специфичных для языка Достоевского единиц и параметров (например, метафорика Достоевского бедна, и создавать специальный словарь метафор нецелесообразно, а идиоматика, напротив, чрезвычайно богата и заслуживает отдельного словаря), а во-вторых – в применении разных лексикографических средств при описании разных единиц (топонимика, идиоматика, афористика и т.д.).

Распределительность выражается в том, что, во-первых, лексикографируемые единицы распределяются по трем уровням структуры языковой личности, а кроме того, в каждом словаре дается информация о распределении единиц по отдельным произведениям и по курсам разных персонажей Достоевского.

По формальному признаку выделяется два типа словарей: в первом типе единица описания равна слову, во втором типе единица «больше слова» (словосочетание или предложение).

В словарях первого типа (единица = слово) единицы описываются либо монопараметрически, т.е. по одному параметру (частотный словарь, словарь антропонимов, словарь топонимов, словарь агнонимов (непонятных для читателя слов) и др.), либо полипараметрически: слово получает семантическую, грамматическую, сочетаемостную, стилистическую, прагматическую характеристику (здесь различаются словарь знаменательных и словарь грамматических (неполнозначных) слов языка Достоевского).

К словарям второго типа (единица больше слова) относятся словарь идиом, словарь афоризмов, словарь прецедентных текстов и др.

Концепция словаря Достоевского Е.Л. Гинзбурга и Ю.Н. Караулова частично реализована в уже изданных трех выпусках этого словаря («Словарь языка Достоевского. Лексический строй идиолекта». Вып. 1. М., 2001; Вып. 2. М., 2003; Вып. 3. М., 2003), которые представляют один из важнейших типов словарей задуманной серии – базовый толковый словарь, включающий идиоглоссы (ключевые слова идиолекта Достоевского). В статье М.М. Коробовой «Структура базового словаря языка Достоевского» описаны лексикографические принципы составления словаря и структура словарной статьи. Последняя включает: количественные характеристики слова (число употреблений в разных текстах и жанрах), описание значений (с распределением по жанрам – художественная проза, публицистика, переписка – и по хронологии), описание употребления слова в составе имен собственных, описание употребления слова в составе фразеологических единиц, пословиц и поговорок; перечень текстоформ с указанием произведений и жанров, в которых они встречаются. В словарной статье есть также факультативные зоны – Примечания и Комментарий (в Комментариях приводятся такие сведения, как афоризмы, в которых встречается данное слово, его ближайшее ассоциативное окружение, сочетаемость, морфологические особенности и др. информация). В качестве иллюстрации публикуется словарная статья слова *деликатный*.

Значительной как в композиционном, так и в концептуальном отношении частью рецензируемой книги являются работы А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского по идиоматике. Хотя эти статьи вписаны в общий сюжет коллективной монографии, а созданный авторами этих статей (и существующий пока лишь в электронной версии на машинных носителях) словарь идиом Достоевского является реализацией части общего проекта, работы А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского по идиоматике имеют и самостоятельную теоретическую зна-

имость, т. к. предлагают оригинальные решения насущных для фразеологии и практической лексикографии проблем.

В статье «К понятию идиомы» А.Н. Баранов и Д.О. Добровольский формулируют лингвистическую концепцию идиоматичности и выделяют базовые составляющие идиомы, позволяющие охарактеризовать ее как языковой объект и отличить от других фразеологических единиц.

Авторы предлагают два главных критерия определения идиоматичности как категории – это **переинтерпретация** и **непрозрачность**.

Переинтерпретация приводит к возникновению у выражения А со значением 'А' нового значения 'Б'. При этом авторы выделяют целую серию разных типов переинтерпретаций: (1) переинтерпретация в точном смысле слова (*театр абсурда; вершина айсберга*); (2) интенциональная переинтерпретация (когда у исходного выражения нет экстенционала: *буря в стакане воды; лезть в бутылку*); (3) переинтерпретация целого (ср. случаи 1 и 2 выше) vs. части (*раздавить бутылку: бутылка сохраняет в идиоме свое исходное значение и не участвует в процессе переинтерпретации*); (4) референциальная переинтерпретация (сужение референции, ср. *светлое будущее* ('коммунизм'), *маленький человек* (тип характера в определенной литературоведческой традиции); референция может закрепляться за единичным денотатом, ср. *лучший друг советских физкультурников, самый человечный человек*); (5) переинтерпретация условий употребления (речь идет, как поясняют авторы, об изменении условий употребления одного из компонентов, что приводит к изменению его категориальной принадлежности: например, частица *авось* в идиоме *надеяться на авось* ведет себя как существительное; в более поздних работах авторов этот тип назван «переинтерпретация грамматических характеристик»); (6) идиоматичность цитации (ср. идиому *объять необъятное*, возникшую из афоризма Козьмы Пруtkова); (7) псевдоисчерпание (перечисляются лишь некоторые элементы множества, которые, однако, интерпретируются как его полный состав, ср. *ни кола ни двора; ни сват ни брат*).

Выявленный авторами список типов переинтерпретации представляет интерес не только для теории, но и для лексикографической практики и практики преподавания.

Непрозрачность может быть обусловлена двумя совершенно разными причинами: невыводимостью значения целого из значения частей по стандартным правилам (*дать дуба*) и незнанием значения одного или нескольких компонентов (*не видно ни зги*). Авторы отме-

чают, что непрозрачность может быть следствием переинтерпретации (ср. *брать быка за рога*), следствием усечения полной формы устойчивого выражения (ср. *как только – так сразу*). Кроме того, к непрозрачности результирующего выражения может приводить также усложнение дескрипции (с. 36). Сюда относятся, в частности, случаи усложнения способа указания на денотат (например, *дать дуба, отбросить коньки, сыграть в ящик* вместо более простого способа указания на денотат с помощью глагола *умереть*). При этом не любое усложнение дескрипции приводит к непрозрачности: ср. случаи вроде *всем и каждому* (использование нескольких синонимов) или *хоть криком кричи; проще простого* (редупликация), где эффекта непрозрачности не возникает.

Авторы статьи подробно рассматривают также категорию устойчивости и ее отражение в свойствах идиом. Они убедительно показывают, что устойчивость, которая часто сопровождает идиоматичность, прямо с ней не связана.

В работе А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского идиома как особый объект лингвистического описания выделяется из более широкого фразеологического материала и отграничивается от других фразеологических единиц. Так, например, из идиоматики исключаются коллокации (ср. *принимать меры; принимать во внимание; принимать решение*, с. 44); кроме того, предлагаются критерии разграничения пословиц (ср. *На воре шапка горит*) и идиом-высказываний (ср. *опять двадцать пять*; с. 49–50).

Чрезвычайно интересными и перспективными в плане дальнейших исследований представляются идеи, изложенные в том разделе статьи, где речь идет о разграничении собственно идиом (ср. *ум за разум зашел*) и устойчивых метафорических выражений (*прийти на ум, держать в уме* и под.).

В заключительной части статьи авторы формулируют понятие авторской идиомы, важное как в теоретико-лингвистическом плане, так и в плане практическом – для создания словаря идиом Достоевского.

В следующей статье А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского («Об идиоматике Ф.М. Достоевского») описаны принципы составления словаря (базы данных) по идиоматике Достоевского и охарактеризованы особенности идиоматики Достоевского (введение дополнительных компонентов идиомы, ср. *Все лопнуло, как радужный мыльный пузырь; нащептали в оба уха; сбил его с последнего толку*; замена компонента на нестандартный, ср. *выбить из колеи* → *выбить из рельсов*; с луны свалился → с луны соскочил и др.).

Наконец, важным контрастивным дополнением к исследованию идиоматики Достоевского является статья Д.О. Добровольского «Фразеология в прозе Пушкина», где рассматриваются нестандартные коллокации в сопоставлении с идиомами в художественной прозе Пушкина и ставится вопрос о причинах изменений в лексической сочетаемости, отраженной в коллокациях (ср. *брать участие* vs. *принимать участие*).

Таким образом, можно отметить два несомненных достоинства рецензируемого издания. Во-первых, в нем формулируются основные идеи и принципы создания авторских словарей

разных типов, а также обобщаются некоторые теоретические результаты, полученные в ходе исследования проблем, имеющих общелингвистическую значимость. Эти идеи и результаты могут быть использованы при создании словарей других писателей. Во-вторых, книга связана – и концептуально, и фактически – со «Словарем языка Достоевского» (первые выпуски которого уже вышли в свет) и может служить научным дополнением к этому словарю.

Г.И. Кустова